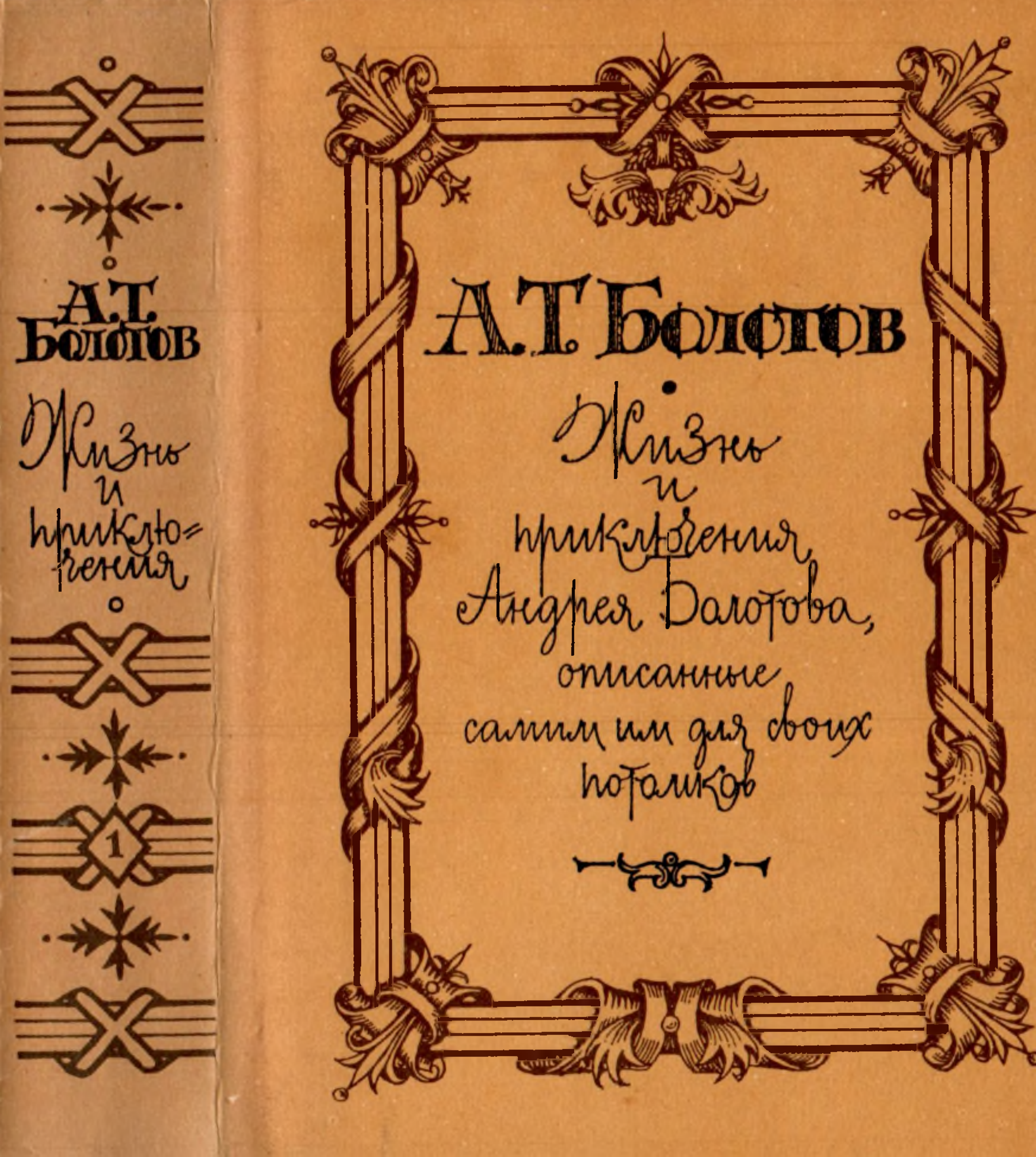
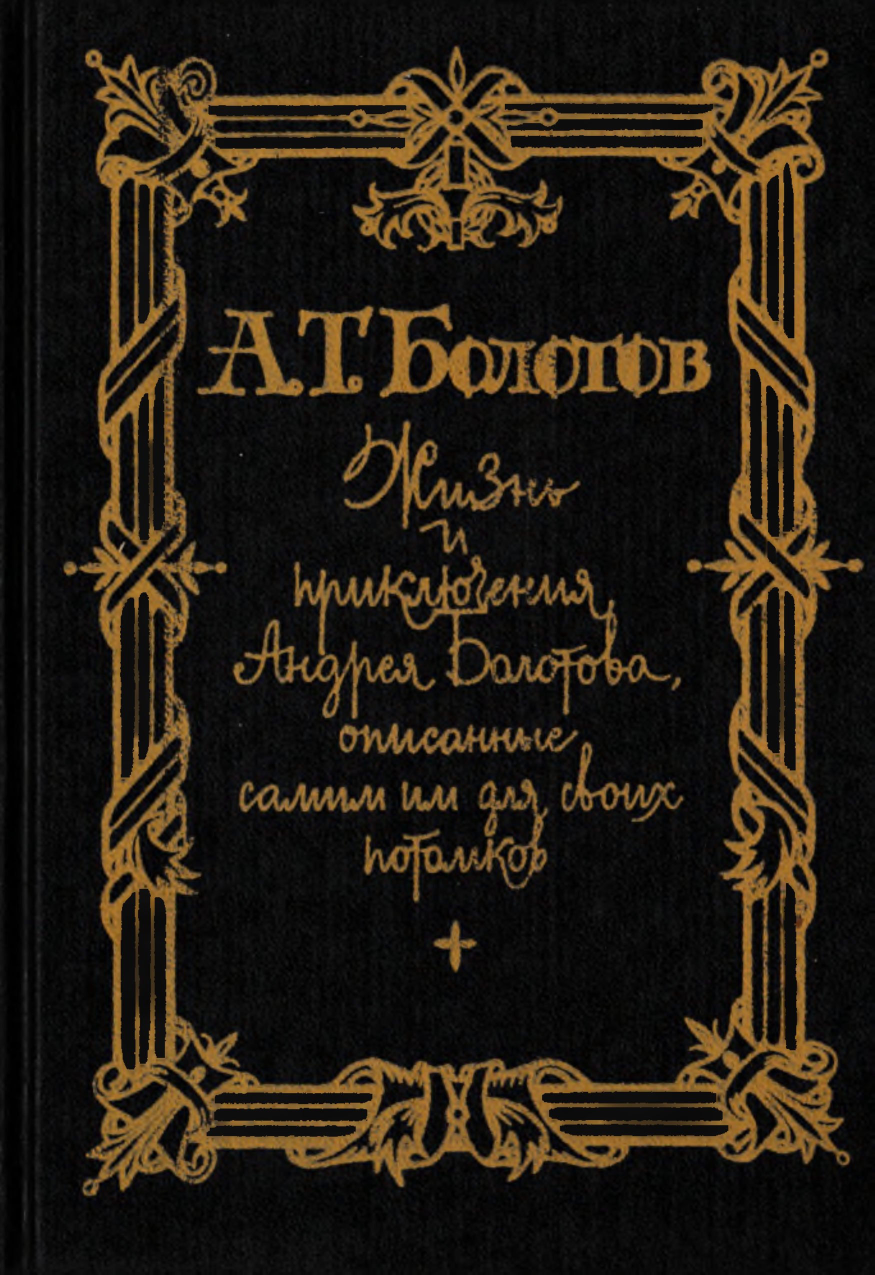

А.Т. Болотов
Жизнь и приключения
1
А.Т. Болотов
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков


А. Т. Болотов
Жизнь
и
приключения
Андрея Болотова,
описанные
самим им для своих
потомков

А. Т. Болотов

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков





Жизнь и приключения Андрея Болотова

1738 - 1795

В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1993



Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков

ТОМ ПЕРВЫЙ

1738 - 1759



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1993

ББК 84Р
Б79

Оформление художника
И. Сайко

Оригинал-макет подготовлен
Гуманитарным центром «ЭНРОФ»

Болотов А.Т.
Б79 Жизнь и приключения Андрея Болотова: Описанные самим им для своих потомков: В 3 т. Т.1: 1738–1759/Вс. ст. С. Ронского; Примеч. П. Жаткина, И. Кравцова. — М.: ТЕРРА, 1993. — 576 с.

ISBN 5-85255-383-2 (т. 1)
ISBN 5-85255-382-4

Б $\frac{4702000000 - 139}{А30(03) - 93}$ Подписное ББК 84Р

ISBN 5-85255-383-2 (т. 1)
ISBN 5-85255-382-4

БОЛОТОВ И ЕГО ВРЕМЯ

К концу XVIII века крепостное право в России достигло своего апогея, приняло законченные формы, которые нельзя иначе определить, как диктатуру поместного класса над трудом и личностью крепостных. Екатерина II, либеральничавшая ученица Монтескье, забыв о высказанных ею ранее воззрениях, благодушно соглашалась со всеми ультракрепостническими взглядами, выражаемыми дворянами в комиссии для составления нового уложения 1767 г. Дворянам возражали представители других сословий — купцы, промышленники, духовенство и домовитые казаки, но не в смысле ненормальности самого крепостного порядка, а в смысле желательности получения и для этих социальных групп прав крепостников-помещиков.

Преимущества дворянского класса в крепостническом государстве манили к себе и другие сословия. Организации фабрик дворянами в своих поместьях и интенсификации сельского хозяйства способствовали, с одной стороны, поддерживаемое правительством вытеснение фабрикантов «недворянского состояния», т.е. купечества, которому указом 1762 г. фактически было запрещено приобретать под фабрики населенные дворянские имения, с другой стороны — целый поток указов, явно клонившихся в пользу дворян-помещиков и устанавливавших ряд исключительных льгот для дворянского землевладения. Если ко всему этому еще добавить, что именно в то время русские сельскохозяйственные продукты получили крупное значение на европейских рынках, куда им был открыт

широкий доступ, то станет понятным пышный расцвет крепостного хозяйства, расцвет, продолжавшийся до конца первой четверти XIX века. Крепостная Россия XVIII века вызвала яркую характеристику иностранца Жана Бенуа Шерера, который в своей книге о русской торговле (1788 г.) пишет следующие строки: «Там нет ни буржуазии, ни купечества в собственном смысле слова, исключая духовенство и военное сословие, — всюду мужик, в сущности говоря, раб»*.

Записки Андрея Тимофеевича Болотова, в настоящее время переиздаваемые, дают исключительно яркие картины, рисующие поместное хозяйство и быт эпохи.

Происходя из старинной, но обедневшей семьи (род Болотовых восходит к XVI веку), Андрей Тимофеевич родился 7 октября 1738 г. в принадлежавшем издавна его семье сельце Дворянинове Алексинского уезда Тульской губернии, где он, «окончив делать карьеру», и писал свои «Записки». По семейным, обычным для того времени, традициям Андрей Тимофеевич был зачислен шестнадцати лет от роду в армейский полк, которым командовал его отец. Не имея возможности по возрасту фактически исполнять военные обязанности, Болотов прервал службу для получения образования. Часть «Записок», рассказывающая об этом периоде его жизни, как в фокусе, отображает методы и характер воспитания и образования молодого дворянства, проходившего целиком под знаком увлечения всем иностранным. В небогатых дворянских семьях образование находилось в руках лиц духовного звания: священников, дьячков, пономарей и т.д. Ученье было весьма несложно — учили, главным образом, читать церковные книги (знакомство со свет-

---

*Цитирую по Г.А. Новицкому. Усадьба, деревня и крепостная фабрика. Государственный исторический музей. Москва, 1926 г.

ским чтением было исключением), писать учили редко, а цифрам еще реже. Ученье начиналось с азбуки, на изучение которой со всеми ее хитростями, с повторением старого — «с задами», как говаривали тогда, — полагалось около года. Редко образование продолжали дальше, — в таких случаях доходили до псалтыря. Воспитание большей части дворянства находилось целиком в руках иностранцев и сводилось, главным образом, к выучке «козировать» (разговаривать, болтать) на французском и реже на немецком языке. Это увлечение иностранцами и иностранным, а в период царствования Елизаветы Петровны в особенности французским, эта тяга к подражанию иностранной моде была так велика, что «севский архиерей Кирилл Флиоренский приказал, чтобы все окружающие его в священнодействии были причесаны с пуклями и под пудрой...»*

Этим принципам воспитания отдал дань и Болотов. Учивший его вначале немец не только мучил его «каверзными» арифметическими задачами, но и «мучительствовал», т.е., попросту, зверски избивал своего питомца. Без удивления повествует Болотов о том, что отец его, случайно узнавший об одном таком избиении, не только не прогнал преподавателя, но в противовес матери одобрительно отнесся к случившемуся и принял сторону обидчика. Таков был дух эпохи. В памяти у всех глубоко была догма воспитания, нашедшая выражение в знаменитых виршах «Лозою дух святый велит дети бити...» Природная любознательность Андрея Тимофеевича и случайное стечение обстоятельств позволили ему пополнить свое образование, дали ему возможность, хотя и бессистемно, приобрести начатки знаний. Болотов поднялся над общим культурным уровнем своих современников и резко выделялся из окружавшей его среды. Достигнув возраста, в котором необходимо было уже нести хо-

---

*Добрынин. Записки, стр.21.

тя и немудреные обязанности воинской службы, Болотов возвратился в полк. За несвоевременность возвращения из своего второго отпуска Болотов, имевший чин сержанта, был обойден при производстве своих сверстников в следующий чин подпоручика. Но, несмотря на это, через короткое время Болотов догнал своих однокашников. Несомненно, что дело здесь не обошлось без вмешательства власть имущих петербуржцев.

Приехав в Петербург ходатайствовать о своем производстве в чин подпоручика, Болотов обратился к фавориту графа Шувалова подполковнику Яковлеву. Яковлев оказался знакомым отца Андрея Тимофеевича, и благодаря этому обстоятельству дело приняло для него благоприятный оборот. Позднее в своих «Записках» Болотов по своему обыкновению точно и ярко показал обстановку жизни этого фаворита «из небольших». Перед подполковником Яковлевым только по одному тому, что он был любимцем Шувалова, тянулись во фрунт и подобострастно сгибались в поклонах генералы и чиновники. Такова была особенность режима. Традиции Меншикова, Бирона, а потом Потемкина и Аракчеева были усвоены и копировались имевшими ту или иную власть маленькими начальниками; они находили себе фаворитов, и порядки их домов соответствовали в миниатюре порядкам дворца.

Описание у Болотова утреннего приема подполковника Яковлева, перед дверью спальни которого часами простаивали просители от мелкой сошки до генералитета, дает возможность провести аналогию с большими выходами особ царствующего дома и их фаворитов.

Возвратившись из своей поездки в Петербург офицером, Болотов, вместе со своим Архангелогородским полком, участвовал в прусском походе во время Семилетней войны*.

---

*См. примечания после текста.

Выделяясь из числа своих сослуживцев знанием немецкого языка и работоспособностью, Болотов был переведен из строя в канцелярию. С 1758 по 1761 г. он служил в канцелярии русского военного губернатора в оккупированной тогда Восточной Пруссии. Исполняя, главным образом, обязанности переводчика, Болотов не участвовал в обычной разгульной жизни офицерства, а отдавал все свое свободное время занятиям. Большое впечатление произвел на него весь уклад немецкой жизни, своими бытовыми особенностями резко отличавшийся от того, что он привык видеть. В своих научных занятиях он, наряду с занятиями естествознанием и натурфилософией, отдает дань и рисованию, к которому у него всегда были наклонности. Познакомившись с камерой-обскурой и в скором времени получив ее в собственность, Болотов еще более усиленно занялся рисованием.

Способности его к рисованию, которым Андрей Тимофеевич занимался с детства, были замечены его начальством, и Болотову было поручено составление рисунка монет, выпускавшихся русским правительством для занятых немецких областей. Вычеканенные в 1759 г. по рисункам Болотова образцы монет были отправлены в Петербург в подарок императрице Елизавете*.

В 1762 г. Андрей Тимофеевич оставил военную службу и был переведен в Петербург адъютантом к тогдашнему генерал-полицеймейстеру барону Корфу. Прослужив недолго в этой должности, Болотов вышел в отставку в чине капитана. Официальной причиной для отставки Болотова послужил указ «О роспуске штатов прикомандированных к нестроевым генералам», по которому Болотову пришлось бы возвращаться на

---

*Собрание монет, вычеканенных по рисункам А.Т. Болотова, находится в Государственном историческом музее в Москве.

военную строевую службу. Действительной же причиной ухода Болотова со службы, несомненно, был знаменитый указ Петра III «О вольности дворянства», который дал возможность всем, не желающим оставаться на государственной службе, «искать занятий по своему усмотрению».

Исполняя свое заветное желание — посвятить себя работе в области сельского хозяйства, Болотов по выходе в отставку уехал в свое имение. На редкость образованный по своему времени сельский хозяин, ученик знаменитого тогда в Германии естествоиспытателя и философа Крезиуса, Болотов поставил свое хозяйство на новых началах, новых в смысле обработки земли в соответствии с тогдашними научными достижениями. Одним из первых он начал проводить в нем интенсивное землепользование, представляя собой редкое исключение среди своих соседей, которые в области способов ведения своего хозяйства были крайне консервативны и держались традиционных старинных приемов сельскохозяйственной практики.

Вскоре Болотов начинает принимать деятельное участие в работах «Вольного экономического общества», в котором объединились дворяне и ученые, заинтересованные в усилении развития сельскохозяйственного предпринимательства, успешно развивавшегося. Это развитие сельскохозяйственного предпринимательства в крепостном хозяйстве санкционировалось целым рядом законодательных актов: крайне выгодное производство в сельском хозяйстве — винокурение — делается исключительной привилегией дворянства с 1765 года, вместе с тем около этого же времени дворяне получили преимущественное право снабжать войска провиантом и фуражом, что было очень выгодно в смысле наличия у помещиков постоянного сбыта их сельскохозяйственных продуктов. Сбыт последних для помещиков был также вполне обеспечен отменой внутренних таможенных пошлин 1754 г. и провозглашением

через несколько лет свободы хлебной торговли, которая постоянно подтверждалась позднейшими указами»*.

«Вольное экономическое общество» было сосредоточием интересов крупного товарного сельского хозяйства и интересовалось агрономическими достижениями, которые могли бы, по мнению членов общества, с успехом привиться на русской почве и способствовать развитию крупного сельского хозяйства. Печатая свои агрономические работы в трудах «Вольного экономического общества», Болотов не раз получал за них золотые, серебряные медали и другие награды. Составленный им большой труд с описанием разных пород яблок и груш, преимущественно Тульской губернии, не утратил своего значения до конца XIX века**.

Издаваемые им сельскохозяйственные журналы «Сельский житель» в 1778 и 1779 гг. и, в особенности, выпускаемый в виде приложений к новиковским «Московским ведомостям» «Экономический магазин» были по своему научному содержанию крайне ценными для того времени и имели очень большое распространение в помещичьей среде, являясь настольной книгой более или менее культурного помещика. Управляя в течение двадцати пяти лет двумя «императорскими волостями» (Киясовской и Бобриковской), Болотов почти безвыездно жил в своем имении Дворянинове, откуда только один раз, в 1803 г., ездил в Петербург, где прожил около одиннадцати месяцев. Умер Андрей Тимофеевич Болотов в глубокой старости 7 октября 1833 г. Потеряв незадолго до своей смерти зрение, Болотов все же продолжал работу над своими сочинениями, диктуя их своим близким.

---

* Г.А. Новицкий. Усадьбы, деревня и крепостная фабрика.

** Извлечения из этого труда напечатаны в 1861 г. в журнале «Журнал садоводства».

Печатаемые ниже «Записки» Болотова, названные им «Жизнь и приключения Андрея Болотова...», были начаты им в 1789 г. и велись в течение двадцати семи лет — до 1816 г. Эти «Записки» представляют собой из ряда вон выходящее явление. Главный интерес их заключается в особенно четком и сильном изображении социально-бытовых моментов эпохи крепостничества.

Положение помещичьих крепостных крестьян характеризовалось их полным юридическим и бытовым бесправием. Все они были обложены различными повинностями в пользу помещиков. Главной натуральной повинностью помещичьих крестьяне была барщина — работа на господских полях. Со своих же полей крестьяне обязаны были доставлять своим господам различные припасы и продукты своего домашнего хозяйства: свиней, баранов, поросят, грибы, ягоды и т.д. Произвол помещичьей власти приводил к тому, что натуральные и денежные повинности крестьян были так велики, что крестьяне, не будучи в состоянии их выплатить, всегда находились в долгу у помещика. Целый ряд телесных наказаний был в руках помещиков средством выколачивать оброки. Телесные наказания и ссылка были теми орудиями, при помощи которых, как заметил один из иностранцев, посетивший Россию в конце XVIII века, помещики на «...деле получают возможность казнить крестьян смертью»*.

Путешествовавший в 1722 г. по Сибири академик Паллас нашел только в одной Тобольской губернии около двадцати тысяч крестьян, сосланных туда на поселение помещиками.

Несмотря на свою редкую по сравнению со средой культурность, Болотов тем не менее представляет собой законченный тип жестокого помещика-крепостника.

---

*Шапп.

В «Записках» повсюду разбросаны эпизоды его расправы с крепостными, расправы, плохо прикрываемые либеральными сожалениями и душеспасительными богобоязненными вздохами.

Гуманный на словах, Андрей Тимофеевич то и дело приказывает пускать в ход розги, усердно полосует батогами спины строптивых или же чем-либо не угодивших «подлых» людей, прибегает даже к чисто средневековым изощренным пыткам. Он не только хвастается своей выдумкой — пыткой жаждой, но прибегает к «порке порциями» с содержанием провинившегося в промежутках на цепи (см. прим. после текста № 10 во втором томе). В свете этих жесточайших расправ плотно надетая на Болотова маска поверхностного либерализма сползает, и пред нами появляется зоологическая рожа дикого зверя, дающая яркое представление о невыносимом режиме эпохи, цепко державшей в своих лапах даже такого передового человека, как Болотов.

Невольно вспоминается богатый и тоже сравнительно культурный пензенский помещий Н.Е. Струйский, бывший некоторое время владимирским губернатором и известный в свое время как литератор-поэт и владелец одной из лучших типографий того времени. Тот любил сам судить своих крестьян и притом по всем правилам европейской юриспруденции: сам читал обвинительные акты и произносил защитительные речи. Но эти барские юридические затеи сопровождались далеко не гуманным отношением к крестьянам. В подвалах дома Струйского имелся целый набор необходимых орудий, при помощи которых он пытал своих подсудимых*.

Как мы уже говорили выше, большой интерес представляют собой встречающиеся у Болотова описания бытовых подробностей помещичьей и крестьянской жизни.

---

*В.О. Ключевский.

В первой половине XVIII века домашний быт провинциального дворянства отличается в отношении жилищ от крестьянского лишь большими размерами домов и относительной чистотой. По описанию Болотова, дом его в указанное время состоит из «одной большой комнаты (угловой), маленькой рядом, с несколькими сенями, кладовыми и черной горничкой, при обстановке, состоящей из двух простых дубовых столов, лавок и скамей, нескольких старинных стульев, шкафчика и кровати. К концу века, в связи с увеличением дворянского благосостояния и знакомством с иностранными образцами, обиход резко меняется. Уже к семидесятым годам мы видим в Дворянинове новый дом, о котором Болотов пишет: «...несмотря на его новизну, были в нем все нужные в дворянских деревенских домах комнаты: были в нем лакейская, зала, гостиная, спальня, уборная, столовая и детская комната и особый покоец для моей тещи, а сверх того, выгадал я местечко для буфета, гардеробца и довольно просторной кладовой, а также двух сеней...»

Не менее хорошо иллюстрируются в «Записках» и те стороны быта поместного дворянства, которые были неразрывно связаны с гостиной: постоянные наезды гостей друг к другу целыми семействами не меньше чем дня на два, псовые охоты, танцы и т.д. Характерно описание одного праздничного дня у псковских дворян: «Между тем как мы сим образом упражнялись в танцах, боярыни занимались карточной игрой..., что ж касается до господ, то сии упражнялись, держа в руках то и дело подносимые рюмки, а как подгуляли, то захотели и они танцами повеселиться... К музыке присовокуплены были и девки со своими песнями; а на смену им, наконец, созванные умеющие песни петь лакеи, и так попеременно то те, то другие утешали подгулявших господ до самого ужина... Гости все ночевали и на другой день обедали и не прежде разъехались, как уже перед вечером...»

Таким образом, мы видим, что нет ни одной стороны жизни того времени, которая не нашла бы себе правдивого и красочного изображения в «Записках» Андрея Тимофеевича Болотова. Недаром почти во всех работах и исследованиях о XVIII веке и начале XIX широко использованы «Записки» Болотова*.

«Записки» Болотова, написанные им вчерне в двадцати девяти томиках, были неоднократно переписываемы набело и украшены рядом виньеток и рисунков, исполненных сыном Болотова Павлом. Черновики несколько отличаются от редактированного, набело переписанного материала: новая обработка первых писем произведена с большей литературностью, отсутствуют специальные заглавия, в последней редакции появляется совершенно неизвестный рассказ о событиях 1752—1758 гг.

Отдельным изданием «Записки» А.Т. Болотова вышли в свет, после публикации целого ряда выдержек, в 1871—1873 гг. в издании «Русской старины» и с той поры ни разу не переиздавались. Биография Болотова отдельно помещена только в «Земледельческом журнале» за 1838 г., книга восьмая.

Нет никакого сомнения, что вновь издаваемые сейчас «Записки» А.Т. Болотова найдут своего читателя — это гарантируется их литературно-бытовым интересом.

1931 г.

С.М. Ронский.

---

*Работы Дубровина, Мельгунова, Милюкова и других.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков», представляют собою в рукописи труд, состоящий из 29 томиков одинакового формата и почти одинакового объема — по 400 с небольшим страниц в каждом томе.

Редакция, не имея возможности печатать труд Болотова целиком, должна была прибегнуть к большим сокращениям.

Кроме затруднений, вытекающих из размеров труда, печатать «Жизнь и приключения» полностью едва ли было бы целесообразно: автор отводит огромное количество страниц истории войн, уделяет много внимания личным и семейным делам (объяснение этому можно найти в цели написания мемуаров, изложенной в «Предуведомлении»), останавливается на бесконечных мелочах, много раз при этом повторяясь, и т.д.

Стараясь сохранить наиболее характерные в историко- и культурно-бытовом отношении страницы, редакция вынуждена была свести труд Болотова к трем томам.

Текст «Записок» воспроизводится по изданию 1931 года издательства «Academia» под общей редакцией А.В. Луначарского и с вступительной статьей

С.М. Ронского, которое, в свою очередь, печаталось по изданию 1871—1873 гг. — четырехтомному приложению к журналу «Русская старина», подготовленному к печати М.И. Семевским.

Редакция постаралась, насколько это было возможно, сохранить аромат старинного стиля повествования, выправив лишь те отклонения в орфографии и пунктуации, которые выглядят для современного читателя безусловными ошибками. Архаизмы и явно архаичные согласования и особенности пунктуации оставлены нетронутыми, чтобы читатель мог не только прикоснуться к жизни той эпохи, но и проникнуть в строй мышления ее летописца.

Таким образом, читатель найдет в тексте:

наутрие вместо наутро,
имянины вместо именины,
чорт вместо черт,
ярмонка вместо ярмарка,
особливо вместо особенно,
пожалуйте вместо пожалуйста

и многие другие, характерные для той эпохи слова и обороты.

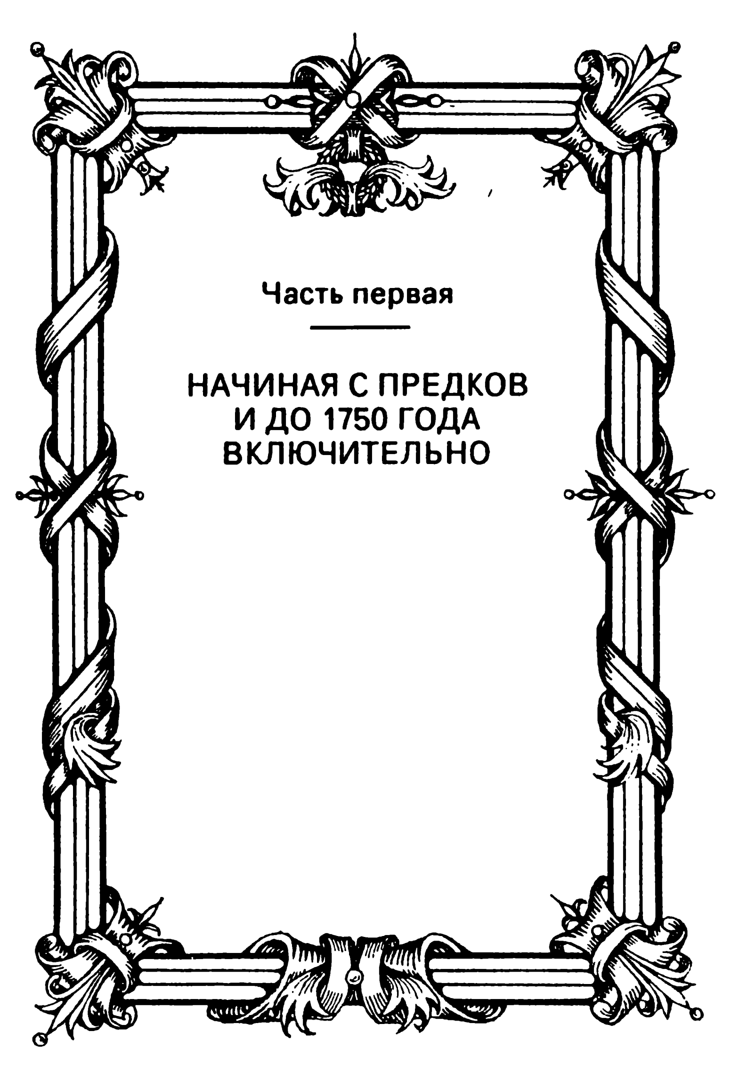
Никаких других изменений в тексте сделано не было.

Напечатанный в 1871—1873 гг. текст подвергся частичной сверке с оригиналом (черновиками) рукописи Болотова. Полной сверки сделать не удалось, так как отдельные части рукописи труда Болотова (и черновики и чистовики) находятся в разных местах и не всегда доступны для работы.

Пропущенные в рукописи, но подсказываемые смыслом слова поставлены в скобках.

Делая сокращения «Записок», редакция старалась не нарушать стройную архитектонику труда Болотова и поэтому сохранила и болотовскую нумерацию писем-глав, и болотовское деление на части.

Примечания, имеющие справочный характер (например, объяснения архаизмов и диалектизмов, дающиеся по «Толковому словарю» Владимира Даля), помещены в виде сносок под текстом страниц; примечания же более пространного характера даются в конце каждого тома. Примечания, сделанные самим Болотовым, отмечены сокращением фамилии автора — «Бол.».



Часть первая

НАЧИНАЯ С ПРЕДКОВ И ДО 1750 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Не тщеславие и не иные какие намерения побудили меня написать сию историю моей жизни; в ней нет никаких чрезвычайных и таких достопамятных и важных происшествий, которые бы достойны были преданы быть свету, а следующее обстоятельство было тому причиною.

Мне во всю жизнь мою досадно было, что предки мои были так нерадивы, что не оставили после себя ни малейших письменных о себе известий и чрез то лишили нас, потомков своих, того приятного удовольствия, чтоб иметь об них и о том, как они жили и что с ними в жизни их случилось и происходило, хотя некоторое небольшое сведение и понятие. Я тысячу раз сожалел о том и дорого б заплатил за каждый лоскуток бумажки с таковыми известиями, если б только мог отыскать что-нибудь тому подобное. Я винил предков моих за таковое небрежение, а не хотя и сам сделать подобную их и непростительную погрешность и таковые же жалобы со временем и на себя от моих потомков, — рассудил употребить некоторые праздные и от прочих дел остающиеся часы на описание всего того, что случилось со мной во все время продолжения моей жизни, равно как и того, что мне о предках моих по преданиям от пре-

старелых родственников моих, которых я застал при жизни, и по некоторым немногим запискам отца моего и дяди, дошедшим до моих рук, было известно, дабы сохранить, по крайней мере, и сие немногое от забвения всегдашнего, а о себе оставить потомкам мою незабвенную память.

При описании сем старался я не пропускать ни единого происшествия, до которого достигала только моя память, и не смотрел, хотя бы иные были из них и самые маловажные, случившиеся еще в нежнейшие лета моего младенчества. Сие последнее делал я наиболее для того, что напоминание и прочитывание происшествий, бывших во время младенчества и в нежные лета нашего возраста, причиняют и самим нам некоторое приятное удовольствие. А как я писал сие не в том намерении, чтоб издать в свет посредством печати, а единственно для удовольствования любопытства моих детей и тех из моих родственников и будущих потомков, которые похотят обо мне иметь сведения, то и не заботился я о том, что сочинение сие будет несколько пространно и велико, а старался только, чтоб чего не было пропущено; почему в случае если кому из посторонних случится читать сие прямо набело писанное сочинение, то и прошу меня в том и в ошибках благосклонно извинить. Наконец, что принадлежит до расположения описания сего образом писем, то сие учинено для того, чтоб мне тем удобнее и вольнее было рассказывать иногда что-нибудь и смешное.

ИСТОРИЯ МОЕГО МЛАДЕНЧЕСТВА

ПИСЬМО 4-е[*]

Любезный приятель! Вот теперь дошел я и до собственной своей истории. Я начну оную с самого дня рождения, дня достопамятного в моей истории и ознаменованного одним редким и примечания достойным происшествием. Однако надобно примолвить, что не на небе и не во всем свете, а в господской только нашей вотчине, маленькой деревнишке *Дворянинове* или, лучше сказать, в одной спальне моей матери, — происшествием не столько удивительном, сколько странным и столь смешным, что оное заставило мать мою, в самые опасные минуты своих родов и несмотря на всю свою болезнь, смеяться, и которое власно[**] как

---

[*] В первых трех, опущенных в настоящем издании письмах, А.Т.Болотов излагает «Историю моих предков». Письмо 1-е рассказывает о происхождении фамилии Болотовых, их родословной и о пожаловании Болотовым в XVI и XVII столетиях имений. Письмо 2-е передает историю Еремея Гавриловича Болотова, повествует об участии его в битве с татарами, пленении, бегстве и возвращении на родину. Письмо 3-е передает «Историю ближних предков»; рисует картину воспитания детей в рижской немецкой школе, сообщает сведения об отце мемуариста, любимце Бирона, капитане гвардии Тимофее Болотове. *Ред.*

[**] Точно, ровно.

служило некоторым предвозвестием тому, что я в течение жизни моей не столько печальных, горестных и скучных, сколько спокойных, веселых и радостных минут иметь буду!.. И буде это так, то я очень обязан за то моей бабушке-повитушке, которая ко всему тому подала повод и мать мою рассмешила.

— Как это так! — скажете вы. — Конечно, была она какая-нибудь проказа?

Нет! Право нет, любезный приятель! Она была старуха добрая, старуха богомольная, — старуха честная, старуха большая, старуха толстая*, одним словом, старуха всем хороша, и я ее, будучи маленький, очень любил и часто об ней плакивал, потому что она была моя мамка, а что она проказу сделала, тому не она, а пол виноват. Ибо виновата ли она, что пол рассохся и ее крест увяз в трещине?

— Как это? — спросите вы.

А вот каким образом.

Как случилось мне родиться ночью после полуночи, то не было никого в той комнате, кроме одной сей бабушки-старушки да моей матери. Мать моя сидела на постели, а старушка молилась Богу и клала земные поклоны. Вы ведаете, как старухи обыкновенно молятся? Где-то руку заведет, где-то на плечо положит, где-то на другое, где-то нагнется, где-то наклонится,** и где-то начнет подниматься с полу, и где-то встанет;

---

* Она называлась Соломонидою и была мать приказчика моего Григория Фомина, у которого был сын Абрам, бывший со мною в походе. *Бол.*

** Здесь «где-то» в смысле когда-то, в кою пору.

одним словом, в одном поклоне более минуты пройдет. Но представьте себе, какой странный случай тогда сделался!

В ту самую минуту, как назначено было мне свет увидеть, бабушка отправляла свой поклон и была нагнувшись, и в самый тот момент попади крест ее в щель на полу между рассохшихся досок и так перевернись там ребром, что его ей вытащить никак было не можно. Мать моя начала кричать и звать ее к себе, а она:

— Постой, матушка, — говорит, — погоди немножко! Крест зацепил, не вытащу.

И между тем барахталась на полу головою и руками. Вытянуть его было не можно, перервать также; гайтан* не рвется — крепок. Вздумала его скидывать с головы, — но что ж? — еще того хуже сделала! Голова не прошла, а только увязла и привязалась к полу! Что оставалось тогда делать, не смешное ли приключение? Мать моя рассказывала потом часто, что она не могла от смеху удержаться, видя сию проказу и слыша усиленные ее просьбы, чтоб немного погодила, ибо в ее ли власти было погодить?

Ежели спросите, каким же образом она освободилась, то скажу, что на крик их проснулась и прибежала еще баба и гайтан принуждена была разрезать. И по счастью поспела бабка к исправлению своей должности.

Вот вам, любезный приятель, первое смешное

---

*Шнурок, на котором носят тельный крест.

приключение, случившееся еще при самых моих родах. Но теперь возвращусь я к порядку моей истории. Я родился в 1738 году, октября в 7-й день, что случилось тогда в субботу. Место моего рождения есть самое то, где я ныне живу*. Отца моего в то время не было дома, как я родился. Он находился в Нежине, одном украинском городке, где тогда полки по возвращении из турецкого похода стояли**. Он был очень рад, получив известие сие через полтора месяца. Крестины мои отправлялись обыкновенным у нас в деревнях образом. У меня было два отца и две матери крестных, — все родственники и приятели моих родителей. Один из них был господин Раевский, по имени Иван Артемьевич, а другой господин Ладыженский, по имени Иван Леонтьевич. Кумы же, две старушки — наши родственницы и мне бабки: Арина Савишна и Авдотья Борисовна, жена соседа нашего Матвея Кирилловича Болотова.

О самом первом периоде моей жизни или о времени первого моего младенчества много говорить мне о себе нечего, ибо со мною не происходило ничего особливого, и сказать разве только то, что воспитывали меня с особливым старанием и берегли, как порох в глазе, но тому и дивиться не можно. — Мать моя была уже не гораздо молода и детей более родить уже не надеялась, а сына ни одного еще живого не имела;

---

*Сельцо Дворяниново, Алексинского уезда, Тульской губ. (см. вступительную статью).

**Откуда и мать моя пред недавним временем и беременная мною домой от него приехала. Бол.

все бывшие до меня умирали в самом еще младенчестве, следовательно, имела она причину опасаться, чтоб и со мною того же не сделалось, а особливо потому, что я с самого младенчества подвержен был многим болезненным припадкам, почему легко можно заключить, что жизнь моя была обоим родителям моим гораздо нужна и драгоценна. Но могли ли они всеми трудами и всеми стараниями своими оную сохранить, если б небо не похотело? Но сие назначило меня к тому, чтоб жить, и потому сохранило от всех опасностей, которым мы в младенчестве своем ежеминутно бываем подвержены.

Года два после рождения моего жила мать моя со мною и с обеими сестрами дома, ибо родитель мой был в сие время во многих отлучках. В последующий 1739 год ходили они в последний турецкий поход*, где марта 5-го пожалован он был гвардии старшим капитаном, а августа 17-го дня был он на случившемся в Молдавии, на речке Шуланце, сражении и при взятии города Хотина, где благополучно сохранился.

Как сей поход был последний в тогдашнюю турецкую войну, то возвратилась армия в Россию, и отец мой прибыл зимою с гвардейским батальоном в Петербург, заехав наперед в деревню и побыв в ней самое короткое время.

Не успел он в помянутый столичный город возвратиться, как объявлен был заключенный мир с турец-

---

*О турецкой войне 1735 — 1739 гг. см. примечание 1 после текста.

ким государством, и отец мой отправлен был с объявлением о том в некоторые отдаленные провинции нашего государства, лежащие в сторону к Сибири. Сия посылка была ему не убыточна, ибо известно то обыкновение, что присылаемые с таким радостным известием получают от жителей тех мест многие подарки и приносы, и я имею и поныне еще некоторые, а особливо фарфоровые вещи, привезенные им из Соликамска*, где ему тогда быть случилось.

Вскоре после возвращения отца моего оттуда, а именно октября 17-го дня 1740 году, воспоследовала кончина императрицы Анны Иоанновны. Я не буду упоминать о тех замешательствах, которые тогда при избрании наследников у нас в государстве происходили, ибо мне о том знать было не можно, к тому же их весь свет довольно знает**. При восшествии на престол императрицы Елизаветы Петровны находился отец уже в полевых полках, ибо его выпустили между тем из гвардии, пожаловали полковником и дали ему Архангелогородский пехотный полк.

Сия перемена привела обстоятельства наши в иное состояние; отец мой находился с того времени почти беспрестанно при полку, а мы жили также по большей части при нем.

Таким образом, начал мой отец мало-помалу при-

---

*Ныне город Уральской области Верхнекамского округа, на реке Усолке, вблизи впадения ее в Каму. Известен солеварнями. Недалеко имеются каменноугольные копи и горные заводы.

**О восшествии на престол Елизаветы Петровны см. примечание 2 после текста.

ходить в честь; он и действительно через хорошие свои поступки и умное поведение сделался известным. Одним словом, его почитали человеком, должность свою довольно знающим, и заведенные им в полку порядки доказывали его способности. Еще находясь в гвардии, нажил он себе многих хороших приятелей, а особливо жил он в великой дружбе с одним придворным генералом, господином Шепелевым. Одним словом, все знатные были ему благосклонны, а между оными любил и почитал его и сам командующий тогда армиею фельдмаршал Лесий*.

Мы принуждены были следовать повсюду за отцом моим, и я, размышляя о том часто, сам тому дивился, что с рождения моего никогда долгое время на одном месте не живал. Не успел отец мой полк принять, как взял он нас к себе в полк, стоящий тогда неподалеку от Нарвы, в селении, называемом Наровск. Вскоре после того пошел он с полком в другое место, и мы принуждены были следовать за ним, — а сим образом с места на место переходя, нигде он долгое время на одном месте не стоял, что причиною было, что и мы с ним всюду и всюду таскались.

Между тем бывали мы с матерью моею несколько раз и в доме нашем, а особливо как вскоре потом началась у нас война с шведами**, и отец мой, идучи

*Лесси, Петр Петрович, генерал-фельдмаршал и лифляндский генерал-губернатор. В 1740 г. возведен в графское достоинство Св. Римской империи, на что последовала санкция русского престола.

**См. примечания 2 и 3 после текста.

в поход с полком своим на галерах, принужден был отпустить нас в деревню из Эстляндии. Мне шел тогда уже пятый год, а большой моей сестре восемнадцатый, а другой — тринадцатый, ибо первая родилась в 1725, а другая — в 1730 году. Я был самый меньшой и действительно последний.

Что касается до начала воспитания моего по отнятию от кормилицы, то было оно обыкновенное. Превеликая нега следует всегда за любовью, которую матери имеют к своим детям. Мать моя крайне меня любила и не оставляла всяким образом нежить, через что допустила вкорениться во мне многим худым привычкам. Упрямство было первое, которое тогда корень свой и пустило, умалчивая о прочих. Блаженны дети, о коих родители их в самом младенчестве о них пекутся и о исправлении их нравов старание прилагают.

Что касается до того пункта времени, с которого начал я сам себя познавать и сколько-нибудь помнить, то не могу оной в точности означить, а только то знаю, что до 1744 года память моя была еще мала и беспорядочна. Я хотя и помню много кой-чего бывшего до сего времени, но без всякой связи и все клочками, и только то, чему случилось тверже впечатлеться в мою память, как, например, памятую я, как сквозь сон, как мы с полком стояли в Наровске и как я езжал тут в салазках на козле для принимания будто от комиссара жалованья, и получал по несколько копеек; так же как мы с меньшею сестрою однажды в отсутствие родителя забрались в его комнату и возжелали посмотреть, как идут карманные часы его, но были столь неосторожны, что, оные уронив, разбили на них стекло, и как сестра моя за то принуждена была терпеть на-

казание, да и меня едва было не высекли. Также памятно мне, как мы стояли в эстляндском местечке Гапсале* в одном каменном доме, которого образ и фигуру как теперь вижу, и как случалось мне тут быть в одной пустой немецкой кирке и видеть несогнившее тело одного человека, погребенного лет за сто и о котором говорили тогда, якобы он был проклятый. Далее, как я тут зимою с родителями езжал по городу кой-куда в санях в гости и сматривал на бывшую тогда на небе звезду с хвостом или комету и пр., но когда что было и что за чем последовало, того никак в памяти моей сообразить не могу.

Наконец, вскоре по возвращении полку нашего из шведского похода и по заключении с короною шведскою мира**, воспоследовала в государстве нашем вторичная всему народу перепись, или вторая ревизия***.

При сем случае отца моего определили ревизовать Псковскую провинцию. Итак, принужден он был оставить полк и во Псков отправиться, куда к нему и мы из деревни приехали.

Но как с самого сего времени началась моя память, и я уже помню все происходившее порядочно, а не так, как прежде, клочками, то окончив опять мое письмо, сделаю чрез то некоторое отделение и, пожелав вам всех благ, остаюсь и прочая.

---

*Гапсаль — портовый город нынешней Эстонии, раньше Эстляндской губ.

**См. примечания 2 и 3 после текста.

***Речь идет о ревизии 1743 г. См. примечание 4 после текста.

ПРИ РЕВИЗИИ ВО ПСКОВЕ

ПИСЬМО 5-е

Любезный приятель! В последнем моем письме остановился я на том, что отец мой определен был ревизором во Псков и что мы туда к нему из деревни приехали. Теперь, продолжая повествование мое, скажу, что во время сего пребывания нашего во Пскове у ревизии происходили с нами многие разные приключения. Не успели мы из деревни приехать, что случилось в 1744 году, как одним нечаянным случаем лишился было я моей матери. Она была очень слаба головою, особливо в случае угара, а тут в каменной нашей квартире так она однажды угорела, что упала без чувств и без памяти, и все почитали ее уже умершею. Плач, крик, стон и вопль поднялся тогда во всем нашем доме, особливо от сестер моих; ее вынесли и положили на снег, и к великому обрадованию нашему, хотя с великим трудом, но оттерли, наконец, снегом. Каков для меня был сей случай по тогдашнему малолетству, всякому легко вообразить себе можно.

Вскоре после того принужден я был переходить важную и опасную переправу человеческой жизни, то есть лежать в оспе. По счастью, была она хороша, и я освободился от ее свирепства, с которым

она толь великое множество бедных детей пожирает. Товарищ ее, корь, не преминул также меня посетить, и я принужден был и его вытерпеть.

Не успел я сие болезни перенесть, как начал мой отец помышлять об обучении меня грамоте. Мне шел уже тогда шестой год, следовательно, был я мальчик на смыслу и мог уже понимать буквы. 17-го числа июня помянутого 1744 года был тот день, в который меня учить начали, и я должен был ходить в дом к одному старику малороссиянину и учиться со многими другими. С каким успехом я учился, того не могу вам сказать, ибо того не помню, слышал только после, что понятием моим были все довольны, как, напротив того, недовольны моим упрямством. Сие пристрастие в маленьком во мне было так велико, что великого труда стоило его преодолевать; но таковы бывают почти все дети, которых в малолетстве нежат, отчего и произошло, что ученье мое более года продолжалось. Из всего оного помню я в особливости то, что первое обрадование родителям моим произвел я выучением почти наизусть одного апостола из послания к коринфянам, начинающегося сими словами: «Облецытеся убо яко избрании божия»* и пр., и прочтением перед ними, и как сие случилось скоро после начатия учения моего, то родитель мой так был тем доволен, что пожаловал мне несколько денег на лакомство.

Между тем большая моя сестра была уже совер-

---

*Одно из посланий апостола Павла, известных нам по Библии.

шенная невеста, ей шел уже тогда девятнадцатый или двадцатый год, следовательно, и выдавать замуж ее было уже время. Родители мои начинали уже о том заботиться, и не столько отец, сколько мать. Имея двух дочерей, а приданое за ними очень малое, не могла она, чтоб не беспокоиться и тем не тревожить завсегда дух моего родителя. Сей, имея надежду и упование на Бога, отзывался только тем, что когда Бог их дал, то не преминет и приставить их к месту, в которой надежде он и не обманулся, как то из нижеследующего усмотрится.

Комиссию, которая поручена была отцу моему, отправлял он с таким успехом и столь порядочно, что заслужил от всех похвалу и благодарение; сверх того, за хорошие свои поступки и благоразумное поведение сделался он любим и почитаем во всем городе и уезде. Все дворяне и лучшие в городе люди в самое короткое время сделались ему друзьями, а сие самое служило ему основанием счастью сестры моей и важной пользе всей нашей фамилии.

Мы не успели полгода прожить в сем городе, как начали уже многие за сестру свататься; хороший ее нрав и несвоевольное, а порядочное воспитание, какое имела она в доме родителей моих, делали ее завидною невестой, и она была во всем уезде знаема. В самое сие время случилось приехать в сей уезд одному тутошнему молодому и богатому дворянину; он выпросился из полку на короткое время, чтоб побывать в доме, в котором не был почти ни однажды после смерти отца своего. Не успел он приехать, как родственники начали его принуждать, чтоб он же-

нился, и предлагали в невесты сестру мою. Они представляли ему, что хотя сестра моя небогата, но дочь хороших родителей и имеет нрав изрядный; а более всего хотелось им, чтоб она поправила его состояние и хозяйство, которое по молодости его и по долговременной отлучке очень расстроено и упущено было. Таковые представления убедили наконец сего молодого дворянина; он согласился на их желание и начал искать случая видеть сестру мою. Он скоро его нашел, и она ему понравилась, и для того начал тотчас сватание, не требуя никакого приданого. Легко можно заключить, что таковое предложение не могло противно быть отцу моему; он хотя и находил некоторые затруднения в рассуждении низкого чина, в котором сей молодой дворянин, служа в рижском гарнизоне, находился, а паче того в рассуждении некоторых повествований о его тамошней жизни, однако первое почитал не за великую важность, а последнему верил и не верил, ибо знал, что никакое сватание без опорочиваниев не проходит. Да хотя бы все сказанное и справедливо было, так можно было приписывать то молодости, почему и надеялся его исправить, переведя его в свой полк и имея всегда при себе, и для того без труда на требование его согласился.

Таким образом просватана, сговорена и выдана была сестра моя замуж. Свадьба была тут же в городе, где зять мой имел у себя небольшой каменный дом. Сие происходило в августе месяце 1744 года, и отец мой в своей надежде не обманулся: он получил себе достойного зятя и был сим случаем доволен. Одним словом, сестра моя замужеством своим

была счастлива и получила мужа, который был неглуп, хорошего нрава, имел чем жить, а что всего лучше, любил ее как надобно, и она не могла ни в чем на него жаловаться. Мы дали за нею небольшое приданое, которое состояло только в нескольких семьях людей и в нескольких стах наличных денег, ибо деревень имел зять мой и своих довольно, почему не столько приданое, сколько человек был ему нужен. Он был из фамилии Неклюдовых и назывался Василием Савиновичем.

Несколько месяцев спустя после свадьбы сестры моей сделалось было с нами весьма несчастное приключение. Мы лишились было совсем отца моего, при случае приключившейся ему жестокой и опасной горячки, которою занемог он мая 6 дня 1745 года, и пролежал целых пять недель. Болезнь сия столь жестоко над ним свирепствовала, что никто уже не имел надежды о его исцелении, и его совсем отчаяли. Однако небо не восхотело еще его у нас отнять и сниспослало облегчение в самое то время, как соборовали его маслом и читали над ним Евангелие.

Легко можно заключить, сколь в великую печаль погружен был весь наш дом во время его болезни и сколь много, напротив того, обрадован, получив надежду о дальнейшем продолжении его жизни. Мать моя проливала великое множество слез, да ежели по справедливости рассудить, то и имела к тому причину: на руках у ней оставалась тогда другая дочь, почти невеста, и сын в таком возрасте, который был еще весьма нежен и требовал уже не женского, а мужского за собою смотрения. Да и подлинно, смерть его в тогдашнее время произвела б во всех

обстоятельствах наших великую отмену, а всего бы более лишился бы я чрез оную, ибо воспитание мое было бы уже, конечно, не таково, каково оно в самом деле было.

Мы прожили в сем городе почти два года, ибо прежде того отец мой не мог комиссии своей окончить, в которое время езжали мы несколько раз в деревню зятя моего, лежащую от города верст за 80. Впрочем, не имели никаких особливых приключений, кроме одного собственно до меня принадлежащего, и как в оном было теперь смешного, то расскажу оное теперь.

Купец, которого в доме мы стояли, имел подле оного сад и в нем сажелку*. В сей сад хаживал я часто гулять или, прямее сказать, в гулящее время резвиться; дети хозяина нашего делали мне в том компанию. Одним днем, как мы с ними в этом саду играли, пришли мы к помянутой сажелке, и я не знаю уже, для чего было в ней несколько досок, по воде плавающих; на сих досках хотелось мне давно по сажелке поездить, и сие происходило от некоего рода любопытства, ибо могу сказать, что любопытен был я с самого младенчества. Учася в то время грамоте, наслышался я о фараоне, море и о кораблях, на оном плавающих, почему я часто, будучи иногда один в саду, прихаживал к той сажелке, сравнивал ее с морем и представлял себе в мыслях, как фараон в море погиб и как по морю корабли плавают, и для того многожды хотел отведывать на доске по-

* Искусственный пруд с напущенной в него рыбой.

плавать, однако по счастью до того времени не отваживался, но помянутый случай был к тому наиудобнейшим. Товарищам моим захотелось также предприять сие морское путешествие, и остановилось только затем, что никто не осмеливался учинить начало. Я, будучи объят предваренною к тому охотою, тотчас к тому вызвался, ибо хотя не меньше их трусил, однако как самолюбие действует в нас с самого ребячества, то захотелось мне пред ними выдаться и оказать свою нетрусливость, и для того тотчас им сказал:

— Вы все, братцы, трусы и прямые мужики, уж боитесь по воде ездить! Чего бояться? Посмотрите-ка, как я поеду!

И, тотчас взбежав на одну широкую доску, отсунулся от берега. Но не успел я на сажень отъехать, как все явление переменилось: господин мореплаватель был неискусен и позабыл взять с собою весло. Товарищи мои кинули мне палку, я нагнулся ее доставать и тем все дело испортил: доска моя подо мною закачалась, я не устоял и полетел в воду, и едва было не утонул по примеру фараона. К великому моему счастью, сажелка в том месте была не гораздо глубока, и я хотя чуть было не захлебнулся, но, вынырнув и стараясь стать, достал ногами до дна, и вода была мне только по шею. Не успело сего произойти, как товарищи мои подняли великое хохотанье и начали осмехать худой успех моего предприятия, вместо того чтоб сделать мне какое вспоможение. Сие было причиною, что я сердился более на них, нежели помышлял об опасности, в которой находился; ибо надобно знать, сажелка была к тому

берегу гораздо глубже, а сверх того, я так в тину увяз, что не мог ни одной ноги выдрать. И я не знаю, что б сделалось со мною, если б в самое то время не вошла вскоре за мною в сад старуха, моя мама, и, увидев меня, не бросилась в воду и на руках меня не вынесла. Она встряхнулась* меня и, услышав, что я в саду, шла искать, равно как зная, что я подвергнусь опасности и что мне ее вспоможение будет надобно.

Чем происшествие сие кончилось, всякому нетрудно угадать. Скрыть сего никоим образом было не можно: я весь обмок и обгрязнился и принужден был поневоле следовать за моею мамою, которая прямо повела меня к моей матери. Тут не помогли мне все оправдания, которых дорогою я знатное число выдумал. Мне не поверили, что товарищи мои меня спихнули в воду, но находили более вероятности в их объявлении. Однако и они правы не остались, нас всех пересекли, и мне запрещено было более ходить в сад и играть с ними. По счастью, был отец мой в то время в уезде, а то досталось бы мне еще того больше.

Сие приключение хотя не инако, как безделкою почесть можно, однако в рассуждении меня почитаю я его довольно важным, ибо, во-первых, находился я в великой опасности: ибо сколь легко могло бы статься, чтоб я захлебнулся и утонул, а особливо, если б предприял сие когда-нибудь, будучи один в

---

*Встряхнуться или встренуться — вспомнить, спохватиться (от встряхнуться, встрепенуться). Употребляется в Костромской и Тамбовской губерниях.

саду, следовательно, сам Бог хотел меня сохранить от сего бедствия; во-вторых, примечания достойно, что сей случай так меня настращал, что с того времени завсегда уже я боялся по водам ездить, который страх не весь еще и поныне из меня истребился, ибо признаюсь, что и поныне несколько потрушиваю, когда случится зимою ехать по рекам, а особливо когда лед не гораздо крепок и надежен, что, может быть, имеет и свою пользу.

В другой раз нечаянным образом настращан я был чрезвычайною пушечною пальбою, бывшею при случае некоего большого торжества, отправляемого моим родителем. Ибо он хотя и большую часть времени своего препровождал в уезде, где переезжая с места на место, переписывая всех жителей, однако нередко случалось, что он по нескольку недель живал и в городе, и тогда ежели случались какие-нибудь викториальные дни* и знаменитые господские праздники, то имел он обыкновение делать у себя обеды и зывать к себе воеводу и всех лучших людей в городе, в особливости ж тамошнего архиерея, с которым жил он в особливой приязни и дружестве; а потому нередко случалось и мне видеть сего первосвященника, равно как бывать у самого его вместе с отцом моим, при каковых случаях получал я обыкновенно от него себе в подарок какую-нибудь маленькую духовную книжку.

Наконец, в начале 1746 года окончил отец мой благополучно свою комиссию и принужден был воз-

---

* От латинского victoria (победа) — дни празднования побед.

вратиться к полку своему, который находился тогда в Эстляндии. Чего ради, отпустив мать мою с нами в свою деревню, в которой мы во все сие время, следовательно, давно уже не были, отправился сам к полку и стоял с оным лето на реке Зале близ Пернова, в Эстляндии, между которым временем перевел он зятя моего из рижского гарнизона к себе в полк и старанием своим произвел его в офицеры.

Сим окончу я мое теперешнее и довольно уже увеличившееся письмо и, уверив вас о непременности моего к вам дружества и почтения, остаюсь и прочая.

ДОМ УДРИХ И ЛАЙ МЫЗА

ПИСЬМО 6-е

Любезный приятель! Проводив отца моего в путь и распрощавшись с сестрою, отправились мы с матерью моею в деревню. Путь сей был для нас не ближний, ибо деревня наша была еще 120 верст за Москвою, и нам надлежало долгое время ехать; но как бы то ни было, но мы приехали туда благополучно и пробыли тут почти все лето. Поелику мне шел тогда еще осьмой год, и я был сущий еще ребенок, то не могу я ничего о том сказать, что мы тогда дома делали и зачем наиболее приезжали; а из всех бывших тогда с нами происшествий впечатлелось в память мою только то обстоятельство, что я, будучи в сей раз в деревне, доучивался русской грамоте и учил псалтырь под присмотром моего дядьки.

Кроме сего, помню я из сего периода времени, что ездили мы в Калитино наше праздновать праздник: это была приданая деревня моей матери, лежащая от нас верст с 12 в том же уезде. Тут стояли еще изрядные хоромцы, был господский дом и старинный сад, в котором было великое множество слив и превысоких груш, усыпанных плодами, и как осенью сентября 8-го дня был тут храмовой празд-

ник, то имела мать моя всегда обыкновение приезжать в сие время в сей родительский ее дом и находящиеся в оном еще дедовские иконы почтить служением и окроплением святою водою, а всех тамошних соседей угощать праздничным пиршеством. Что ж касается до меня и до сестры моей, то наилучшее наше утешение составлял сад, наполненный тогда множеством плодов. В самое то время надлежало его обивать, и наше наиприятнейшее упражнение было подбирать отрясенные яблоки и груши, которых последних такое было тогда множество, что я никогда с того времени их столько не видывал.

Между тем как все сие происходило, и мы помянутым образом все лето жили дома, отец мой находился с полком в лагере. По наступлении ж осени назначено было полку сему зимовать в Эстляндии, и мы получили письма, чтоб и нам туда приезжать по первому зимнему пути.

Таким образом, не успела настать зима, как собравшись отправились мы из своей деревни и, препроводив недели две в дороге, приехали благополучно сперва во Псков, а потом в деревню к сестре моей большой; ибо мы положили к ней заехать и пробыть у ней несколько дней для отдохновения.

Время сие, каково ни коротко было, однако со мною случилось опять происшествие, достойное замечания потому, что при случае сем подвержен я был опять немалой опасности. Хоромы у сестры моей были совсем не те, в каких мы прежде бывали, но совсем иные. В небытность нашу перестроился зять мой и снабдил себя уже домиком получше

прежнего. Итак, по любопытству моему надобно мне было все их исходить и все пересмотреть, что в них было. К сему избрал я не то на другой, не то на третий день нашего приезда послеобеднешнее время, в которое все спали. Как у всех псковских помещиков обыкновение есть строить и располагать хоромы особым образом и так, чтоб всегда было две половины: одна жилая, а другая для гостей через сени, порожняя, и всегда чистая и прибранная, то расположены были хоромы и у зятя моего точно таким же образом. В сию-то гостиную и порожнюю половину забравшись один, начал я все пересматривать и перебирать, что в ней было. Тут, к несчастью, попалось мне на глаза ружье, стоявшее в уголку за стульями и, как думать надобно, поставленное тут нарочно для того, чтоб никто его не трогал, ибо было заряжено для стреляния по птицам. Но никто того не воображал себе, что я пойду сюда один и буду так любопытен, что похочу неотменно его и все устроение его замка видеть;однако сие любопытство чуть было не лишило меня жизни. Каким образом сие произошло и что я с ним делал, того истинно уже не помню, а только то знаю, что оно вдруг в руках у меня выстрелило, и я получил такой толчок, что я упал без памяти и без чувств на пол; ружье подле меня, а по всей горнице посыпалась дробь и куски большого зеркала, в которое прямо я выстрелил и расшиб его в несколько сот частей. Звук выстрела разбудил всех спящих и привлек множество людей ко мне. Меня нашли без памяти лежащего, и сколько сперва испужались, столько досадовали потом на мою резвость и дурачливость, которая вер-

но бы также не прошла мне даром, если бы сестра, любившая меня чрезвычайно, не упросила мать мою сию вину мне отпустить и в доме ее меня за то не наказывать.

Погостив несколько дней у сестры и распрощавшись с нею, продолжали мы свой путь далее и приехали наконец к отцу моему благополучно.

Мы нашли его стоящего с полком своим на зимних квартирах в Эстляндии, и он имел квартиру на мызе* Удрих, и довольно покойную. Дом был хотя деревянный, но не тесный и обитый внутри ткаными гарусными обоями и прибранный, впрочем, изрядно. Полковая церковь поставлена была тут же на дворе в одной службе.

Как в сей раз увидел я впервые полковую жизнь, находясь в таких летах, что мог уже несколько помнить и чувствовать, то была она для меня поколику нова, потолику и приятная. Ежедневное биение зори в множество барабанов и всякий день двукратное играние под окном полковой музыки и множество офицеров, бывших всегда у моего отца, и честь, повсюду ему воздаваемая, были для меня приятные и пленяющие предметы, которыми долгое время не мог я довольно налюбоваться, в особливости же приятно было мне то, что все полковые офицеры, любя моего отца, ласкались и ко мне.

Приезд наш в сие место воспоследовал около начала 1747 г., который достопамятен для нашего до-

---

*Мызами называются в Лифляндии и Эстляндии такие селения, в которых есть дворянские дома. *Бол.*

ма, тем что в оный родители мои выдали и другую дочь, а мою сестру, замуж, и остался на руках у них один только я. Сие воспоследовало вскоре после приезда нашего к полку, а именно февраля 20-го дня. Жених для ней нашелся в том же полку, в котором служил отец мой, и был тогда хотя не более как сержантом, однако не убогий дворянин, имевший жительство в Кашинском уезде; его звали Андреем Федоровым сыном Травиным, и он был человек еще молодой и не имевший, так же как и большой мой зять, ни отца, ни матери. Некоторые офицеры нашего полку рекомендовали его моему отцу и сосватали сию свадьбу; а как он имел достаточек изрядный и не требовал многого за моею сестрою, а был доволен тем, что мы давали, то родители мои и не имели причины пропускать столь удобного случая к замужеству сестры моей и были тем довольнее, что не принуждено было им за сею дочерью давать более того, сколько дали они за моею большою сестрою.

Таким образом, по милости Господней, пристроены были обе мои сестры к месту, и небольшой достаток родителей моих не претерпел от того знатного ущерба: они лишились немногих только семейств людей, а из деревень ни одной не потеряли; а сверх того и самого движимого приданого дано было весьма умеренное количество. Времена были тогда совсем не такие, как ныне, и целые тысячи не терялись при подобных случаях на сущие и ничего не значащие вздоры и безделки, служащие только обоим сторонам в отягощение, а нередко и в сущее разорение; почему и неудивительно, что все сборы и

приуготовления к свадьбе происходили недолго, но все дело в немногие дни было окончено.

Из прочих приключений, происходивших во время нашего пребывания в сем месте, памятно мне только то, что я тут учился писать и что помогал мне в том маленький писарь по прозванию Красиков, умевший рисовать корабли; родившись в Кронштадте, насмотрелся он сим огромным зданиям и умел изображать их довольно хорошо пером на бумаге. Мне, по малолетству моему, казались они тогда изящными картинами, и я не мог ими довольно налюбоваться; но каковую безделку сию корабли ни составляли, однако они вперили в меня первейшую склонность и охоту к рисованию, положили первое основание охоте к сему невинному и приятному художеству, которому я за бесчисленное множество приятных минут в жизни моей обязан и которую имею и поныне.

Кроме сего, помню я еще то, что мне случилось тут с сестрою моею крестить одного большого татарина, и как было сие зимою, то принуждено было производить сие действие на пруде, и он, вместо купели, должен был погружаться три раза в большую прорубь.

Еще памятно мне очень и то, что нашли тут каким-то образом в разрытом колодезе или роднике бесчисленное множество маленьких лягушечек, сбившихся в кучу и сидевших тут между камней. Мы все приходили сию редкость смотреть и не могли довольно тому надивиться.

Кроме сих трех происшествий, не помню я ничего более, а только приходит мне в память, что пред

окончанием зимы и на самой вербной неделе переехали мы на другую мызу, которая называлась Лайшлос, по причине, что находился тут древний развалившийся замок; но того уже не знаю, далеко ли она от прежней отстояла или недалеко и велено ли было тут полк и штаб перевесть или зависело то от произволения моего отца; но только то знаю, что тут получили мы для квартирования дом уже гораздо просторнейший, так что не только могли мы поместиться в нем со всем нашим увеличившимся семейством, ибо около сего времени приехал к нам и большой зять с сестрою, но поставлена была тут же в особых комнатах и полковая церковь.

Не успели мы в сие место перебраться, как подвержен я был опять величайшей опасности в свете. Полку нашего адъютанту Мармылеву вздумалось как-то подарить меня маленькою лошадкою; я, по ребячеству своему, был сему очень рад, но лошадка сия чуть было не лишила меня жизни. Случилось сие следующим образом: как до сего времени никогда я еще на лошадях не езживал, то, получив тогда в собственность лошадь, получил я вкупе охоту и учиться на лошадях ездить. Меня посадили на оную и водили понемногу, а как несколько я к тому приобвык, то перестали придерживать и, может быть по собственной моей просьбе, дали волю самому править; но не успели отважиться сие сделать, как проклятая лошадь, почувствовав легкость всадника, а может быть и неуменье управлять ею, недолго шла тихою ступою, но, выбравшись за хоромы, пошла час от часу скорее, а потом пустилась во всю прыть, так что ее уж и поймать и удержать не было способа. Я не

вспомнил тогда сам себя, но, ухватившись за гриву и за седло, кричал во все горло, а она от того еще больше разъярилась и поскакала со мною во весь опор и, к вящему несчастью, вдоль по плотине превеликого пруда, бывшего тут подле развалин замка. Люди хотя бежали за мною, но ни догнать, ни остановить ее не было способа, и я не знаю, что б со мною было и куда б она меня занесла, если б не пришло мне в голову соскочить с оной. К сему побудило меня наиболее то, что скакала она со мною прямо к прудовому спуску, где, по случаю бывшей тогда половоди, вода ревела во весь спуск и производила шум превеликий. Мне казалось, что, испужавшись сего шума, она верно меня с себя собьет и низринет в бучило*; итак, не допуская до того, рассудил я спрыгнуть с ней долой. Но в сем случае, бежав от волка, чуть не попал я на медведя; прыжок мой был хотя довольно удачен, но размер взят был так худо, что я попал на самый край плотины, так что, не могши никак удержаться, покатился кубарем под оный, и недоставало очень малого, что не попал я в самое бучило. Одним словом, сам Бог хотел меня спасти, и я уже не знаю, каким образом и за что и как я ухватился и до тех пор удержался и не упал в воду, покуда не прибежали бегущие вслед за мною люди и меня оттуда не вытащили.

Родители мои перетревожены были чрезвычайно сим приключением, и лошадь моя сделалась им, а особливо матери моей, так ненавистною, что велели

---

*Водоворот, омут, пучина.

ее тотчас отдать обратно; но о чем и сам я не тужил, ибо случай сей так меня настращал, что я долгое время после того не мог отважиться сесть на лошадь; и почему знать, может быть, самый тот же случай положил некоторое основание и тому, что я во всю жизнь мою не был и не мог быть никак охотником до лошадей.

Вскоре после того случилась тут же надо мною другая напасть, однако не столь опасная, а более смешная. Наступил день Пасхи и Святая неделя. У отца моего обыкновение было всегда, когда ни случалось ему в полку праздновать сей праздник, приказывать во время заутрени и обедни стрелять из пушек; в этом находил он особливое удовольствие, почему приказано было от него и в сей раз сделать все нужные к тому приготовления, но для меня утеха сия была не весьма приятна: будучи в младенчестве стрельбою из пушек нечаяно настращен, боялся я с того времени оной чрезвычайным образом. Было сие еще в то время, когда отец мой находился во Пскове для ревизии и когда я был еще сущим ребенком; ему случилось праздновать какой-то большой праздник и делать для всех лучших в том городе людей у себя пир. Что-то вздумалось ему придать пиру сему более пышности пушечною пальбою, и как было небольших пушек несколько у тамошнего воеводы, то выпросил он их на сей случай и приказал поставить на улице за воротами, чтоб стрелять из них во время питья здоровьев. Мы ничего о том не знали и не ведали, тем паче, что и места сего, где они поставлены, за строением из дома не видать было, а узнали уже во время самого обеда. Как мне

до сего времени от роду моего пушек вблизи видать никогда еще не случалось, то весьма любопытен я был их видеть: почему, не успел услышать, что пушки привезены и стоят на улице, как вмиг очутился я уж у ворот, чтобы видеть сии орудия. Но, к несчастью моему, так случись, что в то время, как только высунулся я из калитки на улицу, надобно было по данному сигналу начать стрелять, а что того еще вяще, то из самой той пушки, которая стояла подле той калитки и не далее от меня, как сажень. Громкость выстрела, учиненного ею и никогда мною в такой близости не слыханного, и самое зрелище, необыкновенное для меня до того времени, так меня, испугав, поразило, что я вмиг очутился лежащим на земле без памяти. Весь скопившийся тут народ перетревожился сим зрелищем, ибо все подумали, что меня каким-нибудь образом убило выстрелом. Поднимается превеликий шум, делается в стрельбе остановка, бегут сказывать о сем в палаты; люди наши занимаются услугою при столе, перетревоживаются, отыскивают старуху, мою маму; сия без памяти бежит ко мне на улицу, а вскоре за ней приходит и сама моя мать, испужавшаяся до бесконечности; она приметила перешептывание и бегание людей и, догадываясь тотчас, что, верно, что-нибудь особливое произошло, допытывается у оных. Утаить долго было не можно. Сердце обмирает у ней, как услышала, что со мною что-то сделалось; она позабывает всю благопристойность, вскакивает из-за стола, бежит без памяти сама на улицу, некоторые из гостей последуют за нею, и все встречают меня, препровождаемого уже мамою за руку обратно в палаты

и обгрязнившегося об грязь при упадании на улице, ибо со мною не сделалось ничего, кроме того, что я испужался до чрезвычайности. Я был еще и тогда побледневшим, как мертвый, и старался обеими руками затыкать уши, чтоб более стрельбы не слышать.

Испуганная до бесконечности и нежно меня любящая мать обрадовалась неописанно, увидев меня целым и здоровым. Стрелять велели тотчас перестать и меня повели, власно как в торжестве, в палаты, но там принужден я был от отца моего вытерпеть великую гонку за мою резвость и беганье на улице и смех над собой за мою трусость. Он хотел было приказать продолжить стрелять и меня вести туда опять, чтоб приучить к стрельбе, однако гости упросили уже, чтоб сего не делать. Но старухе моей маме досталось довольно за то, что она упустила меня одного бегать на улицу.

Сим образом кончилось тогда сие происшествие, но последствием от того было то, что я несколько лет после того всякий стрельбы, а особливо пушечной, смертельно боялся, хотя после, и по происшествии нескольких лет, страх сей не только миновался, но я до стрельбы сделался особливым охотником.

Но как в тогдашнее время, как стояли мы в помянутой мызе Лайшлос, страх мой еще продолжался, то сердце у меня обмерло, как увидел я полковые пушки, устанавливаемые перед нашею квартирою. Они казались мне ужасными громадами пред теми, которые настращали меня во Пскове, и я не знал, что со мною тогда будет, когда из сих начнут стре-

лять; совсем тем, боясь, чтоб опять не было мне за трусость мою от отца гонки, скрывал я всю боязнь мою в глубине сердца и помышлял только о том, чем бы себе сколько-нибудь пособить было можно, и вот что я выдумал и сделал.

Церковь полковая поставлена у нас была в самом том же доме, где мы жили, ибо хоромы были преогромные и покоев множество. Я распроведал, что стрелять станут в то время, когда запоют впервые «Христос воскресе» и станут входить с образами в церковь. Дождавшись сего времени, рассудил за лучшее куда-нибудь уйтить и скрыться, а чтоб удобнее сие сделать, то рассудил воспользоваться стеснением народным, когда выходить станут из церкви с образами. Сие и учинил я с таким искусством, что никто не видал, как я скрылся и ушел. Далече бежать мне было некогда, но я ушел в отдаленнейшие покои того же дома и, в самой задней комнате нашедши кровать, лег на оную и укрылся подушками и одеялами так, что меня совсем было не видать, и пушечные выстрелы едва были слышны. От каждого выстрела трепетало у меня сердце, но, по счастью, было их немного и число оных было мне известно.

Между тем как я, сим образом закутавшись, лежал и трепещуще считал выстрелы, в церкви происходила уже тревога: родители мои меня встрепенулися и везде меня спрашивали и искали, но как никто не мог ничего обо мне сказать, то пришли в недоумение и разослали повсюду людей меня искать.

Некоторые из них приходили в самую ту комнату, однако никак меня не приметили, и верно б никто

не нашел, если б по окончании стрельбы я сам уже не вышел и не явился в церкви.

Тут начались тотчас спросы и расспросы, и, как утаить истины не было способа, я принужден был признаться; то посмеявшись тому, в наказание за мое плутовство определено было во время обедни держать меня в церкви уже под честным арестом. Покойный родитель мой поставил меня уже пред собою на скамейке, и я во время стреляния из пушек, при читании Евангелия, хоть со всяким выстрелом приседал, но принужден был выдержать все оное, не зажимая даже и уши.

Не успела пройтить Святая неделя, как старания отца моего обо мне стали простираться от часу далее. Ему не хотелось, чтоб я вырос у него неучью и болваном, и он судил, что уж время отнять меня из рук женских и учить чему-нибудь дальнейшему, кроме грамоты русской. Паче всего хотелось ему, чтоб я знал также немецкий язык, которым он сам умел говорить, и коим он в жизнь свою очень много пользовался, также и арифметики. Учители немцы и французы не были еще тогда в нашем отечестве таковы многочисленны, как ныне, их было очень мало, а сверх того и достаток отца моего не был так велик, чтоб мог он, а особливо в тогдашнее время, нанимать и содержать у себя в доме учителя нарочного, к отдаче же в люди был я еще слишком мал; итак, другого не оставалось, как искать какого-нибудь иного способа, и к удовольствию таковой скоро нашелся.

В полку его было не только офицеров, но и унтер-офицеров множество немцев; из сих последних

вздумалось ему отыскать какого-нибудь поспособнее и приставить ко мне для научения немецкого языка. Но как большая часть сих немцев состояла из лифляндских и эстляндских дворян и наиболее из небогатых, всего же меньше учившихся в молодости своей каким-нибудь наукам и разумеющих что-нибудь порядочное, то трудно было и между ними отыскать человека, и по долгом искании иного не оставалось, как взять прибежище и обратить внимание свое на одного унтер-офицера, родом из Германии и приехавшего за немногие годы до того из Любека для принятия нашей службы. Прозвище ему было Миллер, а впрочем, назван он уже был у нас на службе Яковом Яковлевичем, поелику у нас всем иностранцам дают тотчас имена и отечествы. Богу известно, какого он был роду, но только то мне известно, что он никаким наукам не умел, кроме одной арифметики, которую знал твердо, да и умел также читать и писать очень хорошо по-немецки, почему заключаю, что надобно быть ему какому-нибудь купеческому сыну, и притом весьма небогатому и воспитанному в простой школе, и весьма просто и низко.

Но как говорится в пословице, что «на безлюдье и сидни в честь»*, то в недостатке лучшего был отец мой и сему уже рад, ибо для первого случая довольно уже было и его знаний, потому что читать и писать мог и он уже меня научить, равно как и арифметике.

* Сидень — тот, кто много сидит; разбитый параличом.

Таким образом назначен был сей иностранец мне в учители, взят в наш дом, и я препоручен ему на руки. Для нас с ним отведен был особый уединенный покоец, и он начал меня учить всему, что знал, вдруг, то есть читать, писать по-немецки и самой арифметике понемногу.

Мне шел в сие время хотя девятый еще год, однако мои родители и сам учитель были понятием моим довольны. Я очень скоро научился читать, а и писать учиться мне немудрено было; но не столько я доволен был своим учителем. Человек он был особливого характера, нрав имел строптивый и своенравный, не мог терпеть никаких шуток, сердился и досадывал на всех за сие, а сие и побуждало других еще более над ним смеяться, и тем паче, что и собою был он очень дурен и губаст. Со мною обходился он не так, как хорошему учителю должно, но так, как от неуча и грубого воспитания человека ожидать можно, и нередко принужден я был претерпевать от него лихо и проливать слезы.

Со всем тем и каков он ни был, но я за первое основание своего немецкого языка и арифметики обязан сему иностранцу; он научил меня читать и писать, но говорить научить был не в состоянии, а мучил меня только вокабулами*.

Мы простояли в сем месте недолго, ибо как скоро наступила весна и трава выросла, то велено было иттить полку нашему под Ригу и там сие лето стоять лагерем. Итак, все наше стояние тут не продолжа-

---

*Слова; здесь: списки слов для затверживания наизусть.

лось и трех месяцев: Богу известно, на что производимы были полками такие марши и контрмарши и с одного места перебивка на другое. Но как бы то ни было, мы принуждены были повелению сему повиноваться, и в повеленное место в поход с полком в непродолжительном времени и выступить.

Во время сего летнего похода, который в первый еще раз мне случилось видеть, расстался я впервые и с моею матерью, ибо как отцу моему с собою ее взять и в лагере при себе держать не годилось, то отпустил он ее вместе с большою моею сестрою в деревню ее мужа во Псков, а меньшую мою сестру с мужем — в их кашинскую деревню; меня же, как начавшего уже учиться, взял с собою, и как с сего времени начинается новый период моей жизни, то я сим письмо сие и кончу, сказав вам, что я есмь, и прочая.

В ЛАГЕРЕ И ВО ПСКОВЕ

ПИСЬМО 7-е

Любезный приятель! Первое расставание с моею матерью и со всеми родными моими, с которыми от самого рождения жил я неразлучно, и притом в столь нежных молодых летах, было мне, как сущему еще ребенку, весьма горестно и чувствительно. — Было сие в городе Дерпте или Юрьеве, ибо оттуда поехала мать моя во Псков, а я с покойным родителем моим в поход под Ригу. Не могу и поныне забыть того, в какой расстройке находился тогда дух мой, когда час разлуки нашей начал приближаться, и какою грустью и тоскою преисполнилось сердце мое; мне казалось, что все стихии тогда иной вид воспринимали и все переменялось в свете. Колико слез пролито было в сей день! Колико вздохов испущено, и сколько раз оглядывался я назад, в ту сторону, в которую поехали мои родные. С каким вожделением желал я пробыть с ними хоть еще несколько минут вместе и видеть их еще однажды!

Таким образом, вступив в новый род жизни, начал я час от часу далее и с множайшим прилежанием свою науку, и как я наиболее занят был оною, то не мог я знать все, что тогда происходило, а помню только то, что лагерь назначен нам был не-

сколько верст от Риги, что стояли мы тут все лето, жили в палатках и что приехал к нам туда и большой мой зять из деревни.

Во все сие время продолжал я учиться и упражнялся более в писании. Походная жизнь и стояние в лагере было для меня совсем новое: частые полковые строи, и смотры генеральские, и ежедневные перемены, и ученья, и вся военная жизнь, и происхождения были такими предметами, каких я до сего не видывал и которые меня и удивляли, и веселили, почему она мне довольно и полюбилась. Между прочим, помню я еще и то, что однажды приехал смотреть наш полк и сам старик фельдмаршал Лесий, живший тогда в Риге, и что отец мой возил однажды меня с собою к нему в Ригу, ибо он его считал себе милостивцом и приятелем. Случай сей для меня, ничего подобного тому еще не видавшего, был весьма поразителен; как в городе Риге, так и в замке у фельдмаршала не мог я всему довольно насмотреться.

По наступлении осени велено было полку нашему иттить на зимние квартиры в столичный наш город Петербург, и как маршрут назначен был через Псков, то отцу моему был наиудобнейший случай заехать к моему зятю и свидеться с своими родными. Тут имел я неописанное удовольствие увидеть опять мою мать и сестер, которых любил я чрезвычайно.

Отец мой пробыл в сей раз у зятя недолго, но отправился с полком своим в назначенный путь и взял с собою и мать мою.

Из приключений, случившихся со мною около сего времени, памятны мне только два, из которых

одно имело великое влияние на всю мою жизнь и чуть было не лишило меня жизни, а именно.

Родителю моему, в бытность его у зятя в деревне, вздумалось однажды с некоторыми приезжими гостями поехать с собаками на охоту. Он хотя и не был страстным охотником до сей, толь многих людей с ума сводящей, увечащей и разоряющей забавы, однако изредка, а особливо с приятелями, любил выезжать для компании в поле, и потому всегда бывали у него две или три борзых собаки. Точно так случилось и в сей раз. Съехалось к зятю моему множество соседственного дворянства; некоторые из них расхвастались своими собаками и что зверей много, и всем тем уговорили отца моего, чтобы выехать с ними в поле. Но сего было еще недовольно; но как и в тогдашнее время была такая же у многих глупость, какою заражены многие и ныне, то есть чтоб брать с собою на охоту маленьких детей и оных от младых когтей* приучать к сей вредной и разорительной охоте, то все гости убедили родителя моего, чтоб и меня взять с собою на охоту, на маленькой моей и смирной лошадке, и тем паче, что я около сего времени умел уже сидеть на лошади и ездить, а охоты от рождения моего еще не видел; но что ж воспоследовало?

Не успели мы въехать в лес и на одну вырубленную в оном обширную поляну, наполненную множеством высоких пней, каких везде в тамошней мест-

---

* «Коготь» употребляется и в значении «ногтя» у человека. Смысл этого выражения подобен современному — «с пеленок».

ности много и каковые места называются там «суками», как появился заяц, и началась травля. Собаки полетели за оным, и все охотники на лошадях своих поскакали во весь опор за оными. Лошадь моя, какова ни была смирна, но увидев таковую дружную скачку, сопровождаемую криком, вздумала для компании скакать вместе с ними, и что ни есть поры мочи. Я ее держать, я останавливать, ибо мне скакать нимало не хотелось, не тут-то было: силы мои были слишком слабы к удержанию сего животного, она и не чувствовала всего моего тащения поводами, но ярилась все более. Увидев сие и что лошадь взяла верх и меня не слушается, обмер я, и испужался, ибо как ни был мал, но заключил, что она меня собьет и я легко могу лишиться жизни. К вящему несчастью, я никогда еще добровольно не скакивал, кроме того случая, о котором упоминал я прежде и при котором едва я не лишился жизни; иному же лошадь мою остановить было некому: все без памяти поскакали вслед за зайцем, и я находился позади всех. В сей крайности находясь, другого я не нашел, как ухватиться обеими руками за холку у лошади и прилечь к седлу, думая, что через то удержусь я лучше; но сие положение было для меня еще того труднее и опаснее. Меня зачало тресть и взметать немилосердно, и я всякую минуту ждал, что полечу с лошади долой. До сего времени все еще я молчал, но как сделалось сие, то отчаявшись в жизни, поднял я ужасный вопль:

— Ай! ай! ай! ай! ай! ай! ай!

Но криком сим сделал себе еще того хуже: из господ охотников никто оного не услышал и не огля-

нулся, а моя лошадь сочла, что я ее еще более понукаю, и начала скакать еще прытче прежнего. Тогда-то считал я уже погибель свою неизбежимою, и тем паче, что вскакала она в такое место, где пень на пне почти находится, и я того и смотрел, и ждал, что она спотыкнется и меня и себя разобьет вдребезги. Что было тогда делать?.. Удержать не было способа, ибо, между тем как я лежал на седле, вырвались у меня и повода, и я не мог уже и достать оных. Крик и вопль мой был тщетен, никто меня не видел и не слышал, все уже из виду ускакали, лошадь неслась во всю прыть и то и дело цепляла за пенья и коряги. В таковой крайности находясь, другого не оставалось, как искать по-прежнему спасения своего в прыганье; по крайней мере, думал я, что тут нет никакой вершины и буерака, и убиться мне будет не можно. Итак, недолго думая и улучив такое место, где пенья были пореже и не таковы часты, как в других местах, прыг я с лошади долой; но надобно было, чтоб и сие не к спасению моему, но к вящему еще приумноженью моей опасности послужило. Рассудок мой был не так еще велик, чтоб взять предосторожность в рассуждении ног моих: одну из них я из стремя освободил, а о другой и позабыл вовсе, а она благополучно и просунулась сквозь стремя, и я, упав на землю, повис одною ногою в стреме.

Всякому можно теперь рассудить, не на единый ли волос или не на пядень ли я был от смерти? Упасть на всем скаку лошади между пеньев и повиснуть на стреме! Долго ли было убить лошади меня ногою либо раздребезжить о пенья и коряги. Однако

ни того, ни другого не воспоследовало, но провидению, бдевшему о целости моей жизни и назначившему мне жить многие годы на свете, угодно было распорядить инако и сделать то, чтоб самый сей, по-видимому, бедственный и наиопаснейший случай не только не послужил мне ни к малейшему вреду, но обратился еще мне в существительную пользу.

Лошади надобно было падение мое почувствовать, а в самое то ж время заступить ногою за повод и от самого того тотчас остановиться; а самое сие и спасло меня от смерти. Я успел ногу свою из стремя высвободить и от лошади откатиться прочь; и как падение было несовершенное, то и не убился я нимало, но был цел и невредим. Польза же произошла та, что сей случай и родителя моего, и самого меня так настращал, что он с сего времени не стал уже меня никогда брать с собою на охоту, а я никогда не помышлял уже и проситься, но получил к ней совершенное отвращение, что спасло меня от того, что я не мог в молодости своей к сей пагубной охоте пристраститься; но во все продолжение жизни моей не находил я в ней никакого удовольствия и не потерял на нее ни единого часа времени, но был всегдашним ее ненавистником.

Что касается до другого приключения, то оно не составляло никакой дальней важности, и я упомяну о нем только для того, чтоб изъявить чрез то одну черту характера моего учителя. Было то уже в походе и в самом городе Пскове, куда мы из зятниной деревни приехали и нашли полк, нас тут дожидающийся. Во все продолжение сего похода отводима была обыкновенно мне, с учителем моим немцем,

особливая квартира, ибо как я учиться беспрерывно у него продолжал, то, дабы нам никто в том не мешал, и приказано было квартермистру назначать нам всегда особую избу. По обыкновению сему получили мы и в сем городе особый домик. Тут, учась однажды после обеда, чем-то таким не угодил я своему учителю. Я уже сказывал, что человек он был мудреного нрава и не угодить ему легче и скорее и всем было можно, и нередко за самую безделицу и ничего нестоющее дело не только серчал, бранился, ярился несколько часов сряду, но и бивал и секал меня немилосердным иногда образом и чрез то произвел то, что я его не столько любил, сколько боялся и страшился.

Итак, не успел я ему угодить и приметить, что начинает он сердиться, как вострепетал душою и сердцем, слезы покатились у меня из глаз, и я просил его, чтоб он отпустил мне мой проступок. Но не такого нрава и расположения был мой учитель, чтоб ему тронуться моими слезами и признанием, что я виноват: он возъярился еще более и, желая умышленно нанесть мне более страха и боязни, схватил стоявшее тут у стены, по случаю, ружье, зарядил оное и собирался выстрелить в окно на улицу, ведая, что мне стрельба всего была страшнее. Я вострепетал, сие увидев, просил его сколько мог, чтоб он сего не делал и меня не стращал; но как увидел, что все мои просьбы тщетны и он им только насмехался и меня дразнил, то действие страха и боязни столь близкой стрельбы до того меня довело, что я вскочил, упал ему в ноги и со слезами просил лучше меня сколько угодно ему высечь, но только не стрелять.

Но упрямца сего ни слезы, ни обнимания его ног, ни все жалостные умаливания не могли тронуть; но он выстрелил и находил удовольствие в том, что я насмерть перестращался.

Но судьба не оставила его за таковое жестокосердие без наказания: ружье, отдавши назад, произвело ему такой толчок в плечо, что он насилу на ногах устоял и у него оно недели две болело. Однако и сего было еще недовольно, но скоро увидел он, что его и разорвало. Сие явление произвело тогда сущую комедию; учитель мой, приметив сие, столько ж испужался тогда, сколько сам я был настращан был до того времени. Ружье было хорошее и принадлежало квартермистру; он легко мог заключить, что как сие дело откроется и узнают все происходившее, то для него будет весьма трудно отвечать; он радовался хотя, что отделался сам цел и что ружье хотя разорвало, но не совсем испортило, а только в одном боку раздуло, и что можно еще было поврежденное место чем-нибудь замазать и тем все дело на время скрыть; однако мнение, что я не премину обо всем том рассказать, устрашило его несказанным образом. Сие обстоятельство превратило его из прежнего лютого зверя в наисмирнейшего агнца; низкость духа его была так велика, что он стал меня просить, чтоб я никому сего не сказывал, и всячески улещать, чтоб я ему угождение сделал, обещая сам мне то заменить и не наказывать меня за вины мои. Я сколько ни огорчен и ни раздосадован на него ни был, но чего не согласится ученик для учителя, и для учителя такового, сделать? Посмеявшись внутренно его трусости и помучив несколько своим молчанием, со-

гласился я наконец на его просьбу, и обоим нам удалось так хорошо скрыть сие дело, что никто не узнал истины, чем дело сие и кончилось.

Из дальнейших происшествий, бывших во время сего похода, ничего особливого я не помню, кроме того, что мы шли через город Гдов* и приехали в Петербург уже по зазимью.

Вид сего нашего города и столицы был мне поразителен. Я никогда еще его до тогдашнего времени не видывал, а только наслышался довольно и потому нетерпеливо хотел видеть. Желание мое и удовольствовано было с избытком: я при самом въезде уже глаза растерял на прекрасные дома и раскрашенные повсюду заборы и решетки и только что, сидючи с покойной матерью в коляске, восклицал:

— Ну, Петербург! Прямо Петербург!

Когда же увидел дворец и прочие огромные здания, то не знал, как и изобразить свое удивление.

Квартиры для нашего полка назначены были тогда на Петербургской стороне и были довольно изрядные. Нам случилось получить дом подле самой церкви Введения Богородицы, и мы были квартирою своею очень довольны.

Не успели мы по сим квартирам расположиться, как случилось в Петербурге нарочито великое наводнение. Явление сие было для меня также новое: все улицы вокруг нашего дома поняты** были водою, и

*Ныне город Лужского округа Ленинградской области.

**Залиты.

люди принуждены были ездить на лодках и на воротах; но, по счастью, продолжалось сие наводнение недолго и не произвело никакого дальнего вреда.

Вскоре после нас приехала к нам и большая сестра с мужем... сей был тогда уже аудитором*. Отцу моему хотя и хотелось доставить и меньшему зятю офицерский чин, но тогда производство было очень туго, и сделать сие не таково было скоро; но, по счастью, поспешествовал к тому особый и нечаянный случай. В полку нашем был тогда адъютантом алексинский дворянин Дмитрий Васильевич Арсеньев, самый тот, который после дослужился до генеральского чина. Высокий его рост и красивый стан полюбился при дворе; его взяли от нас из полку в лейб-компанию**, и как его место опросталось, то произведен был на сию ваканцию мой старший, а на его место мой младший зять, господин Травин, в аудиторы. Что касается до меня, то как я был еще сущим ребенком, то по тогдашним временам ничего еще со мною учинить было не можно, а все, что я помню, то родитель мой учинил только то, что взял меня однажды с собою во дворец, желая показать мне сие пышное императорское жилище.

Я не могу изобразить, с каким удивлением и подобострастием взирал на тогдашний огромный дом царей наших; он был тогда хотя сущая малость против нынешнего и немногим чем лучше нынешних домов знатных бояр, но для меня казалось все велико

---

*Чиновник военного суда.

**См. примечание 5 после текста.

и удивительно. В особливости же поразился я его внутренности; мне показался он сущим раем, и я не знал, на что смотреть и чему удивляться больше. Все казалось мне величественно, а паче всего утешали меня зеркальные стены на галерее, на которые я не мог довольно налюбоваться. Впрочем, ходил я за отцом моим ни жив, ни мертв от подобострастия и боялся прикоснуться самых стен сих священных чертогов наших монархов.

Со всем тем самую императрицу сколько я ни желал, но не удалось мне тогда видеть; а отец мой представлял меня только гофмаршалу Дмитрию Андреевичу Шепелеву, которого он считал себе милостивцем и другом. Другой же знакомец и приятель был у него гвардии Измайловского полку майор Гаврила Андреевич Рахманов. Сего я также видел, но как я был ребенком, то и не удостоен я от них никакого уважения.

Другое и также для меня удивительное зрелище составлял бывший, не помню в какой день, фейерверк; но как я все еще боялся стрельбы, то видел я его несовершенно, и только издали верхние огни и ракеты, которые не могу изобразить, как показались мне удивительными.

Впрочем, препровождал я время свое в продолжении моих наук и был безотлучно от учителя. Он жил у нас же в доме, в особливой пристройке, и там сидели мы с ним от утра до вечера. Сколько мне помнится, то умел уже я около сего времени изряднехонько писать по-немецки, а впрочем, учил уже грамматику немецкую. Но, судя по теперешнему знанию, все мое учение было пребеднейшее, ибо

о том, как учат люди по грамматике, то все учение его состояло в том, что выписывал он все слова и вокабулы и заставлял меня вытверживать их наизусть. До глаголов же и до прочих частей нам с ним и дела не было, и потому можно сказать, что все учение его было, прямо скажем, топорной работы, почему и неудивительно, что не было от того и дальнего успеха, ибо память моя отягощаема была только множеством вокабул, но которые я столь же скоро опять, по молодости своей, позабывать мог, как и выучивался, пользы же от того было очень мало.

Перед приближением Нового года вздумалось учителю моему сочинить поздравительное письмо родителю моему от имени моего с Новым годом и заставить его меня переписать на белой бумаге с золотым обрезом. В работе сей упражнялся я несколько времени, ибо становил всякое слово с превеликою осторожностью и боязнью, чтобы не испортить; бумага сия почитаема была властно как некакою святостью, и я трепетал, писавши оную, и ныне весьма дорого б заплатил, если б кто мог мне отыскать оную. Я надселся б со смеху тогдашнему моему писанию, а не столько писанию, сколько русскому переводу, который вздумалось учителю моему приобщить на другой странице и который, как теперь помню, был наиглупейший и вздорнейший и содержал такую нескладную галиматью, чтоб тому довольно нахохотаться было не можно. Но, к сожалению, время похитило у меня сию грамоту и монумент глупости моего учителя.

Кроме сего, продолжал я учиться арифметике и около сего времени был уже далек в оной, ибо за

понятием моим не было ни малейшей остановки: я понимал все хорошо и довольно скоро, а недоставало только порядка в учении и хорошего учителя.

Как в доказательство тому, так и в дальнейшее изображение странного характера моего учителя, расскажу я теперь один случай и происшествие со мною, бывшее около сего времени.

Однажды, обучая меня арифметике, вздумалось учителю моему мне сказать, что в последующий за тем день задаст он мне такую задачу, над которой я довольно посижу и едва сделать буду в состоянии. Я, каков ни был мал, но как сам о себе ведал, что арифметика мне довольно знакома, то тронуло сие мое честолюбие; я любопытен был узнать, что б за такая мудреная была та задача, о которой он с превеликою надменностью о своем знании говорил, и почему б такому сомневался он, что я ее не сделаю. Побуждаем сим любопытством, просил я его, чтоб он мне сказал существо задачи, и, по несчастью моему, он сие и исполнил.

Задача в самом деле была для меня новая и такая, какой я до того времени не делывал. Она принадлежала к фальшивым правилам и всем арифметистам довольно известная, а именно касающаяся до стада гусей и повстречавшемуся с ними одного гуся.

Не успел я услышать и узнать, в чем состояла задача, как, не хотя поставить себя в стыде, начал я еще тогда же мысленно доискиваться, какому б числу надлежало быть, если положив оное еще раз, да половину, да четверть числа, да еще гуся одного, пришлось бы ровно сто; и как любопытство, так и желание до того добраться было так велико, что я,

легши спать, до полуночи не спал, а все думал и прежде не уснул, покуда не добрался, что число гусей было 36. Сей случай был первый, при котором разум мой оказал свою способность и принужден был действовать собою. Я несказанно обрадовался, добравшись до желаемого, и заснул в мечтательных воображениях о том удивлении и удовольствии, какое будет иметь мой учитель при скором моем решении его задачи, и с нетерпеливостью дожидался того времени, как мне оная задана будет. Сколь я ни мал был, но рассудил, что дурно будет, если сделаю я ее слишком скоро, а потому и положил притвориться и наперед минуту, другую цифров пописать, а потом уж сделать, что и исполнил я в самой точности.

Но что ж воспоследовало и сколь много обманулся я в моем чаянии и ожидании и сколь худо заплачено было за мое усердие и труды! Не успел я известное мне число на доске написать и задачу сделать, как, вместо ожидаемых за то похвал, учитель мой вздурился. Обстоятельство, что он в ожидании своем обманулся и ему не удалось меня помучить, так его взбесило, что напал на меня, как лютый зверь, и насильно требовал, чтоб я признался, что я у него число сие, написанное на аспидной доске, повешенной на стене, подсмотрел, а не сам собою доискался. Я, ведая его бешеный нрав, вострепетал, сие увидев: я клялся ему небом и землею, что того и не ведал, что у него задача сия была написана на доске, и призывал всех святых в свидетели, что целую почти ночь не спал и доискался сам; но все мои клятвы и уверенья были тщетны: он и слышать того не хотел,

чтоб сие возможное было дело, и я принужден был вытерпеть от него целую пытку. Вовеки не позабуду сего случая и того, сколь чувствительно и несносно было мне тогда терпеть сию сущую пытку понапрасну. Немец мой сделался тогда сущим извергом: он не только меня иссек немилосерднейшим образом хворостинами по всему телу, без всякого разбора, но грыз почти меня зубами и терзал, как лютый зверь, без всякого человечества и милосердия. Он так разъярился, что пена стояла у него во рту, и до тех пор меня мучил, покуда выбился сам уже из сил и запыхался так, что принужден был меня покинуть; ни слезы, ни умаливания, ни целования рук и ног его, ни повторяемые клятвы не могли смягчить сего чудовища. К вящему моему несчастию, комнатка моя была в самом углу и отдалении, что никому крика и вопля моего было не слышно и никто не мог приттить и меня отнять у сего тирана. Вот какого имел я учителя.

Насытившись сколько душе его было угодно и не добившись от меня всем сечением своим ничего, ибо мне в самом деле сказать было нечего, утолился он наконец сам от своей ярости и смотрел на меня, хлипующего и сидящего в наижалостнейшем состоянии. Слезы текли у меня из глаз ручьями, и горесть, которую я тогда чувствовал, была неописанна.

Но сколь удивление мое было чрезвычайно, как в самое сие время увидел я учителя моего, вставшего, подошедшего ко мне, превратившегося из прежнего лютого зверя в наикротчайшего агнца и начавшего нежно трепать меня по щеке и ласковейшим образом уговаривать, чтоб я перестал плакать:

— Ну! ну! — говорил он. — Бог тебя простит! Перестань плакать, помиримся.

Явление сие и таковые неожиданные слова еще более усугубили мою горесть и слезы.

— Не в чем меня, — отвечал я сквозь слезы, — ни Богу, ни вам прощать, я ничего не сделал, и вы Бога, сударь, не боитесь, что так меня измучили совсем напрасно; батюшка и матушка как изволят, а я упаду к ногам их и буду просить, чтоб они меня помиловали.

Сей ответ мой еще более встревожил его, ибо надобно знать, что таковое дружное и скорое превращение его было по причине: он приметил, что во время сечения и ярости своей поступил он слишком неосторожно и розгами попал мне в лицо и произвел превеликий рубец на щеке и в самой близости подле глаза. Сего обстоятельства я и сам тогда еще не ведал, а он, как ни зол был, однако легко мог предвидеть, что за сие будет ему от родителей моих превеликая гонка. Он раскаивался тогда, но уже было поздно, что поступил со мною так бесчеловечно, и не знал чем пособить сему злу и чем и как бы скрыть и утаить сие дело от узнания моих родителей. Самое сие принудило его надеть на себя овечье платье, сделаться сущею лисицею и всячески стараться меня улещивать и уговаривать, чтоб я сказал, что рубец сей получил не от сечения, а будто бы ходил в сад и застегнул себе лицо нечаянно хворостиною. Но я не таков был глуп, чтоб тотчас на сие предложение и согласиться, но, узнавши сие обстоятельство, восторжествовал над моим мучителем: смеялся внутренно его трусости и малодушию и в некоторое отомще-

ние за претерпенные от него невинно побои помучил его часа три своею несговорчивостью и нехотением утаить сего дела от родителей, и довел его наконец до того, что он перетрусился в прах, не знал, что делать, ласкал меня всем, чем можно, надавал тысячу клятв и обещаний, что впредь меня сечь не станет, насулил мне ягод и конфектов; и всем тем и неотступными просьбами убедил меня наконец к тому, что я согласился по крайней мере не приносить родителям моим на него жалобы.

Сие слово я хотя и сдержал, однако дело сие не могло никак утаиться в доме: сестра моя, любившая меня весьма горячо, приметив рубец, тотчас меня стала спрашивать; я хотя и не хотел сказывать, но догадались и сами. Тотчас узнала и покойная моя мать, и не только учителю моему дала превеликую за то гонку, но поссорилась за то почти и с моим отцом; но сей, не узнав всей истины, не уважал сего дела по достоинству и через самое то дал учителю моему поползновение и вперед предпринимать дела тому подобные. Говорил ли он от себя что-нибудь учителю, того уж я не знаю; но как бы то ни было, но тем история сия тогда кончилась, и учитель мой несколько времени был посмирнее, однако не надолго, а скоро принялся опять за свое глупое ремесло, как о том упомянется впоследствии.

Из прочих приключений, случившихся со мною около сего времени, помню я только одно, и довольно странное и удивительное. Одному из самых передних верхних моих зубов во рту вздумалось что-то расть совсем превратным образом, а именно вверх, и не только прорезать собою верхнюю де-

сну, но произвесть рану и на самой верхней губе изнутри и пройтить уже почти наполовину сквозь оною. Таковое странное и необыкновенное явление озаботило и смущало моих родителей, они не знали, что со мною и с зубом сим делать, и тем паче, что он рос кверху острым концом и мне много мешал уже и говорить. Они советовали уже со многими врачами, но для всех явление сие было новое и необыкновенное и никто не отваживался взять на себя комиссию его выдернуть. И я истинно не знаю, чтоб со мною воспоследовало, если б не стал сей опасный зуб сам качаться и не раскачался в скором времени так, что полковому нашему лекарю никакого почти труда не стоило оный пальцами, повернув немного, выдернуть и чрез то избавить меня от опасности быть уродом.

Примечания достойно, что на сем месте не выросло уже у меня никогда зуба, а дабы число зубов не сделать у меня недостаточным, то произвела натура новый зуб, хотя подле того же места, но в необыкновенном месте, а именно в небе, которым зубом я и поныне еще отличаюсь от всех прочих людей на свете, ибо во всю мою жизнь случилось мне видеть и найтить у одного только человека, у которого был зуб точно подобный моему, а именно у одного из господ Бакеевых, дальнего моего родственника с матерней стороны; он назывался Сила Борисович, жил неподалеку от нас в деревне, и об нем иметь я буду говорить впредь, при другом случае. Впрочем, все родственники мои сначала боялись, чтоб сей удивительный зуб не стал мне мешать говорить, однако после оказалось, что он дальнего помешательства

мне не делал, но я прожил с ним целый век и говорил как надобно.

Между сими происшествиями протек тысяча семьсот сорок седьмой год, который был достопамятен в жизни моей тем, что я в оный начал впервые учиться иностранным языкам и подвержен был два раза величайшей опасности, но от которых счастливо освободился; а как кстати и письмо сие довольно увеличилось, то, отложив дальнейшее повествование до последующего, сие теперь окончу, сказав вам, что я есмь, и прочая.

В КУРЛЯНДИИ

ПИСЬМО 8-е

Любезный приятель! Предследующее письмо пресек я окончанием 1747 года, а теперь, продолжая повествование мое, расскажу вам, что случилось со мной в наступивший после его новый 1748 год, который не менее достопамятен был бывшими со мною разными приключениями.

Полк наш простоял в Петербурге недолго, ибо не успело наступившего нового года пройтить одного месяца, как вдруг и совсем нечаянным образом сказан нам был опять поход, и велено было немедленно иттить в Курляндию. Причиною движения сему была горевшая около того времени в Европе война и намерение нашего двора отправить в Германию к Цесареве вспомогательный корпус*. Неожиданность сия нас не менее удивила, сколько и порасстроила; но как бы то ни было, мы должны были повиноваться и выступить в поход еще в начале февраля месяца.

---

*Речь идет о войне за австрийское наследство (1741–48 гг.). Цесарева — Мария-Терезия — старшая дочь австрийского императора Карла VI, вступившая после его смерти во владение всеми землями австрийской монархии. Россия активно выступала на стороне Австрии (2 июня 1747 года), послав корпус на Рейн.

Поход сей, продолжаемый зимним путем, был мне сколько приятен тем, что мы получали везде прекрасные квартиры, ибо оные отцу моему отводимы были обыкновенно на почтовых дворах*, из коих в каждом находили особые и отменные от других украшения и убранства, сколько досаден тем, что учитель мой и во время самой дороги заставливал меня учить наизусть и твердить вокабулы и требовал, чтоб я из многих тысяч выученных наизусть слов не позабыл ни единого; но как сие составляло сущую невозможность, то и принужден я был терпеть от него за то превеликое зло и лихо. Все обещания его меня не сечь были позабыты, и я нередко принужден был страдать от него жестокосердого; но он так много меня не секал, как при одном случае во время сего путешествия. Как теперь подумаю, то кажется, что он существительное находил увеселение и утешение в том, чтоб меня терзать и мучить. В сие время затеял он однажды все вокабулы, сколько я их в разные времена ни выучил, прослушать и, дав мне только сутки времени протвердить, наперед сказал, что он за каждое позабытое мною слово неотменно влепит мне по три удара розгою в спину. Я удостоверен был, что он сие действительно исполнит, и сие нагнало на меня такой страх и привело мысли мои в такую расстройку, что я множество и таких слов позабыл, которые действительно помнил, а особливо тогда, когда он начал меня прослушивать и все забытые слова считать и радоваться, что будет

---

*Почтовая станция, где менялись лошади.

ему случай насытить свою лютость и хорошенько меня помучить. Розги приуготовлены уже были превеликие и лежали на столе, и сие зрелище привело меня в такую робость, что я и на самые известнейшие вопросы не мог ему ничего ответствовать. Наконец кончилось прослушивание, и он насчитал всех позабытых слов более двухсот и со зверским хохотом возвещал мне, что получу 600 ударов. Я обмер, испужался, увидев, что он действительно сие исполнить предпринял, и не знал, что делать. К несчастью, случилось сие в одном селе на особой и отдаленной квартире, в которой никого не было, кроме одной хозяйки; я упал ему в ноги и, обливвшись слезами, просил о помиловании; но все мои умаливания были тщетны, прощать не его было свойство, и я принужден был шествовать на двор, где вознамерился он произвесть надо мною сию экзекуцию и, собственно, для того, чтоб тем меньше можно было кому-нибудь мой вопль услышать. Тут, ущемив меня между ног, начал он меня тиранить и действительно считать все разы; я кричал, вопил, а наконец и вопить уже более не мог, и уже не знал, что б со мною было, если б не сжалилась со мною хозяйка и не избавила меня от сего мучителя. Уже насчитал он двести раз и начал считать третью сотню, и я уже осип от кричанья, как выбежала на двор сия добросердечная женщина и, прибегши к нам, силою отняла меня от него и, оттолкнув его прочь, сказала:

— И что ты за лукавый! Ведь ты ребенка-то до смерти засечешь! И есть ли тебе Бог, бусурман проклятый!

Он было вздумал противиться и отнять меня у ней опять, однако она так его от себя толкнула, что он чуть было не упал, и повела меня прямо со двора, чтоб весть к моей матери. Но самая сия выдумка усмирила моего мучителя, он побожился ей, что не станет более сечь, и она послушалась и оставила.

Со всем тем, как мне в сей раз было уже слишком несносно, то я не преминул уже формально на него матери своей пожаловаться и, рассказав все, показать, сколь жестоко я иссечен; и сие так много воздействовало, что ему от родителей моих досталась не только превеликая гонка, но и формально запрещено впредь без их ведома меня наказывать. И с сего времени сделался учитель мой уже гораздо смирнее, и я не помню уже ни однажды, чтоб он меня так сильно секал.

Мы препроводили в сем походе немалое время, ибо надлежало проходить всю Ингрию*, Эстляндию и Лифляндию, а полки, как известно, ходят не скоро и притом все с растахами, посему и не могли прежде в Курляндию приттить, как в марте месяце. Для стояния нашему полку назначено было местечко или городок Бовск с его окрестностями, куда пришед мы и расположились.

---

*Ингерманландия, или Ижорская земля, — местность по берегам Невы и по побережью Финского залива, некогда сплошь населенная финскими народностями и входившая в состав Вотской или Водской пятины Новгорода. Присоединена к России в результате русско-шведской войны (1702—1704 г.) Петром I и превращена вначале в Ингерманландскую губ., а с 1719 г. — в Петербургскую.

Местечко сие было изрядное, лежащее при реке Неманте в том месте, где впадает в нее река Муха*. Подле самого устья сей последней реки находился старинный каменный, но наполовину развалившийся замок с полверсты от нынешнего жила**; в нынешнем же городке были многие изрядные домики, и для отца моего отведена была изрядная квартира, а учителю моему прямо насупротив у одного пекаря, куда я к нему и хаживал учиться.

Не успели мы тут расположиться и основать свое жилище, как наступила Святая неделя. Мы праздновали день Пасхи в поставленной в доме полковой церкви, и отец мой имел при сем случае ту досаду, что во время стреляния из пушек оторвало одному канониру руку.

По наступлении весны выведен был весь полк в лагерь, но как расположен он был в близости подле самого города, то мы остались стоять на прежней своей квартире в городе.

Полк наш простоял в сем месте во все сие лето, и стоять было ему тут недурно. Отец мой, пользуясь знанием своим немецкого языка, спознакомился тотчас с живущими тут поблизости дворянами и, будучи всеми ими обласкан и всячиною обсылаем, имел нередко с ними свидания, езжая к им в деревни и угощая сам у себя оных.

Из сих выездов его к соседственным дворянам па-

---

*Немант — Неман — река балтийского бассейна. Муха — небольшой приток Немана.

**Жилье, селенье, дом, изба.

мятен мне в особливости один, потому что и мне случилось при этом быть, и произошло при случае сем нечто смешное и такое, из чего можно некоторым образом видеть образ жизни дворян курляндских.

Одному из них, верст пять от города живущему, вздумалось позвать отца моего с лучшими офицерами к себе обедать. Отец мой на то охотно и согласился и взял с собою моего старшего зятя и человек трех из лучших капитанов, также и меня туда, и поехали. Мызник был нам очень рад, и по ласковому его приему думали все мы, что он угостит нас изящным образом, но что же воспоследовало?

Пришел двенадцатый час, подали по маленькой рюмочке водки и вместе с нею на тарелке по маленькому сухарику белого хлеба для закуски. Родитель мой тем был и доволен, ибо он не жаловал никогда пить много, но господам нашим русакам, гренадерским капитанам было сие уже первое не по нутру: для них лучше б было по хорошей красауле* и для закуски чего-нибудь такого, чего б можно было вполсыта наесться. Однако как приехали они все в первый раз к сему дворянину и притом не одни, а с своим полковником, то принуждены они были уже тем довольствоваться, ласкаясь по крайней мере тою надеждою, что скоро станут обедать и что за обедом наградят они уже сей недостаток. Выпивши по сей рюмочке, уселись они опять по своим местам и начали слушать не разумеемые никем из них не-

---

*Красовуль, красоуля — монастырская чаша, стопа, ковш, братина. У Болотова допущена ошибка: вместо *о* стоит *а*.

мецкие разговоры у отца моего с хозяином. Сидят они и ждут обеда час, сидят другой, но обеда по завете нет. Пробило двенадцать, пробило час за полдни, миновала уже и вторая половина, но не слышно было, чтоб и тарелками гремели.

« Господи помилуй, — думают они и шепчут между собою:

— Когда это будет обед?..»

Однако нечего делать, принуждены сидеть и зевая дожидаться. Проходит наконец и вторая половина часа, бьет два часа за полдни, но на стол и собирать не помышляли. Тогда проняло уже их непутем*: не привыкши никогда так долго говеть, бесились они и досадывали все на хозяина; они моргали моему родителю, давая знать свое удивление и нетерпеливость, но сей, будучи весьма скромный человек, терпел хотя сам голод, но не хотел нарушить благопристойность и просить хозяина о скорейшем накормлении, а удивляясь не меньше сам тому, как и они, шепнул одному из них, что ежели им скучно, так вышли б они на двор или пошли в сад и погуляли, а между тем распроведали о причине. Они сего только и дожидались, ибо, наскучив статуями сидеть, почти уже дремали.

Итак, покинув отца моего с мызником в разговорах, вышли все мы на двор, и тогда-то бы послушать надобно было всех их благословений мызнику: всяк наперерыв старался его ругать и бранить, и всякий ругал за то, что морит голодом, но ругательства и брани ему не такие пошли, как узнали причину. Все

---

* Собственно — беспутно; здесь: сильно, нехорошо, дурно.

они до того думали, что, конечно, позабыл, что звал нас в день сей обедать, и заключили, что верно он тогда только велел готовить кушать, как мы приехали. Однако было совсем не то, а вышло наконец, что он нимало не позабыл и нас к себе ждал, а затем только на стол не собирает, что жареного нет и что не возвратился еще с поля егерь, посланный стрелять дичь всякую.

— И, дьявол бы тебя, проклятого, взял, — закричали они все, сие услышав, — и с своею дичью! Неужели у тебя нет никакого куска зажарить, и стоит ли того, чтоб для этого одного нас так долго морить?

Однако, как они ни сердились и ни бранились, но принуждены были еще с целый час поговеть для двух маленьких куличков, которых и обоих для одного человека было мало; но зато и дали же они ему, возвращаясь назад, изрядное благословение и всю дорогу о том продосадовали и прохохотали.

Между тем как мы сим образом тут стояли, продолжал я по-прежнему учиться немецкому языку и арифметике, и как я был уже несколько постарее и понятнее, то ученье мне было уже не таково скучно, и тем паче, что учитель был уже смирнее; сверх того и труды мои услаждаемы были частыми отпусканиями меня гулять, да и сверх того особыми удовольствиями, ибо, во-первых, угодно было родителю моему в сию весну записать меня в военную службу и поместить в полк свой в число солдат, а через месяц произвесть в капралы*. Определение в службу ма-

---

*Тогдашний унтер-офицерский чин.

лолетних было тогда не таково легко, как ныне, и родителю моему самого сего бездельного дела не можно б было сделать, если б на тот раз не находились мы за границей и вне своего отечества, ибо Курляндия и тогда нам не принадлежала. Сверх того помогло к тому и то, что имел он фельдмаршала себе приятелем.

Но как бы то ни было, но для меня имя солдата обращалось в превеликое удовольствие, а как сделали мне маленький мундир и нашили капральский позумент, то я уж не знал от радости что делать.

Вступив сим образом в военную службу, был я хотя по десятому году, но начал помышлять уже о военном и в праздное время и утешать себя такими забавами, которые к тому были приличны. Я спознакомился со многими мещанскими детьми сего местечка, уговорил и набрал из них целое капральство и человек до тридцати выбрал из них ефрейторов* и барабанщиков, снабдил их всех деревянными ружьями, а барабанщиков — маленькими барабанами. Потом, научившись сам бить в барабан и метать ружьем артикул**, переучил их всех к тому же, и наилучшая моя забава состояла в том, чтоб с ними порядочно маршировать и экзерцироваться ружьями; но не могу и поныне надивиться тому, как я тогда мог их довесть до совершенного послушания и до того, что я мог с ними делать, что хотел. Всякий

---

*Низший военный чин между рядовым и унтер-офицером.

**Собственно — отдел, глава; затем — воинский устав; здесь: ружейные приемы.

раз, когда надобно мне было их собрать, так нужно было только послать ефрейтора, как все безотговорочно и являлись.

Обыкновенное наше учение было в праздничные и воскресные дни; тут, собравшись, маршировали мы порядочно взводами через весь город; выхаживали в поле и делали разные экзерции, а нередко прохаживали до вышеупомянутого старинного замка, и, разделяясь надвое, некоторые приступали к оному, а другие, засев в оном и вскарабкавшись на стены и в проломах, оборонялись. Но дивиться надобно было, как не случилось нам тут никогда друг друга перебить: вокруг всего сего наполовину развалившегося замка лежало еще множество чугунных пушек с отрубленными ушами и между ими и мусором валялось множество больших ядер, а всего более пушечных картечей. Я не понимаю и дивлюсь еще и поныне, каким образом они уцелели тут от древности и не растасканы были поселянами; но как бы то ни было, всякий раз, как мы к сим развалинам ни прихаживали, наилучшее наше утешение состояло в том, чтоб собирать и выкапывать из мусора сии ядры и картечи и ими швыряться при делаемых нами приступах и оборонах, — и сам Бог нас охранял, что мы никому из нас не проломили ими голову.

Из сих детских игрушек явствует, что я с малолетства имел великую склонность к военному делу и, может быть, вышел бы из меня и воин, если бы судьбе угодно было расположить обстоятельства мои иначе, но провидение назначило меня не к тому, чтоб мне быть генералом, а совсем к иному. Но я возвращусь к истории.

Препровождая в таковых воинских игрушках нередко свое время, угодил я тем весьма много моему родителю и сделал то, что он хотя и скуп был на раздачу чинов, а особливо мне, однако по неотступной просьбе офицеров, которые все меня любили, произвел меня в подпрапорщики, а потом в каптенармусы и дал мне другой позумент.

Сие было опять мне причиною к великой радости. Я начинал уже мечтать о себе, что я уже нечто составляю, и как чин мой ни мал был, но я гордился уже оным. Я приумножил еще более мою военную команду и, перенимая все, как маленькая обезьяна, у старых, восхотел завесть и такую строгую дисциплину, какая наблюдалась в полках, и не только учить их экзерциции, но ослушных и наказывать повоенному, не предвидя того, что самое сие в состоянии было всем забавам конец положить и все дело испортить.

Один негодный мальчишка был тому причиною. Будучи несколько раз бранен за ослушание команды и за неприход в повеленное время и не хотя исправиться, побудил он нас всех сделать общий совет, чем бы нам за то его наказать, — и все мы были так глупы, что осудили по общему приговору высечь его пред фрунтом порядочным образом батожьями*. Сие и учинили мы во всей форме и бедняка сего, разложив, порядочно выпороли. Но бездельник сей разрушил все наши забавы и утешенья: он расплакался и раз-

*Бадаг, бадег, бадажок (более старинное — батог) — хлыст, хворостина, розги; множ. число — батоги и батожья.

жаловался матери, сия разжаловалась своему мужу и подожгла иттить просить. Итак, дошла просьба о том моему родителю, и следствием от того было то, что все общество наше было разрушено, корпус кассирован, а мне учинена превеликая гонка.

Однако забавам сим и без того не можно б было долго продолжаться, ибо покойный родитель мой, видя меня час от часу возрастающего и приметив, что способности во мне ко всему от часу оказываются более, давно уж помышлял о дальнейшем поспешествовании моим наукам. О тогдашнем моем учении мог он уже сам усмотреть, что из всего оного мало прока выйдет, ибо я хотя и знал несколько тысяч немецких слов, но говорить был вовсе не в состоянии, ибо учитель мой вовсе не так меня учил, как надобно, или, прямее сказать, не умел как учить; и я думаю, что хотя бы я проучился у него еще три года, но и тогда говорить бы был не в состоянии, а особливо потому, что я, живучи дома, имел всегда случай говорить по-русски. По всем сим обстоятельствам и хотелось родителю моему уже давно отдать меня куда-нибудь в лучшую школу или к лучшему учителю, и как он узнал, что у одного соседственного курляндского дворянина содержался в доме для обучения детей учитель, то сведя с ним знакомство, и отдал меня к сему учителю.

И как с сего времени начинается новый период моей жизни и начало самого учения, то я предоставлю говорить о том в предбудущем письме, а сие сим кончу и остаюсь ваш и прочая.

В МЫЗЕ ПАЦ

ПИСЬМО 9-е

Любезный приятель! Тот курляндский дворянин, к которому в дом меня отдали учиться, назывался господином Нетельгорстом и жил от местечка Бовска верст с 16 или около 20, на самой польской границе. Он был не убогий человек, имел в мызе Пац изрядный у себя дом и подле его прекрасный регулярный сад, украшенный множеством статуй, сам он был уже старик, и старик угрюмый и несговорчивый, но жену имел молодую, боярыню бойкую и прекрасную. Она была ему уже вторая жена, а от первой имел он двух сыновей, уже довольно взрослых: одного из них звали Ернстом и который ныне заступил место отца своего и владеет всею мызою, а другого — Оттою или Оттоном; сей находится ныне в Дерпте, комендантом или плац-майором*. От упомянутой же второй жены имел он только одну дочь, и ту еще маленькую; сыновья же его были несравненно меня больше и такими, каких ныне у нас более уже никто не учит. Но у курляндцев такого глупого обыкновения не было, чтоб оставлять детей

---

*Плац-майор — собственно помощник коменданта.

полуобученными и сущими еще ребятками пускать в службу, — но они и тогда уже продолжали учиться, хотя б большого время было и женить. Для обучения их содержал сей дворянин не такого француза ветра, какие бывают у нас, а порядочного и ученого человека родом из Саксонии и прозванием Чааха. У сего не столько учились, сколько студировали они философию на латинском языке, ибо языкам и прочим прелиминарным* наукам они давно уже выучились.

Учитель сей был весьма степенный, важный и порядочной жизни человек; он студировал в лейпцигской академии или университете и, кроме прочих наук, умел довольно изрядно рисовать. Для спокойнейшего учения сделан был для него на дворе и окошками в сад особый домик, где он и жил с сыновьями господина Нетельгорста.

Сему-то человеку поручен я был на руки, с тем, чтоб меня не только доучивать по-немецки, но начать учить и по-французски, также и рисовать; а господин Нетельгорст был столько к отцу моему благосклонен, что взялся содержать меня при своем столе бесплатно. Меня привез туда сам покойный родитель и оставил меня тут, придав мне только одного моего прежнего дядьку для одевания меня и раздевания. Мне отвели место в том же маленьком домике, где жили сыновья господина Нетельгорста.

---

*Собственно — предварительным; здесь: общеобразовательным.

Таким образом вступил я совсем для меня в новый род жизни; до сего времени никогда еще не отлучаем я был из дому моих родителей, и это случилось еще в первый раз. Но отлучение сие и отдание меня в чужой дом, а особливо такой, каков был сей, послужило мне в бесконечную пользу, так что я и поныне еще благословляю священный для меня прах моего родителя за то, что он сие сделал, ибо тут не только в полгода я гораздо множайшему, а немецкому языку столько научился, сколько не выучил во все время у прежнего учителя, но и вся моя натура и все поведение совсем переменилось, и в меня впечатлелось столько начатков к хорошему, что плоды проистекли из того на всю жизнь мою.

Обстоятельство, что во всем этом доме не умел никто по-русски говорить ни единого слова, весьма много поспешествовало к тому, что я весьма скоро начал уже порядочно говорить по-немецки и научился сопрягать слова нечувствительно. Ибо как дядьку моего я видел только по утрам и по вечерам, а все прочее время принужден был препровождать и говорить с немцами, то самая неволя заставила меня перенимать и учиться с ними говорить их языком. За тихое мое поведение, переимчивость и охоту к наукам меня скоро все полюбили, а хозяева сего дома содержали меня не инако как своего сына и не только ласкали наивозможнейшим образом, но и старались поправлять мои поступки и поведение, однако не строгостью и не браньми, а все ласкою и благоприятством. Во все время моего у них пребывания не слыхал я от них ни единого бранного слова,

а ласки их и попечение обо мне были так велики, что я и поныне еще благословляю прах их и за все их благодеяния чувствую благодарность. Сам учитель мой так меня любил и столько понятием моим был доволен, что я ни однажды не только не терпел от него таких пыток, как от прежнего, но и легкого сечения, и сколько помню, то однажды только погрозился и хотел было меня высечь розгами, да и то за какую-то непростительную шалость, так что я сам себя признавал того достойным. Что касается до моих соучеников, то как они были меня старее, то и не можно было мне иметь с ними компанию детскую и резвиться. Они содержаны были очень строго и в совершенном повиновении у родителей, не смели предпринимать ничего худого, воспитаны были очень хорошо, были хорошего поведения и имели охоту к наукам; а сие много помогло тому, что я от них не мог перенимать ничего худого, а напротив того, перенимал все хорошее и нечувствительно получил склонность как к наукам, так и к рисованию.

Словом, жить мне было тут так хорошо, весело и приятно, что я не только тогда очень скоро позабыл дом родителей моих, но и поныне, напоминая тогдашний период жизни, чувствую в душе моей некое удовольствие и почитаю оный наилучшим и приятнейшим временем моего младенчества. Мы учивались каждый день до обеда и после обеда, и я учился когда читать по-французски, когда писать и рисовать, а между прочим получил начальные понятия и о географии; каждый час приносил мне пользу, и не только учебный, но и всего прочего времени. Обедать и ужинать хаживали мы

обыкновенно в большие хоромы к старику, а после обеда важивал меня нередко учитель с собою гулять по саду, а в иное праздное время, а особливо по вечерам, бывали мы в хоромах, и я принужден был вести себя кротко, благочинно и порядочно. В праздники же и в воскресные дни нередко отпускали меня к моим родителям в местечко Бовск, а иногда старик сам меня туда важивал; а иногда приезжал и покойный родитель к нам.

В сем-то месте и в сие-то время впечатлелись в меня первейшие склонности к наукам, искусствам и художествам, продолжавшиеся потом во всю мою жизнь и производившие мне столь бесчисленные и приятные часы и минуты в жизни. Всему хорошему, что есть во мне, начало положилось тут, а сверх того имел я и ту пользу, что, живучи в таком порядочном доме, имел я первый случай узнать и получить понятие о жизни немецких дворян и полюбить оную.

Я жил и учился тут во все то время, покуда полк наш стоял в Курляндии, что продолжалось более года. В сие время нередко видался я с моими родителями; они жили сначала все в том же местечке, куда приехала потом и большая моя сестра с мужем. Для сего свидания обыкновенно езживал я к родителям с моим дядькою, летом верхом или в одноколке, а зимою в пошевенках* и, пробыв у них воскресенье, возвращался обратно к понедельнику на свою мызу.

---

*Сани.

... Случилось мне опять быть в Бовске. В сие время приехал какой-то генерал для смотрения полку нашего и был покойным отцом моим угощаем. Я при сем случае пожалован был сим генералом в сержанты*, ибо сам покойный родитель мой не хотел никак на то согласиться, чтоб меня произвесть в сей чин, совестясь, чтоб его тем не упрекали. Но как сему гостю я отменно полюбился за то, что, будучи ребенком, умел порядочно бить в два барабана вместо литавр при игрании на трубах, то, взяв сие в предлог, сделал он сие учтивство в знак благодарности за угощение хозяину.

Я не могу довольно изобразить, как обрадован я был сим происшествием и как мил мне был третий позумент, нашитый на обшлага мои. Я думал тогда о себе, что я превеликий человек, и стал действительно оттого учиться ревностнее и прилежнее. А как между сим кончился и 1748 год, то окончу и я свое письмо, сказав вам, что я есмь, и прочая.

---

* Сержант — старший унтер-офицер, фельдфебель. Дворянских детей записывали сержантами для скорейшего получения офицерских чинов.

ПОХОД В ПЕТЕРБУРГ

ПИСЬМО 10-е

Любезный приятель! Из бывших в начале 1749 года происшествий не помню я никакого такого, которое бы стоило повествования; а то только памятно мне, что пред окончанием зимы, неизвестно для каких причин, штаб нашего полку из местечка Бовска выведен, и родителю моему отведена была квартира на одной, за несколько верст от Бовска лежащей, дворянской небольшой мызе, называемой Клейн Мемельгоф, и что он под конец зимы стоял уже в оной и я к нему уже туда принужден был ездить. Также памятно мне то, что сия мыза принадлежала одному несчастному курляндскому дворянину Корфу, заколотому незадолго до того на поединке другим дворянином, по имени Шепинг, и что поединок сей, происходивший во время стояния нашего в Бовске, был столь славен, и мы так наслышались об обстоятельствах оного, что оные даже и теперь мне памятны; и как они не недостойны замечания, то и перескажу я оные.

У помянутого Шепинга была жена молодая и красавица; но сколь хороша была она, столь дурен, мал и невзрачен был помянутый муж ее. Что касается до Корфа, то жил он у него в недальнем соседстве

и был холостой, малый молодой, высокий и взрачный* собою, прекрасный, ловкий, но и азартный. С Шепингом были они знакомы и друзья, но говорили тогда, якобы Корф влюбился в его жену, и та будто бы ему несколько и ответствовала, но, имея мужа строгого и весьма проворного, принуждена была скрывать тайное свое с Корфом согласие; однако, как они ни таилися, но от мужа не могло сие сокрыться: он узнал и, приревновав к жене, стал ее содержать строже. Самое сие, как говорили тогда, было истинною причиною сей дуэли, а наружным поводом и предлогом к тому была небольшая обида, оказанная Корфом Шепингу. Сей Корф, надеясь на взрачность, силу и на умение свое стрелять и драться на шпагах, искал сам случая поссориться с Шепингом, ибо не сомневался в том, что он его либо застрелит, либо заколет и чрез то может со временем получить жену его за себя. Как вознамерился, так и сделал. Бывши однажды на охоте, заехал он умышленно в одну деревню, принадлежащую Шепингу, и под предлогом спрашивания у мужика его пить, велел искать силою пива и нацедить, а между тем умышленно выпустить всю бочку у хозяина. Мужик принес жалобу о том своему господину. Сему показалось сие слишком обидно; он послал с выговором о том к Корфу и с требованием, чтоб он мужика удовольствовал. Сей только того и ждал и, сочтя требование его для себя слишком грубым и

---

*Видный, казистый, красивый; в настоящее время осталось с отрицанием — невзрачный.

обидным, предложил ему, для удовлетворения мнимой обиды, поединок, ведая, что Шепингу по тамошнему обыкновению нельзя будет от того отказаться, в чем и не обманулся. Шепинг хотя и не хотел, но принужден был на то согласиться и назначить к тому день и место.

Поелику поединки в Курляндии были тогда в великом обыкновении и равно как позволенными, то оба они не имели причины таиться, но оба положили сделать его публичным; а потому не успели они об оном условиться, как вся Курляндия об оном сведала и все начали говорить об оном и с нетерпеливостью ожидать, чем дело сие кончится. До нас самих дошла тотчас о том молва, почему самому и помню я, что тогда о сем деле говорили и рассуждали. Все винили Корфа и сожалели Шепинга, почитая за верное, что сей последний лишится жизни, ибо никак не думали, чтоб он мог одолеть Корфа, который был самый величень* и сущий головорез, и притом славный стрелок из пистолета. Но не только прочие, но и сам Шепинг заключал самое то же и потому готовился к поединку сему, как на известную смерть и никак не думал остаться в живых, почему, отправляясь с секундантами своими на оный, не только распрощался навек с своими родственниками, но повез с собою даже гроб для себя. Что же касается до Корфа, то ехал он с превеликой пышностью и в несумненной надежде победить, почему самому и не внимал никаким уговариваниям друзей своих,

*Великан.

старающихся примирить его с Шепингом полюбовно и без драки. Всем нам известен был не только день, но и час, в который они драться станут и который, против чаяния всех, сделался бедственным Корфу. Несчастье его состояло в том, что Шепинг не согласился драться на пистолетах, а предложил, не устрашаясь величины Корфа, шпаги. Сие он всего меньше ожидал; но как выбор оружия зависел от вызванного на поединок, то нельзя было ему уже того и переменить. Кроме того, сделал Корф и другую погрешность, состоящую в том, что он пошел на Шепинга с излишним и непомерным азартом, а особливо как его сначала он поранил и просить стал, чтоб перестать и помириться. Ибо как для его слишком обидно было и несносно быть от малорослого Шепинга побежденным, то, закричав: «Нет, каналья, либо ты умри, либо я!» — пустился на него с толикою яростью, что сам почти набежал на шпагу своего противника и в тот же миг испустил дух свой, будучи им проколот насквозь.

Сим образом кончилось тогда сие славное дело, и все были рады, что Корф лишился жизни, ибо он надоел уже многим своим нахальством и озорничеством. Мы, стоявши потом в самом его доме, видели многие пули, сидящие в стенах, которые расстрелял он накануне того дня, стреляя все по зажженной свече и стараясь пулей только с ней снять и огня не потушить. Однако не так сделалось, как он думал, а так, как угодно было провидению, восхотевшему наказать сего высокомерного человека.

Между тем как покойный родитель мой в сем месте стоял, я жил в помянутой мызе Пац и продолжал

учиться по-прежнему, однако, к сожалению, не удалось мне сим прекрасным и полезным для меня случаем пользоваться. Не успела весна вскрыться и наступить лето, как полку нашему сказан был поход и велено было иттить в Финляндию, и как отцу моему одного меня и в таких летах и в такой отдаленности оставить было никак не можно, то принужден был нехотя взять меня с собою.

Таким образом, принужден я был оставить то место, которое сделалось мне так мило и приятно, что я и поныне еще напоминаю оное с некаким удовольствием. Сам старик-мызник, жена и дети его провожали меня, как родного, а учитель столь меня полюбил, что у него слезы даже на глазах навернулись, когда он со мною прощаться начал. Отец мой, приезжавший сам за мною, был столько тронут всем явлением сим, что не мог довольно слов найтить к возблагодарению им за все ласки и благоприятства, оказанные ими ко мне, и одолжение, ему сделанное.

Польза, полученная мною во время пребывания моего на сей мызе, состояла наиболее в том, что я научился порядочно говорить по-немецки, что для покойного родителя моего всего было приятнее. Он, любя сей язык, не мог довольно тем навеселиться и радовался по крайней мере тому, что он успел сие сделать; а сверх того, и то послужило ему к великому удовольствию, что я и французскому языку сделал хорошее начало, также получил охоту к рисованию, а что всего лучше, во всех поступках и поведениях моих несравненно пред прежним поправился и из прежнего пререзвого баловня сделался постоянным мальчиком, обещающим собою многое.

Шествие наше или поход простирался самым тем же путем, которым мы шли в Курляндию, а именно через Ригу, Дерпт, Нарву и в Петербург. Во время сего путешествия не помню я ничего особливого и достойного, кроме того, что по приходе к пограничному городу Риге полку нашему велено было иттить чрез город церемониею, и я первый раз от роду был в строю и в сержантском мундире и с маленьким ружьишком вел свой взвод. Боже мой, какое было для меня тогда удовольствие! Мне казалось, что на меня весь город тогда смотрит, как и действительно видел я весьма многих, на меня указывающих и говорящих:

— Ах! какой маленький сержант!

В тогдашние времена и действительно было сие в диковинку и в великую редкость.

Мы дошли до Нарвы благополучно, но тут у покойного родителя моего произошла какая-то ссора с нарвским комендантом Штейном за шествие через город церемониею; немец комендант вздумал было строить капризы и требовал чего-то многого, а родителю моему не хотелось удовлетворить излишнего его честолюбия. Тот запер ворота и не пустил чрез крепость, а сей, почтя за обиду, вошел в письменные команде представления, и так произошла у них вражда; но чем дело сие кончилось и кто из них остался прав, кто виноват — не знаю, а известно мне, что было только много переписки и что мы вскоре после того пришли в Петербург.

В сем столичном городе стоял полк в сей раз недолго, ибо ему назначено было иттить к Выборгу, и

так простоял он тут несколько дней. Но в нашем доме и с семейством произошла в немногие сии дни великая перемена: родитель мой решился мать мою с меньшею замужнею сестрою, которая была с нами, отпустить из сего места в деревню за Москву с тем, чтоб она заехала в деревню к сестре моей, где она еще не бывала, а более для того, что она была беременна и почти на сносях, а меня расположился оставить в Петербурге и отдать в какой-нибудь пансион учиться французскому языку. Он имел у себя близкого родственника, живущего тогда в Петербурге и служившего в конной гвардии ротмистром: то был господин Арсеньев, по имени Тарас Иванович. Он был двоюродный брат отцу моему и в малолетстве своем живал у него и воспитывался; они любили друг друга очень, и потому вознамерился он поручить ему меня на руки. При вспоможении его тотчас был приискан пансион и учитель и тотчас с ним обо всем нужном условлено и договорено. Наилучшим пансионом почитался тогда в Петербурге тот, который содержал у себя кадетский учитель старик Ферре, живший подле самого кадетского корпуса и в зданиях, принадлежащих к оному; в сей-то пансион меня и отдали.

Легко можно вообразить себе, что как я тогда принужден был разлучиться вдруг и с отцом и матерью и в первый раз остаться один и находиться от обоих их в удалении, то сей пункт времени был для меня весьма тягостен, и что прощание с моими родителями было весьма трогательно и плачевно. Меня отвезли на Васильевский остров, а в тот же час и родитель мой с моею матерью, которая с сего

времени его уже более и не видала, ибо судьбе было угодно, чтоб прощание их друг с другом было в сей раз последнее. Какое счастье для смертных, что они не знают ничего из будущего! Какими слезами не преисполнено б было сие расставание, а если б было известно, что оно последнее в жизни!

Поелику жизнь моя с того времени получила новый образ и вид, то окончу я сим и письмо мое, сказав вам, что я навсегда пребуду ваш... и прочая.

ЖИЗНЬ В ПАНСИОНЕ

ПИСЬМО 11-е

Любезный приятель! Итак, по отъезде матери моей в деревню, а родителя с полком — в Финляндию, остался я один в Петербурге, посреди людей, совсем мне незнакомых, и власно, как в лесу. Не могу никак забыть того дня, в который привезли меня в дом к учителю и оставили одного: мне казалось, что я находился совсем в ином свете и дышал другим воздухом: все было для меня тут дико, все ново и все необыкновенно. Я принужден был начать вести совсем нового рода жизнь, и совсем для меня необыкновенную: не мог я уже ласкаться, чтоб мог пользоваться той негою, какою наслаждался в родительском доме. Маленькая постелька и сундучок с платьем составляли весь мой багаж, а дядька мой Артамон был один только мой знакомый, прочие же все были незнакомы, и я долженствовал со всеми ознакамливаться и спознаваться, а особливо с теми, которые тут также по примеру моему жили.

Учеников было тогда у учителя моего человек с двенадцать или с пятнадцать; некоторые были на его содержании, а другие прихаживали только всякий день учиться, а обедать и ночевать хаживали домой.

Из числа первых и знаменитейших из всех был некто господин Нелюбохтин, сын одного полковника гарнизонного, да двое господ Голубцовых, которые были дети одного сенатского секретаря. Сии жили вместе со мною, и каждому из нас отведена была особливая конторочка в том же покое, где мы учились, досками отгороженная. Мне, как новичку и притом полковничьему сыну, отведена была наилучшая вместе с господином Нелюбохтиным, который был мальчик нарочито уже взрослый и притом тихого и хорошего характера, и потому я скоро с ним спознакомился и сдружился. Голубцовы были также меня старее, ибо мне было только 10 лет от роду, однако уже не таковы, как Нелюбохтин. Одного из них звали Александром, а другого позабыл. Я познакомился скоро и с ними, ибо были они не из числа дурных детей. Что ж касается до приходящих к нам учиться, то были они разные, и между прочим одна нарочитого уже возраста девушка, дочь какой-то майорши; по прошествии долгого времени позабыл я, как ее звали, только помню, что она при мне недолго училась, а и прочие из приходящих часто переменялись и то прибывали, то убывали. Как мне никто из них не был слишком короток, то и не помню я из них почти ни одного, что и неудивительно по моему возрасту.

Учитель мой был человек старый, тихий и весьма добрый; он и жена его, такая же старушка, любили меня отменно от прочих. Он сам нас мало учивал, потому что по обязанности своей должен был всякий день ходить в классы в кадетский корпус и учить кадетов, и так доставалось ему самому нас учить

двенадцатый час да в вечер еще один час. Прочее же время учил нас старший из его сыновей, которых было у него двое. Одного звали Александром, и он был нарочито уже велик и мог уже по нужде обучать и был малый изрядный, а другой еще маленький, по имени Фридрих, и малый огненный, резвый и дурной; за резвость и бешенство его мы все не любили.

Что касается до содержания и стола для нас, то был он обыкновенно пансионный, то есть очень, очень умеренный; наилучший и приятнейший кусок составляли булки, приносимые к нам по утрам и которыми нас каждого оделяли. Они были, по счастию, отменно хороши, и хлебник, пекущий оные, умел их так хорошо печь, что мне хороший вкус их и поныне еще памятен. Обеды же были очень, очень тощи и в самые скоромные дни, а в постные и того хуже. Но привычка чего не может сделать! Сколько сначала ни были мне такие тощие обеды маловкусны, однако я наконец привык и довольно бывал сыт, а особливо́ когда поутру либо лишнюю булочку, либо скоромный прекрасный кренделек купишь и съешь, которые так нам казались вкусными, что подберешь и крошечки; нередко же случалось, что иногда и ложка, другая, третья хороших щей с говядиною, варимых для себя слугою моим, помогали обеду, и которые нередко казались мне вкуснее и сытнее всякого обеда.

Как я учению французского языка начало сделал еще в Курляндии и тут стоило только продолжать оный, то успех учения моего был весьма хорош. Я столь был понятен и прилежен, что менее

нежели в полгода обогнал моих сотоварищей и сделался первенствующим в школе, и каков был ни мал, но мог всем указывать и за всеми поправлять. Учение наше состояло наиболее в переводах с русского на французский язык Езоповых басней и газет русских; и метода сия недурна: мы через самое то спознакомливались от часу больше с французским языком, а переводя газеты, и с политическим и историческим штилем и с званиями государств и городов в свете.

Как обещано было, чтоб выучить меня и географии, то чрез несколько времени принял учитель наш или пригласил какого-то немца, чтоб приходил к нам и учил нас часа два после обеда сей науке. Для меня была она в особливости приятна и любопытна, я пожирал, так сказать, все говоренные учителем слова, и мне не было нужды два раза пересказывать. Европейская карта, которую он одну нам только и трактовал, впечатлелась так твердо в уме моем, что я мог всю ее пересказать по пальцам. Но жаль, что учение сие недолго продолжалось: не знаю и не помню, что тому причиною было, что он ходил к нам не очень долго, почему и учение было весьма слабое и короткое. Со всем тем получил я чрез сей случай нарочитое о географии понятие, но что более моей удобопонятности, охоте и любопытству приписывать должно; а судя по учению, то оное не принесло б мне дальней пользы, так как прочим пользовало оно очень мало.

Что принадлежит до истории, то сей науке в пансионе нашем не было обыкновения учить. Но сие едва

было и не лучше, нежели учить таким образом, как учат ныне (1789 г.) в пансионах, где теряется только на то время, а пользы никакой не производится, ибо заставливают детей учить обе сии науки наизусть во французском языке, и они ничего не понимают.

Но недостаток сей наградил я некоторым образом собственным своим любопытством и чрезвычайною охотою к читанию книг, полученною около сего времени. За охоту к тому обязан я книге «Похождения Телемака»*. Не могу довольно изобразить, сколь великую произвела она мне пользу! Учитель наш заставливал меня иногда читать ее у себя в спальне для науки, но я ее мало разумел по-французски, а по крайней мере узнал, что она такое, и достав не помню от кого-то русскую, не мог довольно ей начитаться. Сладкий пиитический слог пленил мое сердце и мысли, влил в меня вкус к сочинениям сего рода и вперил любопытство к чтению дальнейшего. Я получил чрез нее понятие о митологии**, о древних войнах и обыкновениях,

* «Похождения Телемака, сына Улиссова» сочинено господином Фенелоном, учителем детей короля французского, бывшего потом архиепископом камбрейским и князем Римской империи, переведено в 1734 г. Напечатано при Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге в 1747 г.

Фенелон — знаменитый французский писатель (1651–1715); «Похождения Телемака» — главное его произведение, в котором Фенелон отдал дань своему увлечению классицизмом, взяв у Гомера не только сюжет, но и целые эпизоды. «Похождения» полны намеков на современный автору строй.

** Мифологии.

о Троянской войне, и мне она так полюбилась, что у меня старинные брони, латы, шлемы, щиты и прочее мечтались беспрерывно в голове, к чему много помогали и картинки, в книге находившиеся. Словом, книга сия служила первым камнем, положенным в фундаменте всей моей будущей учености, и куда жаль, что у нас в России было тогда еще так мало русских книг, что в домах нигде не было не только библиотек, но ни малейших собраний, а у французских учителей того меньше. Литература у нас тогда только что начиналась, следовательно, не можно было мне, будучи ребенком, нигде получить книг для чтения.

Но не одним сим я, живучи в сем пансионе, воспользовался: я уже упоминал прежде, что я с самого малолетства получил великую склонность к рисованию и маранию красками. Еще в то время, как я учился писать по-русски, то писаришка, учитель мой, вперил в меня первую охоту рисованием своих кораблей, церквей, колоколен и прочего; дядька мой также умел гваздать* колокольни и чернецов, и я насмотрелся у него. Охота сия возросла еще того более в Курляндии, когда учитель мой Чаах научил меня держать кисть в руках и безделицы ими мазать красками. Словом, склонность моя к сему искусству была так велика, что в то время, когда ехали мы из Курляндии в Петербург, почитал я наивеличайшим благополучием в свете, когда б мог я иметь котел с кранами вокруг, такой, чтоб из каждого крана текла

---

*Марать, мазать, пачкать.

мне из него разная краска, и какой бы я отвернул, такая бы и потекла. Но тут жил я окружен будучи вокруг рисовальными мастерами и имел наивожделеннейший случай насмотреться, как они рисуют и как составляют разные краски, и получить ближайшее понятие о сем искусстве; меня оно столь прельщало, что я досадовал, для чего меня не учат, и писал к родителю моему, чтоб он сделал милость и велел меня учить. Он и сделал мне сие удовольствие: живущий с нами об стену рисовальный мастер Дангауер нанят и приговорен был меня учить; итак, начал я к нему ходить и по нескольку часов учиться. Но какая досада была для меня, что учить меня начали не так, как мне хотелось, красками, а карандашом и рисовать все фигуры. В этом прошло все время, и мне не удалось поучиться рисовать красками и любимые свои ландшафты, которые мне всего были милее, но по крайней мере имел я тут случай насмотреться и узнать многое. Сам учитель рисовал очень хорошо, и наиболее яйца гусиные красками; я же научился у него изрядно рисовать карандашами.

Между тем, как я, сим образом живучи тут, учился французскому языку, географии и рисованию, не оставлял я в праздное время, а особливо в праздники, ходить к дяде моему, господину Арсеньеву. Благоприятством и ласками его и тетки, жены его, я был очень доволен; они принимали меня всегда как близкого родственника и любили меня очень за тихое и скромное мое поведение. Они имели у себя другого племянника, жившего в кадетском корпусе и записанного в оном; он был и мне внучатный брат, звали его Тимофеем Ивановичем Тутолминым, и он

самый тот, который ныне наместником в городе Архангельском. Судьбе угодно было превознесть его далеко предо мною, но тогда имел я преимущество пред ним, и дядя любил меня более, нежели его, ибо он был резв и вертоголовой. Мы всегда почти бывали с ним вместе у дяди и всегда ночевали, ибо ходить должно было чрез весь Петербург, и были друзья между собою.

В сих происшествиях кончился 1749 и начался 1750 год. Бываемые около сего времени и в другие торжественные дни увеселения, а особливо иллюминация из разных фонарей, прельщали меня до бесконечности; для меня были новым зрелищем, и я не мог их довольно насмотреться. Ко всему любопытному был я с малолетства склонен. Таким образом утешали меня чрезвычайно кадетские строи и их учения, бывшие летом: всегда, когда они ни бывали, хаживали мы смотреть, ибо парадное место было подле самых нас.

Пред приближением масленицы восхотелось родителю моему меня видеть; он прислал за мною повозку и лошадей и просил учителя, чтоб он недели на две меня к нему отпустил. Учитель не только на то охотно согласился, но поступил еще далее и отпустил со мною и старшего своего сына. — Итак, ездили мы к моему родителю в полк и гостили у него недели две. Он стоял тогда с полком между Выборгом и Петербургом, на винтер-квартирах*, и имел квартиру свою в селе, называемом Красным; хором-

* Зимние квартиры.

цы были самые маленькие, но в этакой стране, какова Финляндия, и требовать было лучше не можно. Родитель мой был нам очень рад и о успехе учения моего изъявлял свое удовольствие. Все время нашего пребывания у него препроводили мы весело и приятно: он бирал нас с собою, когда случалось ездить ему куда в гости. Все полковые офицеры ласкались ко мне наперерыв и все хвалили за мою прилежность и охоту к учению; в сие-то время выпросил я у родителя моего прежде упомянутое дозволение рисовать учиться; он охотно на то согласился и велел купить для меня рисовальную книгу и все нужное.

Здоровье родителя моего начало около сего времени гораздо слабеть; он уже давно жаловался ногами, но сие время чувствовал и во всем себе слабость. Как теперь помню, однажды идучи вместе с ним к церкви, которая была неподалеку от хором, обратившись он к идущим позадь его офицерам, сказал:

— Нет, государи мои, недолго уже мне жить, чувствую одышку и отменную слабость во всем моем теле, которая меня очень устрашает.

Все утешали его, говоря, что лета его еще не так велики, чтоб скорой смерти опасаться было можно; однако он оставался при своем мнении.

Другое, что мне из сего периода времени памятно, было то, что родитель мой издевками своими вогнал меня однажды в превеликие слезы. — Идучи однажды в баню, угодно ему было взять меня с собою. Не успели мы раздеться, как вздумалось ему надо мной пошутить:

— Ну, брат Андрюша, — сказал он мне, — ты у меня теперь уже жених, и пора уже тебя женить.

Меня сие так поразило, что слезы у меня как град покатились, ибо природная застенчивость моя против женского пола была так велика, что я не мог рассудить, что это была одна шутка; и можно ли быть правде, когда я тогда не более как по одиннадцатому году был: женят ли кого в такие лета?

Погостивши у родителя моего недели две-три и на первой неделе великого поста исповедовавшись и причастившись, возвратился я опять в Петербург и стал продолжать свои науки и жить по-прежнему у моего учителя. С сего времени, сколько я помню, упражнялся я в переводе какой-то французской книжки, — мне и поныне жаль, что у меня пропал сей перевод; без всякого сомнения, он был весьма несовершенен и недостаточен: некто господин Барынков нашего полку выпросил у меня его прочесть и увез.

Сим образом продолжал я тут жить и учиться во весь остаток зимы, во всю весну и лето; а между тем родитель мой перешел с полком своим в самый город Выборг, ибо полку его велено было стоять тут во все лето лагерем. Желал бы он охотно, чтоб я прожил у учителя моего еще год, но усиливающаяся его слабость и болезненное состояние принудили его прервать, против хотения своего, мое учение и взять меня к себе из Петербурга. Он прислал за мною нарочных лошадей, и я принужден был, оставив Петербург и все свои науки, и к нему в Выборг ехать.

Сим окончу я сие письмо, предоставляя в последующем рассказать дальнейшее, что со мною случилось; а между тем, при уверении о моей непомерной дружбе, остаюсь и прочая.

В ВЫБОРГЕ

ПИСЬМО 12-е

Любезный приятель! Таким образом, не продолжалось учение мое в Петербурге более одного года, и заплачено за меня с небольшим сто рублей, но сии сто рублей принесли мне великую пользу. Лета мои, сколь ни были еще нежны и малы, однако я тут многому набрался не столько учася, сколько наглядкою. Что ж принадлежит до французского языка, то оному, судя по летам моим, я довольно выучился и не только мог говорить, но и переводить по нужде. Напротив того, немецкий язык я совсем почти позабыл, ибо как во всей нашей школе ни один человек не разумел и не говорил по-немецки, то, не имея случая целый год ни с кем ни единого слова промолвить, и разучился я оному так, что не умел и пикнуть. Вот что делает отвычка и не употребление! Однако читать, писать и разуметь я все-таки еще мог.

По приезде моем в Выборг нашел я родителя моего стоящего на маленькой квартирке по ту сторону города и подле самого поля по конец всего форштата, где неподалеку стоял и полк его лагерем. Он лежал уже в постели и врачуем был полковым нашим лекарем. Большой мой зять находился тогда в отпуску, а меньшой был в полку, однако стоял на

другой квартире. Родитель мой не преминул меня проэкзаменовать во всех моих знаниях. Он доволен был, что я по-французски сколько-нибудь научился, любовался моими рисунками, а паче всего мило ему было, что я имел уже некоторое понятие о географии. Он сам любил и знал сию науку и не мог довольному моему знанию нарадоваться, а не менее и я рад был, что нашел у него целый атлас с ландкартами* и мог любопытство свое по желанию удовольствовать. Одно только родителю было не весьма приятно, что я за французским языком совсем немецкий позабыл. Чтоб пособить сему сколько-нибудь, то заставил он прежнего учителя моего Миллера, который у него в доме жил, по нескольку часов в день возобновлять мне язык сей. Я принужден был ходить к нему в сарай, где он имел свое жилище, и там препровождать с ним по нескольку часов в читанье и говоренье; однако хотя продолжалось сие более месяца, но пользы от него получил я мало, ибо он совсем не способен был к учению.

Сию скуку заменял я в праздное время другими и приятнейшими для меня упражнениями. Я узнал, что у родителя моего был целый ящик с книгами. Я добрался до оного, как до некоего сокровища, но, к несчастью, не нашел я в них для себя годных, кроме двух, а именно: Курасова сокращения истории и истории принца Евгения**. Не могу, однако, довольно изобразить, сколько сии немногие книги принесли

* Географическая карта.

** См. примечание 5 после текста.

мне пользы и удовольствия. Первую я несколько раз прочитал и получил через нее первейшее понятие об истории, а вторую не мог довольно начитаться: она мне очень полюбилась, и я получил через нее понятие о нынешних войнах, об осадах крепостей и многом, до новой истории относящемся. Пуще всего было мне приятно и полезно, что в книге сей находились планы баталиям и крепостям. Я скоро научился их разбирать и получил такую охоту к военному делу, что у меня одни только крепости, батареи, траншеи, ретраншементы и прочие укрепления на уме были. Нередко просиживал я по нескольку часов, читая сию милую для меня книгу и рассматривая чертежи и рисунки. И читание сие подало однажды повод к особливому происшествию: как я однажды ее сим образом читал, то вздумалось родителю моему, лежащему в комнаточке, отгороженной от того покоя, где я читал, спросить меня, что я делаю.

— Читаю, батюшка, книгу, — сказал я.

— А какую, мой друг?

— Принца Евгения.

— О мой друг! — сказал родитель мой, сие услышав. — Книгу сию читать тебе еще рано.

— Но почему же? — спросил я. — Я ее довольно понимаю и разумею, и мне она очень полюбилась.

— Ну, хорошо, мой друг, — сказал родитель мой, — ежели так, то пожалуй себе читай.

А услышав, что я ее уже в другой раз читаю, а Кураса три раза прочел, похвалил меня за охоту мою к чтению и за мое любопытство особливое.

Другое и весьма приятное для меня упражнение

было в хождении смотреть, как артиллеристы учились стрелять из пушек в цель. Учебная батарея их была подле самой нашей квартиры, и как я около сего времени давно уже перестал бояться стрельбы, но паче получил к ней особливую охоту и склонность, то не пропускал я ни единого случая, чтоб не быть на батарее, когда стреляли, и нередко имел удовольствие сам зажигать нацеленные пушки. Но никогда я сам собою так доволен не был, как при одном случае: артиллеристам сим вздумалось однажды, не знаю для чего, кинуть из мортиры одну начиненную бомбу, с тем, чтобы ее разорвало в воздухе. Как офицер артиллерийский был мне уже знаком, то выпросил я дозволение, что мне ее бросить, то есть зажечь мортиру. Сперва не хотели было мне на то позволить, боясь, чтоб меня не оглушило, однако я убедил их моею просьбою, и удовольствие было неописанное, когда увидел я брошенную мною бомбу кверху разрывающеюся. День был тогда прекрасный, бомба расселась в самой высоте и произвела наиприятнейшее зрелище своим сперва маленьким и на облачко похожим дымом, а потом своим громом.

Другое, но еще вящее удовольствие имел я при следующем случае. Известное то дело, что полки во всякое лето не только учатся, но наконец все солдаты стреляют и в цель пулями в нарисованных на щитах людей; каждый солдат должен выстрелить три раза, и всякий раз записывается, кто и во что попал. Сей обряд должен был производить около сего времени и наш полк; я, как сержант, находившийся в действительной службе, должен был нахо-

диться также в строю. Правда, никто бы не взыскал, если б я не был, но мне самому того хотелось: ружье было у меня маленькое и по моей силе, и мне восхотелось также с прочими стрелять. Сие было в первый раз от роду, что я стрелял из ружья моего пулею, и какое неописанное удовольствие мое было, когда из всех трех пуль не потерял я ни одной, но всеми попал в щит и одною прямо в сердце, что почиталось за превеликую редкость. Похвалы загремели мне отовсюду, и я не вспомнил сам себя от радости; хотя дело само по себе не составляло никакой важности, но для ребенка все было мило и приятно.

Далее, нередко хаживал я в самую крепость и город Выборг; многие из офицеров наших имели там свои квартиры, и как они все меня любили, то хаживал я к ним иногда в гости. При сем случае имел я довольное время насмотреться сего города и крепости, построенными почти на одном камне. Он разделяется на две части: одну и большую часть составляет старинная крепость, наполненная довольно изрядным немецким каменным строением и имеющая внутри себя несколько кирок и церквей; одна наизнаменитейшая из них превращена была в нашу церковь и была соборная. Другую часть составляла новая пристройка, которой укрепления и тогда не совсем еще были отделаны, ибо как кряж, на котором вся сия и нарочитого пространства часть города была построена, составлял единый и целый дикий камень, и как ров около укреплений копать было никак не можно, то принуждено было дикий камень сверлить и порохом рвать. На сию работу, производимую с великим трудом, не однажды я сматривал

и видал, как рвало каменья и бросало на воздух; чтоб не могли они кого убить, то назначалось к тому особливое время, и по данному сигналу все удалялись прочь и под защиты, а тогда вдруг все сверлы и запалялись. Боже мой, какое начиналось тогда трескание и лопатня и какое летание на воздух превеликих глыб каменных! Но, по счастью, летали они недалече в стороны, и городским жителям не было от них ни малейшей опасности.

Сия новая и недостроенная еще часть города отделена была от старого города нарочитой ширины морским рукавом или узким заливом, простирающимся внутрь земли на знатное расстояние.Для коммуникации* между обеими частями сделан был через рукав сей предлинный мост, а против середины оного на случившемся природном посреди рукава каменном острове воздвигнута была превысочайшая башня, окруженная внизу весьма крепкими укреплениями и снабженная множеством пушек; некоторые из них и самые величайшие были на самой башне и могли очищать все окрестности города; все сие укрепление называлось Шлоссом или замком.

В сих-то и подобных сему упражнениях препровождал я свое тогдашнее время, и оно было мне приятно и весело. Но, увы! приятное сие время не долго продолжалось: судьбе угодно было положить предел дням моего родителя и произвесть через то во всех обстоятельствах моих великую и весьма важную перемену.

---

*Французское слово — для сообщения, пути, дороги.

Лета родителя моего были хотя весьма еще немногочисленны, но болезнь, чувствуемая им за несколько уже лет до того в ногах, а потом и во всем теле, свела его в гроб и лишила его той жизни, которая для меня весьма еще была нужна и надобна, ибо я был сущий еще ребенок. Недели за две до кончины болезнь его так усилилась, что все старания полкового нашего и искусного лекаря не могли подать ему ни малейшего облегчения, но он, напротив того, со всяким днем приходил в вящую слабость. Тогда не только все окружающие его, но и сам родитель мой предвидел, что конец его жизни приближается. Он требовал сам, чтоб приготовили его к кончине по долгу христианскому; итак, исповедали его и приобщили святых тайн, а потом особоровали елеем.

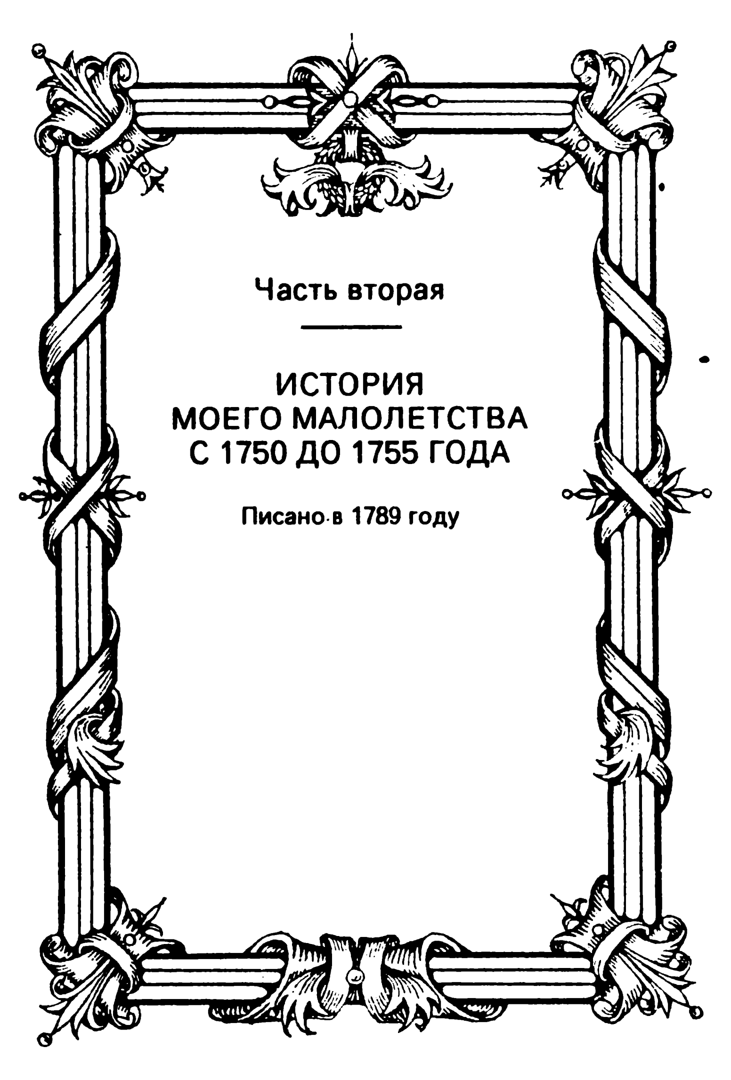
При производстве сих церковных обрядов сердце мое поражено было наивеличайшею тоскою. Вместо прежних удовольствий текли из глаз моих слезы; меня хотя старались все утешать и льстили надеждою, что авось-либо родителю моему полегчает и он от болезни своей освободится, но изображающаяся на лицах у всех печаль и господствующее во всем доме уныние и печальное молчание не то мне предвозвещало. Я ходил повеся голову и утирал только текущие из глаз слезы.

Поелику родитель мой был до самого конца своей жизни в совершенной памяти и рассудке, то и не упустил он сделать все, что должно. Он написал духовную и поручил попечение обо мне и о моей матери наилучшему своему другу, Ивану Михайловичу Дурнову, одному соседственному по деревням нашим дво-

рянину; но сия духовная осталась потом без всякого действия. Потом распрощался он со всеми нами и домашними; все домашние обмывали руки его своими слезами и наполняли воздух своими рыданиями. Что касается до прощания со мной, то было наитрогательнейшее и для меня наипечальнейшее.

...Сим окончу я теперешнее мое длинное письмо, а в последующих расскажу вам, как я, оставшись один и сиротою, начал далее жить и горе мыкать; а между тем, уверив вас о непременности моего дружества, остаюсь ваш, и прочая.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ



Часть вторая

ИСТОРИЯ МОЕГО МАЛОЛЕТСТВА С 1750 ДО 1755 ГОДА

Писано в 1789 году

ОТЪЕЗД ИЗ ПОЛКА

ПИСЬМО 13-е

Любезный приятель! Смерть отца моего произвела во всех обстоятельствах, относящихся до нашего дома, а особливо до меня, великую перемену; я остался от него малолетен, на чужой стороне, один и без всякого почти покровительства и защиты. Мать моя находилась в сие время в деревне за Москвою и в великой от нас отдаленности. Больший мой зять был в отпуску и был также в псковских своих деревнях, а в полку находился только меньшой мой зять, г. Травин; но сей был не весьма обстоятелен, а более ветрен и ненадежен. Однако для меня и то было уже великим счастьем, что он случился на ту пору при полку; без него и того бы еще хуже было, и я, будучи ребенком, не знал бы что делать и что начать с собою и с оставшим после отца моего стяжанием. А то, каков он ни был, но все уже мог сколько-нибудь обо мне и о прочем приложить труды и постараться.

Наиглавнейший был тогда вопрос — что со мною делать? Обстоятельство, что я не только записан был в службу, но и действительно в оной считался сержантом, наводило не только на зятя моего, но и на всех знакомцев отца моего, которые наиболее к на-

шему дому были привязаны, великое сомнение и заботу. Остаться при полку и нести действительную службу, по молодости и по летам моим, было мне никак не можно, а из полку в дом матери моей, и на долгое время, отпустить никто не мог и не отважился: отпуски в домы были как-то около сего времени очень туги, так что сами генералы не могли отважиться отпускать на несколько месяцев. К тому ж хотя бы я и отпущен был, но как можно было мне одному и в такой дальний путь, а потом с таким тяжелым и большим обозом отправиться, каков был наш? Но как время не терпело и чем-нибудь вопрос сей решить было надобно, то все наши друзья и знакомые за необходимое считали, чтобы зятю моему постараться как-нибудь о том, чтоб он взял на себя труд и отвез меня со всеми оставшимися пожитками к моей матери.

Но тут опять было некоторое сомнение: просить сего увольнения надлежало от тогдашнего дивизионного командира, генерал-поручика Салтыкова; но всем известно было, что он имел с покойным родителем моим, незадолго до его кончины, некоторую суспицию*. Не могу знать, о чем и за что она была, но то только мне памятно, что все обвиняли более сего генерала, нежели моего родителя, в сем деле. Но как бы то ни было, но все опасались, чтоб сей генерал, которого характер не принадлежал к числу изящных, не стал мстить и не сделал в деле нашем остановки.

---

*Латинское — столкновение.

Но, по счастью, мы в сем пункте обманулись: со смертью отца моего пресеклась и вся злоба на него сего гордого генерала. Как пришли мы к нему с моим зятем и я, по совету его, поверг себя к его ногам, то принял он нас довольно благоприятно. Может быть, польстило сие его гордости и высокомерию, а статься может, что и сиротство мое, и малолетство его тронуло. Но, как бы то ни было, он, выслушав нашу просьбу, сказал нам, что он весьма охотно б исполнил все нами требуемое, но строгие запрещения от главной команды ему то возбраняют; словом, что он ни меня, ни зятя надолго никак отпустить не может, а отпустит на 29 дней в Петербург, а там просили б мы о должайшем отпуске главную команду.

Обстоятельства наши были таковы, что мы и сему уже были рады, ибо не сомневались почти, что в Петербурге некоторые приятели отца моего помогут нам сделать то, чтоб нас отпустили на должайшее время. В сей надежде отблагодарили мы господина Салтыкова и, получив от него паспорты, начали спешить собираться в путь свой и готовить все нужное к отъезду.

В сих сборах и приготовлениях прошло несколько времени. Пожитков отца было хотя и не слишком много, но набралось всякой рухляди столько, что потребно было несколько повозок и более лошадей, нежели сколько у нас тогда было. Необстоятельность и ветреность зятя моего и излишняя его уже поспешность, а особливо обстоятельство, что у нас после погребения не осталось ничего наличных денег и не было чем не только в деревню,

но и до Петербурга доехать, было причиною, что многие вещи были тогда разбросаны, а другие за бесценок распроданы, ибо денег получить инако было неоткуда и не можно. Все наилучшее отца моего: платье, полковничий его золотой шарф и весьма многие другие вещи превращены были в деньги, и выручена на том довольная сумма. Но ни которой вещи так мне не жаль, как настольных часов, бывших у отца моего. Они были особливого устроения, очень невелики и уютны и представляли собою небольшой продолговатый пьедестал, наверху которого лежал бронзовый и вызолоченный мопсик, гамкающий при всяком ударении часов и представляющий весьма хорошую и смешную фигуру. Вещица сия была такова, что мне и поныне ее жаль, и тем паче, что мне подобной ей уже нигде с того времени видеть не случалось, но зятю моему что-то вздумалось и ее сжить с рук, хотя не было уже никакой дальней нужды и можно было и без продажи сих часов обойтиться; он продал их нашему подполковнику, и за весьма умеренную цену.

Сим образом, снабдив себя довольным и множайшим числом денег, нежели сколько нам было надобно, начал мой зять крутить и юрить* нашим отъездом. Тотчас были куплены лошади и повозки недостающие и тотчас все нужное к отъезду изготовлено, а чего не можно было с собою взять, отчасти разбросано, отчасти раздарено кому ни попало.

---

*Метаться, суетиться.

Наконец, собравшись совсем и распрощавшись со всеми нашими знакомцами, отправились мы в путь свой. Было сие уже около половины октября месяца, и в Петербург доехали мы очень скоро, хотя обоз наш и состоял во многих повозках.

По приезде нашем в сей столичный город наипервейшее дело наше было отыскать всех приятелей и друзей отца моего. Их тут было немного; дяди, моего прежде упоминаемого, конной гвардии ротмистра г. Арсеньева, на тот раз в Петербурге не случилось: он находился в отпуску, следовательно, его вспоможением не могли мы воспользоваться. Другой знакомец и, можно сказать, друг отца моего был тогда в Измайловском полку майором, по имени Гаврила Андреевич Рахманов; мы его тотчас отыскали и имели удовольствие видеть, что он с пролитием слез услышал от нас известие о кончине родителя моего и охотно хотел употребить все, что состояло в его силах, к вспоможению нашему. Однако человек сей был хотя и генерал, но не из сильных и не могущих ничего дальнего сделать; все, что он для пользы нашей сделать смог, состояло почти в одном только, что он отвез меня и представил к третьему и наизнаменитейшему отца моего знакомцу и другу, обер-гофмаршалу Дмитрию Андреевичу Шепелеву, на которого мы и полагали наивеличайшую свою надежду.

Сей любезный и орденами обвешанный старичок принял нас отменно ласково и не мог довольно о родителе моем натужиться. Он любил его как друга и, услышав о кончине его, не однажды утирал глаза свои, орошаемые слезами, а меня несколько раз удо-

стоил своими облыбызаниями. С превеликою охотою брался он употребить все, что только можно было, к услугам нашим; но жаль, что он, будучи придворный человек и притом отправляя такую должность, которая с прочими не имела дальней связи, не в силах также был произвесть что-нибудь важное. Однако нам не можно было на него никак жаловаться; он учинил все, что только мог, к споспешествованию нашего намерения и, может быть, учинил бы и больше, если б мы ему дали волю и сами с своей стороны ему препон в том не полагали.

Еще в самый тот же день, как мы у него в первый раз с господином Рахмановым были, не преминул он обо мне с ним говорить и рассуждать, что б можно было им обоим учинить в мою пользу. Оба сии почтенные старички, и вкупе друзья между собой и приятели отцу моему, долго о сем деле думали, говорили и рассуждали. Обоим им усердно хотелось оказать мне существенную услугу, извлечь меня из полку и продолжить мне удобнейший путь к дальнейшему счастью, нежели какое мог я найтить, служа в полевых полках и в таком низком чине, но малолетство мое делало им в том превеликое помешательство. Обстоятельства тогдашних времен были совсем не таковы, как нынешние (1789 г.): в тогдашние времена и не производили с малолетними детьми таких кукольных комедий и сущих детских игрушек, как ныне: тогда трудно было и самым наизнатнейшим людям что-нибудь особое в пользу их сделать. В нынешние времена таковым людям, как они, не великого б труда стоило, при помощи приятелей своих, доставить мне офицерский чин, но в

тогдашние и помыслить о том было не можно. Единое средство для доставления мне офицерского чина находил господин Шепелев в том, чтоб перевесть меня из полевых пехотных полков в украинские ландмилиции*, поелику корпус сей достоинством своим был ниже полевых полков, то каким-то образом была возможность выпустить меня туда в офицеры, и господин Шепелев брался сие уже сделать, если мы на то будем согласны и на то решимся; если же нет, то находил он другое выгодное для меня место и говорил, не соглашусь ли я переменить мою военную службу на придворную. В сем случае хотел он определить меня ко двору в пажи, что ему всего легче учинить было можно, потому что он был над ними главным командиром. Что же касается до господина Рахманова, то он со своей стороны предлагал, что буде не будем мы согласны на то, то не хочу ли я перейтить в гвардию, и буде хочу, то в сем случае берет он на себя сделать то, что примут в нее меня капралом. Более сего сделать было не можно, ибо в тогдашнее время унтер-офицерские и сержантские чины в гвардии были великой важности и ими так не швырялись, как ныне.

Как все предложения были совсем для нас неожидаемые и такие, о которых надлежало подумать, то и не знали мы, что сказать и на что решиться. Старикам нетрудно было приметить наше настроение и нерешимость, и они охотно нас в том извинили; но как приходило время господину

---

*См. примечание 6 после текста.

Шепелеву уже со двора ехать, то, обратясь он к зятю моему, сказал:

— Ну, дорогой мой (такая у него была пословица), подумайте ж о сем хорошенько и побывайте у меня опять и скажите, что для вас лучше?

Сим кончилось тогда первое наше свидание. Оба старика поехали во дворец, а мы возвратились в свою квартиру, бывшую в Ямской слободе у одного каретника.

Пришедши туда, начал меня зять спрашивать, как я думаю: принимать ли сии предложения или нет, и буде принимать, то которое кажется для меня лучше и куда бы я хотел охотнее: в ландмилицию ли, ко двору или в гвардию. Но чего можно было тогда от меня, толь мало еще смыслящего, ожидать? У меня все мысли были заняты тем, как бы скорей домой, к моей матери приехать, а предложения сии все были не по моему вкусу, ибо в случае принятия первого надлежало в превеликую отдаленность и Бог знает куда в Украину ехать и там быть одному без всяких родных и знакомых; а в случае принятия последних, надлежало также одному и без всяких родных в Петербурге оставаться, и буде определиться в гвардию, то нести еще службу капральскую, в которой я нимало еще не был способным. Словом, мне никуда не хотелось, но что в рассуждении меня и неудивительно, ибо я был ребенок, а надлежало хорошенько о том подумать моему зятю, что для меня было полезное, и на том решиться.

Но у него не то на уме было, он помышлял только о том, как бы поскорее из Петербурга вырваться, ибо ему еще более всего хотелось в свою деревню,

в которую он был намерен заехать. И так он тому и рад был, что мне никуда не хотелось, вследствие чего, с общего согласия, положили мы от всех сих предложений учтивым образом отказаться, а просить господина Шепелева, чтобы он сделал милость и исходатайствовал нам отпуск в деревню от тогдашнего главного войск финляндских командира Александра Борисовича Бутурлина.

Как положено было, так и сделано. Зять мой, будучи весьма скороспешного нрава, не долго думал, но наутро ж, взяв меня с собою, поехал к г. Шепелеву.

— Ну что, мои дорогие! — сказал сей почтенный старичок, нас завидя: — Думали ли вы и решились ли на чем-нибудь?

— Думали, ваше высокопревосходительство. Но одно обстоятельство мешает нам теперь и не допускает нас совершенно решиться ни на которое из милостивых ваших предложений.

— А какое? — спросил скоро Шепелев моего зятя.

— После покойного тестя моего, — ответствовал он, — осталась еще жена, а моя теща, а сему ребенку мать; без ее воли и соизволения не отваживаюся я поступить ни на что, ибо не знаю, будет ли ей то угодно или нет. Мы теперь едем к ней со всем оставшимся после покойника экипажем, и не угодно ли будет вашему высокопревосходительству, чтобы я отобрал наперед у тещи моей согласие, и тогда бы уже милостию своею не оставили.

— Хорошо, хорошо, дорогой мой! — сказал на сие г. Шепелев. — И это дело. Вправду, как еще матери будет угодно и куда она лучше захочет. По-

езжай же, мой друг, и отвези к ней сего сироту; пускай он с нею повидается, и от меня скажи ей, что я охотно ей желаю услужить и, буде решится она на том, чтоб определить его в пажи, то уверь ее, что я буду ему вместо отца, и тогда привози ж ты мне его скорее опять назад, так дело тотчас будет закончено.

Зять мой отблагодарил его за милостивое обещание и при том стал просить, не можно ли ему, между тем, сделать нам милость и исходатайствовать нам от господина Бутурлина отпуск, ибо мы отпущены только до Петербурга и то на самое короткое время.

— О, что касается до этого, — сказал г. Шепелев, — то это тотчас будет сделано. Мне Александр Борисович приятель, и я его сегодня же увижу во дворце и попрошу. Напиши, мой дорогой, записку: куда и на сколько вам надобно, и дай мне с собою.

Зять мой хотел было выйтить вон и искать чернил и бумаги, но он его остановил.

— Куда тебе, — говорил он, — далече ходить, вот, сядь здесь: вот чернила, перо и бумага.

Зять мой исполнил тотчас его приказание и, написав в записке, что оба мы желаем отпущены быть на год, ему подал, а он, не посмотрев ее, положил в карман и, сказав нам, чтоб мы наутро у него побывали, поехал во дворец.

В последующий день не преминули мы повеленное исполнить и к нему явиться рано; он встретил нас изъявлением сожаления своего, что не мог всего желаемого нами исполнить.

— Что делать, дорогие мои! — сказал он нам. — Не отпускают никак на год и говорят, что сего сде-

лать по нынешним обстоятельствам никак не можно. А все, что я мог сделать, то Александр Борисович отпускает вас до мая месяца, да и то говорит, что только для меня это делает, а то бы ни для кого не отпустил. Явись к нему, дорогой мой, сегодня же и скажи, что я тебя прислал; я просил, чтоб он не задержал вас.

В недостатке лучшего благодарили мы г. Шепелева и за сию милость и, раскланявшись с ним, поехали прямо искать г. Бутурлина. Он, услыхав, что мы присланы от Дмитрия Андреевича, тотчас вспомнил и, призвав тогда же правителя своей канцелярии, приказал заготовить для нас паспорта и обязать наистрожайшими реверсами*, чтоб мы к сроку при полку явились. Однако сие дело в канцелярии его не так скоро произведено, как было приказано и мы надеялись: зять мой принужден был три дня затем хлопотать, и мы насилу-насилу добились своих паспортов.

Не успели мы паспорта получить в руки, как зять мой закутил и заюрил нашим отъездом, так что мы в тот же день к вечеру выехали из Петербурга; но правду сказать, для дороговизны корма и жить в нем долее без дела было убыточно.

Сим образом кончилось тогдашнее наше в сем столичном городе пребывание. Теперь одному Богу известно, лучше ли или хуже мы сделали, что не приняли ни одного из деланных нам предложений. Из всех оных определение в пажи казалось бы всех прочих для меня было выгоднее: я был бы при дворе,

* От немецкого «revers» — обязательство, поручительство.

мог бы ко всему присмотреться, но, что всего лучше, мог бы продолжать свои науки, ибо известно, что пажей и языкам и всему учат, а сверх всего того, может быть, мог бы скорее и в люди выйтить. Однако и то еще сказать можно, что, может быть, я бы тут, по известной резвости и беспутству пажей, избаловался и сделался негодяем. Самая льстящая более всего надежда, что находиться бы я стал под покровительством г. Шепелева, была обманчива, ибо после услышали мы, что сей почтенный старичок в тот же год еще умер, а вскоре за ним переселился в вечность и г. Рахманов; следовательно, и в гвардейской службе была б мне не находка: я мог бы закостенеть в оной в низких чинах и потерял бы более, нежели нашел. Словом, судьбы Господни неисповедимы, и, может быть, самой судьбе угодно было отвлечь меня от сих обоих служб и вести совсем иным путем и дорогою.

Сим кончу я сие мое письмо и, сказав вам, что я есмь навсегда вам верный друг, остаюсь, и прочая.

ЕЗДА

ПИСЬМО 14-е

Любезный приятель! Теперешнее мое письмо к вам наполню я описанием путешествия нашего в деревню. О, сколько нужды и беспокойства претерпели мы во время сей дороги! Обоз был у нас превеликий и тяжелый, а выехали мы из Петербурга в самую глубокую осень, которая, к несчастью нашему, была в тот год мочливая и грязная. Не успели мы выехать из Петербурга и пуститься по мостовым, как и начало то то, то другое ломаться и портиться и то за тем, то за другим делаться остановка. Никому так все сие досадно не было, как моему зятю; он горел как на огне от желания скорее домой приехать, и потому всякая малейшая остановка приводила его в сердце и в досаду: он бранился, дрался, сердился, кричал и тем пуще приводил всех в замешательство. К вящему несчастью, как он нас вытурил почти в сумерки, то принуждены мы были все тридцать верст до первой станции ехать в самую дождливую и ненастную ночь; не осталось почти ни на ком ни единой нитки сухой, все перемокли и перезябли. Не прежде как в самую полночь приехали мы на станцию. Тут досада еще увеличилась: стояла в сем месте какая-то застава, и пьяный часовой сей

заздорил* о чем-то с людьми нашими, и чуть было с караульным не сцепилась превеликая драка. Тревога ужасная! Не только я, но и сам зять мой насмерть перепугался; он выскочил из коляски, в которой со мной ехал, побежал туда сам и насилу-насилу укротил весь шум, там бывший. Грязь была почти по колени в том селении, где мы тогда были; темно так, что хоть глаз выколи. Приехали мы не в голос** и уже за полночь; надобно было искать квартиры; никто не пускает — везде было занято. Горе на нас превеликое, а на меня всех больше; наконец какими-то судьбами сыскали нам избенку. Мы рады были уже последней лачужке, только бы было в ней тепло: все обеспокоились и перезябли до бесконечности. По счастию, попалась нам избушка теплая; мы вошли в нее, как в рай, хотя была она весьма-весьма плоховесовата*** и походила более на чухонский рей****, нежели на русскую избу. Не успели мы несколько обогреться, как голод принуждал нас промышлять об ужине. Есть нам всем, а особливо мне, ужасно как хотелось. Обед был у нас самый легкий: зять, от ветрености и излишней поспешности своей, не дал мне порядочно и пообедать, а что того хуже, то за сборами и укладыванием всего скоро-наскоро не успели мы никакою провизиею за-

---

* Современное — повздорил.

** Запоздало, некстати; здесь: некстати, не вовремя.

*** Плоховесоватый — очень плохой, никуда не годный.

**** Рей — рига, овин. Чухонский — от чухонец — презрительное название пригородних петербургских финнов.

пастись на дорогу. Спрашиваем у хозяина, нет ли у него чего вареного, и не надеемся ничего найтить, ибо дело было уже за полночь. Но как обрадовались мы, услышав, что у него есть щи и еще целый говяжий язык, вареный в оных и горячий.

— Давай, братец, скорей! — закричали мы.

Этот язык памятен мне был во всю мою жизнь: не то он действительно был хорош, не то нам с голоду так показалось, но я не помню, чтоб я в жизнь мою едал когда так сладко, как в сие время; словом, он показался нам неоцененным, и мы заплатили за него охотно все, чего ни потребовал с нас хозяин.

Ночевав в сем месте, продолжали мы далее свой путь и тащились кое-как по прескверной и дурной дороге. Несколько дней принуждены мы были препроводить в сем скучном путешествии, покуда доехали до Новагорода. В продолжение оного не помню я ничего, чтоб особливого со мной случилось, кроме двух вещей. Первое было то, что я дорожную скуку прогонял, наиболее лакомясь вареным инбирем*. Целая банка была у меня одного, оставшаяся еще от покойного родителя: лекари выписали оную для лечения им его, но ничего не истратили. Я поприбрал ее к себе, и она пригодилась мне тогда очень кстати: я то и дело доставал по кусочку и его понемногу от скуки жустарил**, ибо

*Или имбирь — растение (Amomum ingiber или Lingiber officinale). Особенно популярен его пряный корень. В XYIII и XIX веках пользовались инбирем как приправой: из него готовили варенье, пиво, «водицу инбирную».

**Жустать, жустерить — есть, жевать, announcing уписывать, уплетать, лакомо пережевывать.

был с самого малолетства великий охотник до лакомства. Другое происшествие было то, что я у карманных часов своих, доставшихся мне после родителя, перервал пружину: догадало меня дорогою их заводить; но я не знал, что для сего надобно останавливаться и что скорей всего можно испортить часы, ежели заводить их едучи: пружина того момента может лопнуть, как тогда со мною случилось.

Наконец кое-как и всеми неправдами доехали мы до Новагорода. Зятю моему такое медленное и скучное путешествие до бесконечности надоело: не помогла ему уже и его трубка, которую он изо рта не выпускал; он проклинал и дорогу, и все, но пособить было нечем. Наконец, натура*, власно как для приумножения его досады, произвела в погоде великую перемену: сделался мороз, но не столь сильный, чтоб вся грязь могла от него замерзнуть и поднять тяжелые повозки; выпал маленький снежок, и путь сделался еще того хуже, не можно было ни на санях, ни на колесах ехать. Боже мой, как сие вздурило** моего зятя! Он рвался досадою и только-что всех ругал и бранил; никто не смел к нему приступиться и промолвить одного слова. Наконец, от превеликой досады и от неукротимого желания скорей домой приехать, что же он сделал? Таки бросил совсем обоз, сказав людям:

— Чорт вас побери, как хотите себе поезжайте!

Послал сам в ямскую и, наняв две тройки лоша-

---

*Латинское — природа, силы природы.

**Привело в безумие, заставило сумасбродничать.

дей с легкими на санях кибитками и в одну сев сам, а в другую посадив меня, поскакал наперед в деревню. Мне сего хотя и не хотелось, но я принужден был беспрекословно повиноваться его воле и насилу успел упросить его хотя на несколько часов терпения и распорядить, кому весь обоз ведать и кому и как препроводить оный до его кашинской деревни, которая нашим людям была неизвестна.

По сделании всех нужных распоряжений и снабдив обозных деньгами, пустились мы с ним в путь и не ехали, а летели. Отроду моего еще я так скоро не езжал: меня в кибитке моей метало только из стороны в сторону, и я принужден был лежать, закуся губы, и почти сам себя не помнил. Каких страхов я не набрался в сем путешествии! Не было у нас разбора, хороша ли дорога или дурна, светло ли или темно, опасно ли или неопасно, а только и знай, что скачи и гони, покуда в лошадях есть мочь и сила. Однажды он меня чистехонько было утопил: было сие неподалеку от Новагорода и в первую ночь, как мы поехали. Зять мой, ехавший наперед, прискакал к одной нарочитой величины реке; в летнее время хаживал через нее плот, а тогда еще она только что застыла, и ни одна душа не отваживалась переходить через оную: столь тонок и опасен был еще лед. Ямщик было остановился и пошел стучать по льду и пробовать, но статочное ли дело, чтоб ему дать много затем гузать* !

— Ступай! — кричал только зять из кибитки. — Чего смотреть? Видишь, лед; чего бояться?

---

*Пятиться, робеть, мешкать, медлить, возиться.

Ямщик принужден был повиноваться его воле и, приударив лошадей, пустился через реку. Я обмер тогда, испужался, услышав, как под ним трещал лед, и увидев, что весь он гнулся под ним люлькою и вода из полыньи, которая подле самого того места была, где они ехали, лилась целою рекою на лед, и я истинно не знаю, как они переехали и припряжная лошадь не попала в полынью. Но страх мой еще увеличился, когда, переехав, начали они кричать, чтоб ехали и мы и держались более влево, также чтоб погоняли сильнее лошадей. Боже мой! Какая напади на меня робость и малодушие, но чему и дивиться не можно: я как-то от природы или паче от самого малолетства был весьма труслив к воде, а тогда, видя такую опасность, как можно было не вструситься? Но все мои просьбы и умоления, чтоб не ехать, не помогли: зять мой только и знал, что кричал, чтоб мы ехали, чтоб на меня не смотрели и что мне не оставаться ж за рекою. Что было мне тогда делать? Я видел сам необходимость, принуждающую нас ехать, и принужден был наконец согласиться. Взъезжая на реку, отчаял я совсем свою жизнь и только и знал, что крестился и просил Бога, чтоб нас помиловал. Не успели мы поравняться против полыньи, как вода еще более из ней полилась, и взлилось ее столько на лед, что достала она до нижних наклесток саней*. Увидев сие и услышав в самое то время превеликий треск от льда, не вспомнил я сам себя от страха, ибо не инако считал, что мы погружаемся уже ко дну, и только без памяти кричал:

---

*Наклесток, наклестка — перекладина в санях.

— Ах! ах!

Но судьбе угодно было сохранить мою жизнь: лошади выдернули нас из сей действительной опасности, и мы переехали благополучно.

Колико велик был мой страх и ужас, толико неописана была радость, которую чувствовал я по выезде на берег; я обеими почти руками крестился и благодарил Бога, что перенес он нас через реку сию. Мы в тот же еще день услышали, что некто, ехавший вскоре после нас в том самом месте, проломился и утонул; вот сколь велика была опасность, которая нам тем более еще казалась, что было тогда темно и на берегах не было ни живой души*, которая могла б нам помочь, если б мы проломились.

Вскоре после того доехали мы до другой и гораздо более величайшей реки, а именно Мсты, под селом Бронницею. Сия так же только что стала, и никто еще не отважился по льду ехать. Тут зять мой, каков ни был отважен, но пуститься не отважился, но дождался, покуда жители села Бронниц поклали по льду через всю реку доски и нас с повозками на себе перевезли по оным, но за что и заплатить мы принуждены были им очень дорого. Я и при сем случае набрался невидимо сколько страху.

В продолжение путешествия нашего не помню я ничего особливого, а только памятно мне, что ехали мы очень скоро и почти денно и ночно и что, по счастию нашему, не сделалось никакой оттепели, но

---

*Никого, ни одной души.

морозы продолжались; выпало еще довольное количество снегу, и зима стала совершенная.

Доехав до Твери, своротили мы с большой дороги влево на Кашин и ехали наиболее все лесами и узкими дорогами. Как стали подъезжать уже близко к зятниной деревне и оставалось ехать только верст с тридцать, то нетерпеливость его быть скорее дома была так велика, что он не захотел ночевать с нами, но наняв свежих лошадей и оставив меня одного, пустился в ночь, и я приехал уже на другой день по его приезде.

Сестра встретила меня обливаясь слезами, отчасти о кончине нашего родителя, отчасти от удовольствия, что меня видит. Все ласки, какие только могут быть, изъявляла она мне и старалась угостить меня наивозможнейшим образом. Я не бывал еще до того никогда в их деревне. Они имели тут село, называемое Веденским, и в нем домик довольно изрядный; несколько им же принадлежащих деревень окружали оное. У сестры моей было тогда две маленьких дочери, рожденных ею в одно время, одну звали Надеждою, а другую — Любовью, и она жила тут хорошею экономкою и порядочно.

Я принужден был пожить в деревне у них более недели и до самых тех пор, покуда наш обоз из Новагорода притащился, но дни сии препровождены были мною без скуки. Сестра ласкалась ко мне до бесконечности и употребляла все, что могло служить только к моему утешению: лакомства и закуски не сходили почти со стола, а и обо всем прочем было не позабыто. Словом, я так был доволен, что согласился бы прожить у них и долго.

Но как обоз уже пришел, то надлежало помышлять об отъезде. Я думал, что зять мой поедет со мной и довезет меня до моей матери; однако в том обманулся, но ему не захотелось так скоро расстаться со своим домом.

Сестра моя сколько ни просила и ни умоляла его, чтоб он поехал со мною, однако он никак не согласился, а решился на том, чтоб мне тогда ехать одному с обозом, а сам хотел приехать к нам в деревню после и с сестрою моею и пробыть у нас несколько времени.

Таким образом, принужден я был достальное путешествие предпринять один, и сей случай был первый еще в моей жизни, что я один и в довольно дальнюю дорогу пустился, ибо от зятя до нас было еще верст более 300. Сестра напекла и наготовила мне всего и всего на дорогу и проводила меня со слезами от себя.

Во время путешествия сего не случилось со мною ничего особливого, кроме того, что в первые дни езды моей принужден я был чрезвычайно мучиться от чирьев. Сей болезни подвержен я был с малолетства и довольно часто, но такой беды никогда со мной не бывало, как тогда: легко ли, семьдесят больших и малых чирьев было тогда вдруг на моем теле! Причиною тому была невинным образом сестра моя; ей неведомо как хотелось с дороги меня вымыть и выпарить, но, к несчастью моему, в бане у них печь тогда обвалилась и была не исправлена; итак, вздумалось ей уговорить меня дать себя выпарить в печи. Я долго не соглашался никак на сей особливый род паренья, который был мне неизвестен, но принуж-

ден был наконец ее послушаться и, вместо здоровья, получил вышеупомянутое множество чирьев.

По счастию, прошли они у меня скоро, так что я только дня три ими мучился. Мы приехали в Москву благополучно, и как мне в сем городе жить было долго незачем, то я на другой же день пустился опять в путь и, наконец, приехал в деревню свою благополучно.

Свидание с покойною родительницею моею было трогательно и плачевно. Она хотя и знала уже о кончине моего родителя, но смочила меня всего слезами, как я приехал. Но скоро заступила место печали радость: она не могла на меня довольно насмотреться и изъявляла ко мне все ласки, какие только оказать ей было можно.

Сим образом закончил я мое длинное путешествие; а как с того времени принужден я был паки вести новый род жизни, то кончу сим и теперешнее письмо мое, сказав вам, что я есмь ва,ш и прочая.

В ДЕРЕВНЕ ДВОРЯНИНОВО

ПИСЬМО 15-е

Любезный приятель! Жизнь, которую я по приезде моем в деревню принужден был вести, была совсем отменна от той, какую я вел до того времени. До того жил я все с мужчинами и посреди всегдашнего многолюдства, а тут должен был жить с одними женщинами и наиболее старушками и дни свои препровождать и совершенном почти уединении. Родительница моя была человек уже не молодой; но не столько удручала ее старость, сколько слабое состояние и частые болезненные припадки, от которых не сходила она почти с постели, но большую часть времени своего препровождала на оной.

Сверх того как она была госпожа не светская, а более старинного века, и притом набожная и благочестивая, а притом и достаток наш был так невелик, что не дозволял ей жить никак открытым образом, хотя б она и хотела, то и препровождала она в деревне жизнь совсем почти уединенную: никто почти из лучшеньких соседей наших к ней и она ни к кому не езжала. Но, правду сказать, и околодок наш был тогда так пуст, что никого из хороших и богатых соседей в близости к нам не было. Тогдашние времена были не таковы, как нынешние (1789 г.);

такого великого множества дворянских домов, с повсюду живущими в них хозяевами, как ныне, тогда нигде не было: все дворянство находилось тогда в военной службе, и в деревнях живали одни только престарелые старики, не могущие более нести службу или за болезнями и дряхлостью, по какому-нибудь особливому случаю оставленные, и всех таких было немного. В других домах живали также одни только старушки с женами служащих в войске дворян и вели также уединенную жизнь; итак, и знакомиться было не с кем. В самом нашем селении было хотя три господских дома, но один из них стоял пуст, потому что все хозяева были в службе, а в другом хотя и жил тогда отставной от службы мой дядя, родной брат покойному родителю моему, и сей дом хотя и всех был к нам ближе и только через сад, но я не знаю уже за что и чтоб тому была истинная причина, что родительница моя никак не могла терпеть оного и во весь век свой была с ним не согласна. Правду сказать, что и характеры их были весьма между собою несогласны: родительница моя была женщина хотя добросердечная, но нравная и неуступчивая, а дядя был человек чрезвычайно скупой и завистливый и любил отменно жить в уединении и хозяйничать. Словом, они оба не могли терпеть друг друга, а маленькие и ничего не значащие по соседству распри и мнимые обиды поддерживали их несогласие; а люди и служители, находящие некоторое удовольствие в том, что господа между собою ссорятся, старались всегда с обеих сторон поддувать огонь вражды между обоими домами. Но все сие причиною тому было, что они между собою не зна-

лись и друг к другу не ходили, а при таковых обстоятельствах не можно было и мне ходить к моему дяде. Я один только раз, и то с приезда, получил дозволение к нему сходить, да и то на одну только минуту. Единое знакомство и кой-когда свидание имела мать моя с немногими своими, с отцовской стороны, родственниками, которые все были наибеднейшие дворяне и простейшие старички, жившие от нас верст за 10 и за 15. Кроме сих, составлял весьма важную особу поп наш приходский и ее отец духовный. Сия духовная особа была совсем отменного характера, нежели прочие деревенские попы, и имела великие перед ними преимущества. Отец Иларион (так его называли) был не только умнее сотни других попов, но и вел себя степенно, важно, осанисто и так, что не можно было не иметь к нему почтения. При всем том был превеликий рассказ* и говорил сладко, так что не устанешь, бывало, слушать предлинные его повествования об его приказных делах** и хлопотах, в каких препровождал он целый свой век, по причине вечной и непримиримой ссоры и вражды со своим товарищем, другим попом, которого звали Иваном. Чудное поистине было дело! Целый свой век старались они друг друга погубить, но никто не мог ничего другому сделать, и вся польза от их вечной тяжбы была та, что они оба обеднели, ибо обоих их в консистории только обирали, а без

---

*Вместо «рассказчик».

**Относящийся к приказу — правительственному месту, казенной канцелярии: здесь, видимо, имеется в виду консистория.

того были б они оба богатые люди, ибо приход был хороший.

Сия-то духовная и престарелая уже особа играла в тогдашнее время знаменитую в доме нашем роль. Отчасти остротою своего разума, отчасти хитростию, а более всего пользуясь отменною родительницы моей склонностию к набожному житию, умел отец Иларион так вкрасться в мать мою, что она воздавала ему превеликое почтение, не оставляла его во всех его нуждах, старалась во всем ему угождать, и он был у ней наилучшим советником и наставником во всех случившихся делах. Он хаживал к нам всех прочих чаще, и сколько для служения заутреней и молебнов, которые бывали у нас очень часто, но и так, захаживая из прихода и сиживая иногда по несколько часов, рассказывая свои повести и тяжбы. Словом, он обладал почти нравом и душевным расположением моей матери, и я и поныне не могу еще позабыть одной хитрости, употребленной им во время тогдашнего моего пребывания в доме для поддержания своего владычества. Некогда случилось, что родительница моя не знаю чем, неисполнением ли какой-нибудь его просьбы или иным чем, его порассердила; он, будучи таков же внутренне зол и любомстителен, колико наружно благочестив и набожен, сокрыл тогда досаду свою во глубине своего сердца. Но как несколько времени потом случилось родительнице моей прихворнуть и она вздумала исповедаться, как то нередко делывала, то что ж он сделал? — Он, зная коротко расположение ее нрава и великую привязанность ее ко всему суеверному, вздумал ей при сем случае мстить свою мнимую оби-

ду, но чем же? — так называемым связанием на духу, о важности которого постарался он уже издавна вперить в нее страшные мысли. Мать моя сочла сие неведомо за что, и сие связание нагнало на нее такой страх и ужас, что она считала себя не инакб как погибшею, ежели паки разрешена не будет. Несколько недель препроводила она в превеликом смущении и впала было от того в сущую меланхолию, и тем паче, что поп перестал вовсе к нам ходить и открыто уже изъявил всю свою злобу, скрывавшуюся до того в его сердце. Нечего было делать, принуждены были засылать к попу и ходить за ним и уговаривать; он спесивится и гордится, и насилу его как-то уговорили и довели до того, что он мать мою разрешил. Вот каковы были тогда времена и обстоятельствы!

Но я удалился уже от порядка моего повествования. Теперь, возвращаясь, скажу, что мать моя приездом моим чрезвычайно была обрадована, и как она меня уже давно не видала и я между тем несколько поболее вырос, а при том, понаучившись кой-чему, сделался пред прежним и поумнее, то не могла она на меня довольно насмотреться и мною налюбоваться. Желала б она охотно узнать, чему и чему я выучился в Петербурге; но как она ни об иностранных языках, ни о науках никакого сведения на имела, то не могла в том себя удовольствовать. Недостаток сей я старался заменить показанием искусства своего в рисованье: на другой же день приезда своего, разобравшись с своими красками, нарисовал я ей в целом листе Бову-королевича или древнего рыцаря на коне, в полном

его вооружении и воинских доспехах. Рисунок сей хотя был весьма и весьма посредственен или, лучше сказать, ни к чему не годился, потому что для вящего оказания своего искусства делал его от руки, но для старушки моей был он в превеличайшую диковинку: всем-то был он показываем, всем-то расхваливан, всякое мое слово замечаемо, подтверждаемо, и я от всех осыпаем был похвалами и ласками.

Но не одним сим угодил я моей родительнице: но чтоб доказать, что я не люблю праздности и не хочу забыть того, что я учил, разобрал я все мои французские и немецкие учебные книги и по несколько часов в день стал препровождать в читании и выписывании кой-чего из оных для твержения того, что я выучил. Сие было для матери моей приятнее, она то и дело сама твердила мне, чтоб я старался выученного не позабыть, и была прилежностию моею весьма довольна. Но бедное было сие учение самого себя, а особливо в таких летах, в каких был я, и притом при неимении никаких исторических иностранных книг, которые б я читать мог и каковое б чтение могло мне всего более пользовать.

Сим образом, разделяя время свое между читанием, писанием и рисованием, а временем и гулянием, начал я жить при моей родительнице. Все сии учебные и увеселительные работы производил я при глазах моей матери, на большом и предлинном углу той комнаты, где мать моя жила и почивала. Что касается до моей спальни, то была она в маленьком чуланчике, отгороженном досками от комнатки, бывшей подле спальни матери моей; в сих обеих

комнатах состояли все наши жилые покои. Происходило сие не от того, что хоромы наши были маленькие; они были превеликие, но обыкновение тогдашних времен приносило то с собою, что состояли они по большей части в пустых и нежилых покоях. Например, было в них двое превеликих сеней, из которых передние так были велики, что я через несколько лет после того сделал из них две прекрасных комнаты; а и задние сени уместили б в себе также покойца два, но, вместо того, были передние совсем пусты, а в задних был только один ход наверх, занимающий место целой комнаты. Из сеней сих был вход в переднюю, или, по-нынешнему, залу. Пространная комната сия была от начала построения хором холодная, и все украшение ее состояло в образах простых и в кивотах*, коими весь передний угол и целая стена была наполнена, ибо обыкновения, чтобы комнаты подштукатуривать и обоями обивать, не было тогда и в завете. Мебели же все состояли в лавках кругом стен и в длинном столе, поставленном в переднем углу и ковром покрытом. Как окошки были небольшие, а стены и потолок от долговременности даже потемнел и сделался кофейного цвета, а дубовый стычной пол** еще того темнее, то царствовала в сей комнате сущая темнота, и в ней никто и никогда не живал, а наполнялась она единожды в год народом, то есть в святую неделю, когда с образами приходили и в ней молебен

* Киот — поставец, шкаф для икон.

** Стычной — наставной, от стыкать — соединять концами. Очевидно, нечто напоминающее паркет.

служивали. За нею следовала другая, угольная и самая та комната, которая была у матери моей и гостиною, и столовою, и спальною, и жилою. Три маленьких окна с одной и одно двойное с другой стороны впускали в нее свет, и превеликая, складенная из узорчатых разноцветных кафлей печь снабжала теплом оную. Печь сия расположена была особым и таким образом, как в людях не водится: не скоро можно было найтить и добраться, откуда она топилась; надлежало лезть наперед за печь, а там поворачивать направо и искать устья, ибо оно сделано было от стены и совсем в темноте. Тапливали ее обыкновенно дворовые бабы поочередно и таскивали всякий день превеликие ноши хвороста и, с ним залезши к устью, прятывались и завешивались там, власно как в конуре. Со всем тем печь сия была тепла и неугарна, да и самая комната довольно светла и весела.

Что касается до украшения сей важнейшей в доме комнаты, то оные состояли также только в одних образах, расставленных в переднем углу. Внизу сделан был маленький угольничек, и тут перед киотом, с крестом, с мощами, горела неугасимая лампада, а вверху сделана была предлинная полка, а на ней наставлен целый ряд образов разных. Стены в комнате сей были также ничем не обиты, но стычной дубовый пол от частого мытья несколько побелее. Что касается до потолка, то он был неровным, но через доску одна ниже, а другая выше, и от долговременности весьма изрядно закоптевшим.

Что принадлежит до мебелей, то нынешних соф, канапе, кресел, комодов, ломберных и других раз-

номанерных столиков и прочего тому подобного не было тогда еще в обыкновении: гладенькие и чистенькие лавочки вокруг стен и много-много полдюжинки старинных стульцев должны были ответствовать, вместо всех кресел и канапе, а длинный дубовый стол и какой-нибудь маленький складной вместо всех столиков. Итак, в переднем углу стоял вышеупомянутый длинный стол, в другом была матери моей кровать, а в третьем — прежде упоминаемая печь и подле ней широкая скамья, а в четвертом стоял на лавках трех денег не стоящий и так почерневший шкафчик, что надлежало разве скоблить ножом, чтоб узнать, что он был некогда крашен красками. Вот изображение наилучшей и первейшей комнаты.

Вправо и сбоку подле ней находился другой теплый покой или прежде упоминаемая комнатка. Она составляла вкупе и девичью, и лакейскую, и детскую и была самая та, в которой я родился. Незадолго до моего приезда перегорожена она была надвое досками, и сия отгородка была тогда моею спальнею и комнатою.

Наконец, кроме сих трех комнат было еще два покойца холодных, чрез сени и в сторону к саду, но оба они были нежилые, а служили кладовыми. Один занят был мелочными съестными припасами, а другой — сундуками и был темный.

Вот все расположение старинных хором наших, в которых живали наши предки и в коих я родился, женился и жил сам потом несколько лет, покуда построил себе новые и лучшие. Для любопытства потомков моих не за излишнее почел я изобразить

оные как спереди, так и сзади, в прошпективическом виде* и вкупе с бывшею подле них черною горницею, которая служила тогда и кухнею, и приспешною**, и людскою.

Каковы были хоромы, таково было и место, на котором они стояли. Неизвестно уже мне, кто из предков моих выбрал впервые оное, только то знаю, что оно было худшее из всей усадьбы, а наилучшие места были заняты огородами и скотными дворами. Но сему и дивиться не можно: в старину было у нас и обыкновение такое, чтоб дома нарочно прятать и становить их в таких местах, чтоб из них никуда в даль было не видно, а все зрение простиралось на одни только житни, конюшни, скотные дворы и сараи. А точно в такое место поставлены были и наши хоромы.

Но вот я, опять заговорившись о побочном, удалился от продолжения истории моей. Теперь, возвращаясь к оной, скажу, что несколько дней спустя после моего приезда наступил наш храмовый праздник святого Николая. Мать моя имела обыкновение оный колико можно лучше праздновать. Она пригласила к себе к оному всех своих родных и знакомых, каких только она имела. Они приехали все к ней, и я имел тут случай всех узнать и со всеми ими познакомиться.

Но, о какое это прекрасное общество и какая ми-

---

* В виде плана.

** Приспех, приспешка — стряпня, варка; приспешник — собственно, помощник, повар, пекарь, вообще слуга, лакей.

лая и любезная компания! Первую особу составлял один высокорослый старичок, по имени Яков Васильевич Писарев. Он был матери моей двоюродный брат и человек недальней бойкости; он служил в войске низким чином, и поелику он не умел и грамоте, то и отставлен таковым же. Жил он от нас верст десять, имел самый малый достаток, и мать моя, сколько по родству, столько и за то любила, что он был веселого и шутливого нрава и в компании не скучен, а впрочем, ничего дальнего от него требовать было не можно. Жена его была старушка самая шлюшечка* и человек препростой, но дочь имел он преизрядную и предорогую** девицу; ее звали Агафьею Яковлевною, и она была совершенная уже невеста. Мать моя, по любви своей к ним и по бедности их, взяла ее жить к себе, и она у нас жила, как я приехал, и делала нам компанию. Но сыном, которого он имел, был он не таков счастлив: была самая неугомонная, ветреная и такая голова, что нередко он его на цепь приковывал.

Другую особу составлял также весьма небогатый дворянин и матери моей родственник же, но не столь близкий, по имени Сила Борисьевич Бакеев. Он жил верст 15 от нас, и в самой той деревне, где мать моя родилась и воспитана, ибо она была фамилии Бакеевых; он служил также в гвардии и отставлен офицерским чином. Мать моя его не только любила,

---

*Шлюха, шлюшка — женщина-неряха, одетая кое-как, небрежно.

**Выдающуюся и весьма уважаемую.

но и почитала, потому что он был всех прочих умнее и притом знаток по гражданским делам и мог в нужных случаях подавать советы. Словом, он во всем тогдашнем нашем обществе почитался философом и наиразумнейшим человеком, хотя, в самом деле, был он весьма и весьма посредственного знания. Жена его была старушка смирненькая и простенькая.

Третью особу составлял также весьма бедный дворянин по имени Максим Иванович Картин. Мать моя в особливости была дружна с его женой, которая была родная сестра выше упомянутому г. Бакееву, и называли ее Федосьею Борисовною. Она и достойна была ее любви, и мать мою сама любила. Что касается до ее мужа, то был он наипростейший старичок и сущая курочка. Он служил в гвардии солдатом и отставлен капралом и помнил еще самую старинную службу. Мать моя любила его за простосердечие и тихий нрав и была тем довольна, что они к ней часто приезжали и у ней по несколько дней от скуки гащивали.

В сих-то трех семействах состояли тогда почти все наши гости. Старинные, странные и простые их одеяния и уборы, в каких они к нам приехали, показались мне сначала весьма странны и удивительны; я, привыкнувши быть посреди светских людей, не мог довольно надивиться долгополым их кафтанам, ужасной величины обшлагам и всему прочему. Они показались мне сущими почти шутами; однако, как увидел после, что они были не без разума, а что одна бедность тому причиною, что они так были одеты, а паче всего, что они все были по мне и я во многих

вещах был всех их знающее и умнее, и сверх того, как они все ко мне ласкались и осыпали меня похвалами, то и я всех их полюбил и всегда был очень рад, когда они к нам приезжали.

Тогдашний праздник праздновал был точно так, как праздновали праздники в деревнях наши старики и предки. За обедами и за ужинами гуляли чарочки, рюмки и стаканы, а нередко гуляли они по рукам и в прочее время; старички наши вставали оттого из-за стола подгулявши, и они праздновали у нас дня с три или более. Мать моя любила гостей угащивать, и все гости во все сие время были веселы и довольны. По утрам у нас обыкновенно бывали праздничные завтраки, там обеды и за ними потчивание; там закуски и заедки; после того чай, а там ужины. Спали все на земле повалкою, а поутру проснувшись, принимались опять за еду и прочее тому подобное.

Недели две спустя по отъезде сих гостей, и к самому Рождеству, приехали к нам другие и гораздо приятнейшие гости, а именно зять мой, г. Травин, с моею сестрою. Они сдержали свое обещание, и мать моя была ими чрезвычайно рада. Как зять мой никогда еще в доме у нас не бывал, то заботилась мать моя, как бы его лучше угостить и всем удовольствовать, и тем паче, что известно ей было, что он был человек нравный и горячий. Все, что только можно было выдумать, употреблено было к его угощению, и сколько казалось, то был он всеми угощениями ее и ласками доволен.

Как наступило Рождество и Святки, то не преминула мать моя созвать опять всех своих родных

и знакомых. Число их приумножила еще одна милая, разумная и почтенная старушка, по имени Матрена Ивановна Аникеева, родная сестра дяди моего, Тараса Ивановича Арсеньева, которому поручен я был в Петербурге. Разумную и веселую старушку сию мы чрезвычайно любили, но она того и стоила. Она жила от нас верст сорок и приехала сама, как скоро услышала, что к нам приехал зять наш. Итак, компания и общество было у нас превеликое и приятное. Зятю моему оказывали они все отменное почтение, и как он любил повеселиться, то заводимы были всякие святочные игры и деревенские увеселения, и он гостями нашими был доволен.

Они для удовольствия зятя моего прогостили у нас несколько дней сряду. В течение оных мать моя не однажды предпринимала как с зятем моим, так и со всеми ими общий совет, что бы лучше и выгоднее со мною делать и начинать; отпущен я был, как упомянуто, до мая месяца, следовательно, если ничего не сделать, то по первому летнему пути надобно будет меня отправлять к полку. Но как можно было мне, столь малолетнему, нести службу? Зять мой рассказывал всем деланные нам предложения, но ни матери моей и никому из всех не были они угодны; все говорили, что хорошо бы, если б только я не таков мал был. Что ж касается до матери моей, то ей и слышать не хотелось, чтоб отлучить тогда меня от себя, а она желала, чтоб мне получить каким-нибудь образом отсрочку и, когда не надолго, так по крайней мере на год, дабы я сколько-нибудь возмужать мог.

Долго о сем говорено было и советовано, но наконец всех мнения согласны были на том, чтоб нам заблаговременно послать в Петербург человека с челобитною в самую Военную коллегию и, прописав в ней мое малолетство и начатое учение наукам, просить у ней мне для окончания наук на своем коште* увольнения до совершенного возраста. Госпожа Аникеева советовала нам поручить старание о том ее брату, о котором сказывала, что он поехал недавно опять в Петербург, и уверила, что он помочь нам в том может. Мы и сами на него более всех надеялись, ибо уверены были о его к нам благорасположении и любви.

Решившись на сем и назначив для исправления сей важной комиссии дядьку моего Артамона как умнейшего из всех наших служителей, также проводив наших гостей, не стал и сам зять мой долее у нас медлить, но распрощавшись с нами, поехал обратно домой. Мать моя провожала их, а особливо сестру мою, со слезами, ровно как предчувствуя, что она ее в последний раз видит, ибо с того времени не удалось уже ни зятю, ни сестре быть у нас в доме при жизни нашей родительницы.

Сим кончился тогдашний 1750 год, который, для множества случившихся в оный перемен, был довольно достопамятен в моей истории, а всходствие сего окончу и я теперешнее мое письмо, сказав вам, что я есмь, и прочая.

---

*На своем иждивении.

УВОЛЬНЕНИЕ ОТ СЛУЖБЫ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ НАУК

ПИСЬМО 16-е

Любезный приятель! Проводив зятя моего и отпраздновав святки, начали мы спешить отправлением комиссионера нашего в Петербург. По собрании его в сей дальний путь, снабдили мы его челобитною и кой к кому нужными письмами; в особливости же просили мы о неоставлении его и вспоможении нам дядю моего, господина Арсеньева. Ему же поручили возможнейшим образом об отпуске меня стараться, а буде дело не пойдет на лад, то спешил бы он к нам возвратиться, дабы нам заблаговременно о том знать и в полк ехать собраться успеть было можно.

По отъезде его начали мы по-прежнему препровождать в уединении своем тихую и спокойную жизнь. Я продолжал свои прежние упражнения, и как тогда было зимнее и холодное время и мне не можно было никуда ходить, бегать и резвиться, то тем охотнее сидел я на одном месте и что-нибудь делал. Наизнатнейшую часть тогдашних моих упражнений составляло рисование, яко работа гораздо приятнейшая и веселейшая, нежели скучное читание учебных книг и выписывание и твержение. Я, как теперь, помню, нарисовал целый фрунт стоящих в

ружье солдат и пред ними офицера с распущенным знаменем и барабанщика с барабаном; и как все сии фигуры нарочито были велики, то, вырезав всех их, прилепил фрунтом на стене подле самого того места, где сидел я. Боже мой, какая это была диковинка для моей старушки! Она расхвалила их до бесконечности. Другое дело, в котором я тогда чаще упражнялся, состояло в учении географии. Атлас с ландкартами был у меня изрядный, а между книгами, оставшимися после родителя моего, нашел я изрядную и полную немецкую географию, по которой можно было мне продолжать сию науку. Я и действительно много из ней в сие время научился; я приискивал на ландкартах описанные города, выписывал их в особливые тетрадки, переводя с немецкого все, что об них упоминалось в географии. Относительно же до языков, то твердил я только грамматики и выписывал из них слова.

Между сими упражнениями наступила масленица. Мать моя приказала для увеселения меня сделать на дворе гору, на которой можно б было мне кататься. Для меня не противна была сия забава, и я воспользовался довольно сим дозволением. Вышеупомянутые старички и старушки опять нас в сию неделю посетили, и я очень был рад их приезду.

С наступлением великого поста начались у нас богомолия и ежедневная служба. Я принужден был наблюдать всю строгость поста и потом исповедоваться и приобщаться святых тайн в нашей приходской церкви.

Около половины сего поста начали мы ожидать и возвращения слуги нашего Артамона из Петербур-

га. По счету нашему казалось, что было ему довольно времени доехать туда, там пробыть несколько времени и надлежало уже назад возвратиться; однако он не ехал, и мы не имели об нем ни слуха, ни духа, ни послушания. Тогдашние времена были не таковы, как нынешние, и почты были весьма неисправны; не можно было через них ничего писать, да и получать нам в деревне письма было неспособно. Чем ближе стала приближаться весна и половодь, тем увеличивалось наше ожидание; но как он все еще не ехал, то начинало сие мать мою уже несколько и озабочивать и обеспокоивать. Она приказала ему как можно стараться возвратиться тогдашним зимним путем, и потому и ожидала его при окончании оного. Уже настала пятая и шестая неделя, уже начал снег таять и сходить, уже разлились реки и сделалась совершенная половодь, но Артамона нашего все еще не было. Мать моя сколь часто ни высылала смотреть, не едет ли ее Артамон, но все спрашивания и высылания ее были тщетны; его не было и в завете, и мы все только и знали, что твердили:

— Господи помилуй! Что это такое, что он не едет? Не сделалось ли чего с ним? — И так далее.

Наконец сошла уже и полая вода, и весна начинала открываться и украшать землю своею зеленью, приближалась уже святая неделя, но об Артамоне нашем не было ни слуху, ни духу, ни послушания. Мать мою сие озабочивало уже до чрезвычайности, она во все сие время горела, как на огне, и была на каторге. По свойственному всем старушкам малодушию насчитала она ему уже тысячу смертей; и убит-то он на дороге разбойниками, и утоп-то в ре-

ках, и занемог-то, и лежит болен, и умер, и так далее. Не однажды было то, что проливала о нем и слезы, а беспокойство и сомнение были так велики, что она почти с ума сходила. Все красноречие отца Илариона нимало ее не подкрепляло: она в превеликой горести и печали своей не внимала никаким представлениям и была совершенно неутешною.

Но правду сказать, и было о чем ей тужить и горевать. Со вскрытием весны приближался и срок мой, и был так уже недалек, что надлежало меня в скорости и отправлять, а у нас не сделано было к тому никаких приуготовлений; к тому ж и не было еще слуги, с которым бы мне ехать, ибо у нас на одного его была и надежда, и Богу известно, что с ним сделалось.

Наконец наступила уже и страстная суббота. Поелику приходская церковь была от нас не близко, версты две и притом за рекою, то издревле было у наших предков обыкновение езжать к церкви накануне еще праздника и ночь сию ночевать там у попов, дабы избежать беспокойства ехать ночью и поспевать к заутрени. Мы поехали туда не с радостными сердцами, и самый праздник терял все свои для нас прелестности. Мы взяли квартиру себе в доме отца Илариона, и мать моя не преминула еще и в сей вечер поплакать и погоревать.

В таковом же беспокойствии душевном были мы и во все продолжение служения на праздник заутрени. По окончании оной возвратились мы на свою квартиру и легли уснуть еще несколько до обедни; но не успели мы заснуть, как прибежали к нам нас будить и сообщать нам радостное известие, что Ар-

тамон наш приехал. Боже мой, какая началась у нас тогда радость и какие благодарения Богу! Я отроду моего не помню, чтоб когда-нибудь просыпался я с такою радостью и восхищением сердечным, как в тогдашнее утро. Я бежал к матери моей, а она меня искала и от радости плакала.

— Ну, слава Богу! — повторяла она сто раз и не могла порядочно ни о чем приезжего расспрашивать.

Наша радость и удовольствия увеличились еще больше, когда услышали от него, что езда его была не по-пустому, что комиссию, порученную ему, исправил он с вожделеннейшим успехом, что по долговременным хлопотам и многим трудам удалось ему наконец Военную коллегию упросить, чтоб меня для окончания наук отпустили до шестнадцатилетнего возраста и что, наконец, привез он с собою и указ, данный мне о том.

Таковым неожиданным успехом мать моя довольно заплачена была за все свои горести и печали. Она рада была до бесконечности, что я на столько времени был уволен, и не знала, как и чем возблагодарить слугу за его труды и старание.

Сие происшествие сделало нам всю святую неделю вдвое радостнейшею и веселейшею. Вышеупомянутые старички, родственники наши, не преминули к родительнице моей съехаться и разделить с нею ее радость. Что касается до меня, то была неделя сия в особливости мне весела. Катание красных яиц и качание на качелях, а притом и возможность ходить уже всюду и предпринимать с ребятишками разные игры и резвости, меня до крайности утешало и веселило. Петербургский мой дядя г. Арсеньев, помогший

много нам в сем деле, хотя и писал к матери моей, что как я отпущен для окончания наук, то не держала б она меня при себе, но чем скорее, тем лучше присылала б к нему, и что он место для продолжения наук мне сыщет. Однако мать моя никак не хотела меня прежде от себя отпустить, как на предбудущую зиму, и как я к деревенской жизни уже привык, то намерение ее было мне в особливости приятно.

Не успели первые чувствования радости пройтить и мы несколько недель препроводить в совершенном спокойствии и тишине, как новая буря встревожила покой всего нашего дома и погрузила опять мать мою в новую бездну горестей и печалей.

Некто из соседей наших воздвиг оную на нас и подал повод матери моей пролить тысячи потоков слез по сему делу. Он подал на нас исковую челобитную и отыскивал одну беглую свою бабу, живущую у нас в Шадской нашей и отдаленнейшей из всех деревне и бывшую уже многие годы замужем за одним мужиком нашим. Обстоятельства сего мать моя не знала до самого того времени, как подана сия челобитная, ибо, как произошло сие в такое время, когда родители мои находились при полку, и мужик женился сам собою и за многие уже годы, в деревне же сей родителям моим никогда бывать не случалось, то и не знали они о том ничего и не ведали. Но соседу нашему было все сие известно, но покуда родитель мой был жив, то не отваживался он тогда просить; но как он скончался, мать же моя была слаба, а я мал и безгласен, то и задумал он сими обстоятельствами воспользоваться и напасть на нас наисуровейшим образом.

Матери моей тем несноснее было сие дело, что человек сей был родителем моим до бесконечности одолжен. Рода был он подьяческого и каким-то образом попал в такую беду, что надлежало его кнутом высечь и сослать на каторгу, что и учинено б было тогда, если б родителю моему не удалось каким-то образом от того его избавить. Итак, не смея при жизни его, от зазирания совести, ничего предпринимать, вздумал тогда, в благодарность за таковое благодеяние, напасть на оставшуюся его беззащитную вдову и на осиротевшего и малолетнего сына и стараться бессовестнейшим образом разорить их до основания.

Неблагодарного и гнусного человека сего звали Васильем Васильевичем Кирьяковым; он имел тогда в самой близости от нас небольшую деревеньку, купленную им каким-то образом, и участие в самых наших дачах. Будучи весь свой почти век подьячим, знал он все приказные дела из основания и, стакавшись с воеводою нашего города, подал на нас самую ябедническую исковую челобитную и искал на нас превеликого иска.

Не могу вспомнить с спокойным духом того случая, как приехала к нам из города посылка с призывом матери моей к ответу в город; неожидаемость и нечаянность такового происшествия поразила ее власно как громовым ударом. Она не знала, что делать и что начать при деле, толико ей необыкновенном, и погрузилась не только в превеликую горесть, но и самое малодушие.

Находясь в наивеличайшем нестроении, призвала она нашего Артамона и требовала совета. Но сей,

хотя и разумел довольно грамоту, но, не упражняясь никогда в таких делах сего рода, не знал и сам, что присоветовать. Не к кому было тогда иному взять прибежище, как к отцу Илариону. Тотчас отправлен был к нему нарочный, и он пришед подкрепил сколько-нибудь мать мою, сказав, что посылка сия не составляет еще дальней важности, что надобно дождаться второй и третьей, а между тем послать в город человека и стараться списать челобитную, чтоб узнать все дело обстоятельнее. Как он советовал, так было и сделано: Артамон наш на другой же день поехал в Каширу и чрез несколько дней привез к нам челобитную.

Тогда созван был матерью моею общественный совет: отец Иларион, вышеупомянутый родственник ее, Сила Борисович Бакеев, яко человек, знающий довольно законы, и Артамон, произведенный тогда в стряпчие и поверенные, были членами сего совета. Все они читали и рассматривали челобитную и рассуждали об ней очень долго. Наконец, все единогласно сказали, что дело наше дурно, что челобитчик имеет с своей стороны требование справедливейшее, и что нам ничем себя оправдать и просьбу его оспорить не можно, и что ежели допустить до суда, то мы верно потеряем и принуждены будем заплатить ему весь его страшный иск.

Таковое изречение сего совета не служило матери моей к отраде, но повергло ее еще в вящую печаль. Наконец, при вопрошении, что ж бы при таковых обстоятельствах делать и чем себе сколько-нибудь помочь, все единогласно говорили, что другого не остается, как стараться дело сие сколько-нибудь про-

длить, а между тем испытать, не можно ли соперника нашего преклонить к полюбовному в сем деле с нами примирению, и не удастся ли убедить его взять сколько-нибудь с нас меньше, нежели сколько он требовал.

Между тем, как сие тут происходило, соперник наш работал в Кашире и старался кутить и юрить сим делом. Не только воевода, но и все подьячие были ему друзья и братья; всех он закупил и задобрил, и все держали его сторону. Он тотчас выпросил другую за нами, а вскоре потом и третью посылку.

Таковая поспешность и недавание нам покоя привели мать мою еще в пущую расстройку. Надлежало что-нибудь делать, и буде мириться, то к сопернику кого-нибудь засылать; но она не знала, к кому в сем случае и прибежище взять. О, сколько слез пролито было по сему делу и сколько вздохов испущено на небо! Наконец присоветовали ей самой ехать в Каширу и просить воеводу, чтоб взять сколько-нибудь терпение. Что было делать? Она хотя слаба была здоровьем, но, несмотря на всю слабость, принуждена была туда со мной ехать. Мы заезжали по дороге к советнику нашему г. Бакееву.

Тут начались опять советы, но, к несчастию, дело было так дурно, что все законы были против нас и ничем присоветовать было не можно. По крайней мере упросили мы его, чтоб он поехал с нами. Воевода, державший почти въявь сторону нашего соперника, принял нас весьма гордо и несговорчиво. матери моей было сие несносно, однако она принуждена была повиноваться времени. Некоторые подарки, отосланные к сему градоначальнику, сделали его несколько

благосклоннейшим; он обещал не только продлить дело, что ему всего легче учинить было можно, но и постараться преклонить соперника нашего к миру. Но сие не так могло скоро сделаться, как мы думали и уповали; мы принуждены были прожить в Кашире более недели. В сие время, к превеликому огорчению нашему, узнали мы, что соперник наш еще кичился и гордился и об мире слышать не хотел или, по крайней мере, хотел, чтоб мы заплатили ему огромную сумму. Подозревали, что сам воевода вместе с ним шильничал и его наущал, дабы ему самому тем более от нас и от него поживиться было можно. Сказали матери моей, что есть некто из живущих неподалеку от Каширы дворян, по имени Иван Алексеевич Ильин, человек сопернику нашему знакомый, но весьма добрый и хороший, и советовали съездить к нему и упросить его, чтоб вступил в посредники и миротворители. Дворянин сей был нам совсем незнаком; но что делать? Мать моя, утесняема будучи крайностью, принуждена была к нему со мною ехать. Г. Ильин принял нас нарочито холодно; однако, по умолению матери моей, обещался вступить в посредство и уговаривать нашего соперника. Однако, как все сие не могло скоро совершиться, то мы принуждены были, ничего не сделав, возвратиться в деревню, а оставили только стараться и хлопотать по сему делу нашего поверенного.

Горестное сие для нас дело продлилось большую половину лета и почти по самую осень. Сколько это было взад и вперед посылок и переездов и сколько пролито слез! Но наконец, кончилось действительно миротворением. Соперника нашего кое-как уговори-

ли помириться, и мы принуждены были согласиться отдать ему не только его беглую женку, но вкупе с ее мужем и со всеми детьми и двором, в котором она жила, и перевесть его на своем коште в его деревню, а сверх того заплатить ему еще 800 рублей деньгами. Убыток сей был для нас хотя весьма чувствителен, а особливо потому, что толикого числа денег мать моя в наличности не имела, но принуждена была для выручения оных распродать и последние пожитки и вещи отца моего, а некоторое количество еще и призанять. Но мать моя, сколько ей все сие несносно было, рада была по крайней мере тому, что от врага своего избавилась. Для заключения сего мира принуждена была еще раз со мною в Каширу ездить и еще раз мучиться. Но как бы то ни было, но дело сие наконец кончено, и мы, удовольствовав своего злодея, возвратились в деревню и начали жить по-прежнему в тишине и спокойствии.

Теперь, не ходя далее, надобно мне заметить, что сопернику нашему не пошли впрок наши деньги и люди. На него на самого случились вскоре потом какие-то напасти, а что всего паче, то судьба поразила его тяжкою и долговременною болезнью, и он в достальные годы своей жизни влачил дни свои в жалком состоянии. Наконец, не имея детей мужского пола, лишился он и своей деревнишки; она перешла из рук в руки и досталась ныне г. Агаркову, а его имя и память погибли совсем с шумом из пределов наших.

Между тем, как все сие происходило, продолжал я прежние мои упражнения, однако с наступлением лета прилежность моя была далеко уж не такова,

как прежде. Частые выхождения в сады, на двор, в рощи и на пруды отвлекли меня от учения, а сообщество с одними только ребятишками поразвратило гораздо прежнее мое постоянство и благонравие. Они приучили меня ко всяким играм, к беганью и резвостям, из которых были иные нимало с прежним моим характером несообразные и подвергающие меня иногда самым опасностям. Все эти беспутные упражнения скоро я так полюбил, что за ними мало-помалу начал отставать от своих прежних дел и заниматься ими большую часть времени.

Сие не могло укрыться от глаз моей родительницы; она любила меня хотя чрезвычайно и охотно дозволяла мне иногда погулять и порезвиться, однако неумеренность в том и теряние на то слишком много времени было ей весьма неприятно и подавало нередко повод ей к неудовольствиям и досадам на меня. Скоро исчезли уже все прежние мне похвалы и всем моим делам одобрения, но она начала меня уже и побранивать и неволею заставлять сидеть и учиться. Нередко стало случаться, что она, поставив меня в ногах у своей кровати, предпринимала меня всячески тазать* и продолжала иногда тазание таковое с целый час времени. Все сие, а особливо тазание ее, были мне весьма неприятны; я хотел бы лучше высечен быть розгами, нежели выслушивать таковые ее предики** и нравоучения. Но что было делать? Я принужден был повиноваться ее воле и переносить

* Журить, бранить, бить, таскать за виски.

** Наставления, выговоры.

гнев ее терпеливо, ибо признаться надобно, что сколько я ее любил, столько ж и боялся. Человек была она очень нравный, могла легко подвергнута быть на гнев, и в сем случае должны были все молчать и повиноваться ее воле.

Со всем тем все ее тазания не великое производили во мне действие. Привыкнувши однажды к резвостям и получивши в них вкус, не так легко мог я отстать от оных; я продолжал оные, но старался более уже утаивать и скрывать от матери мои шалости. Но иногда их скрыть было не можно, как, например, однажды, как не лежала она на своей постели, а была в моей комнате и молилась Богу, играл и резвился я на ее постели с любимою ее кошкою. Тут пришло мне в голову спрятать ее под одеяло, чтоб повеселиться ее под ним ворчанием, а потом предприннял я еще того глупейшее дело: я, схватя претолстую палку и хотя ее тем испужать, ударил по одеялу. Но несчастие мое хотело, чтоб я ударом сим ошибся: вместо того, чтоб по намерению моему ударить подле самой ей и в пустое место, попади я прямо в нее и по самой голове оной. Бедная кошка подняла преужасный крик и через минуту от того околела. Господи помилуй, какая поднялась тогда на меня гроза и буря от моей матери! Мне кошки сей было хотя столько ж жаль, сколько ей, ибо любил и я ее не меньше, как и она, и дело сие произошло хотя от нечаянности и я сам по кошке плакал, но статочное ли дело, чтоб принять что-нибудь в уважение? Я принужден был с битый час вытерпливать ее брани и тазания и пребывать дни с три под ее гневом.

В другой раз довел я резвостьми своими ее до того, что чуть было она меня совсем не высекла, но правду сказать, и было за что. Находился у нас в доме взятый на воспитание один солдатский сын, пребеглая и пребойкая особа. Он был наилучший мой в резвостях сотоварищ и всему злу заводчик и производитель. Вышедши однажды за вороты на улицу, увидел я сего вертопрашного малого, стоящего подле пруда, на самом краю возвышенного и крутого берега и ко мне спиною, и тогда приди ко мне что-то в голову подкраться к нему и столкнуть его с берега в воду. Хотелось мне его только обмочить и посмеяться, ибо ведал, что он, по умению своему плавать, утонуть никак не мог. Но что же воспоследовало? Не успел я к нему подкрасться и, собрав все силы, толкнуть, как проклятый он, по проворству своему, отвернулся, а я с размаху полетел с берега сам в воду. Не умея совсем плавать, и по глубине сего места в пруде, чистехонько мог бы я тогда утонуть, ибо я весь окунулся и поплыла только моя шляпа, если б сама судьба не захотела и на сей раз спасти жизнь мою, и власно как нарочно сделала то, что на самый тот раз случилось в самой близости от того места несколько баб, моющих на примостках платье; они, увидев сие, бросились и вытащили меня из воды.

Не успел я от страха и испуга, учиненного сим падением, опамятоваться и приттить в себя, как напало на меня превеликое горе. Вода текла с меня ручьями, не осталось ни одной сухой нитки на всем моем платье. Что было делать? Как иттить в таком наряде домой и показаться матери? Чего и чего не должен

я ожидать за сие от ее строптивого нрава? Наконец присоветовали мне бабы послать скорее за другим и сухим платьем, и переодеться, и через самое то скрыть происшествие сие от моей родительницы. Совет был благ, я его тотчас исполнил; но мне не удалось воспользоваться его плодами: мать моя прежде о том сведала, нежели я думал и ожидал. Бездельница одна маленькая девчонка, случившаяся тогда на улице, как я упал в воду, увидев сие, благим матом* побежала в хоромы и рассказала все дело находящимся там женщинам и старушкам. Мать моя вслушалась в нечаянный разговор их и принудила запирающихся их в том пересказать себе все, девчонкою им сказанное, и, услышав, что я упал в пруд, обмерла, испужалась, ибо сочла меня уже погибшим и утопшим. В отчаянии не знала она, что делать, и не довольствуясь тем, что отправила не только послов одного за другим для точнейшего обо мне расповедания, встала сама с постели и хотела иттить на пруд, но по счастью, вышедшую ее из хоромов первые посланные останавливают и, обрадовав уведомлением, что я жив, рассказывают в подробности все происшествие. Тогда страх и отчаяние ее переменились в превеликий на меня гнев и досаду; она положила неотменно меня за сие высечь и велела принесть и приготовить хорошие уже розги.

Вскоре потом привели и меня, раба божья, к ней. Я обмер, испужался, как услышал, что мать моя обо

---

* Во всю прыть, изо всех сил. У нас осталось «кричать благим матом».

всем уже ведала, и за верное полагал, что меня высекут.

— Поди-ка сюда! Поди, дружок! — закричала мать моя, меня завидев.

Но я, не дав ей более говорить, повалился ей прямо в ноги и говорил только:

— Виноват, матушка! Что хотите со мной делайте! Случилось сие нечаянно, и я сам тому не рад.

Она, не внимая моим словам, схватила уже розги и хотела сечь, но я, схватив ее руку, целовал оную и обливал слезами, прося об отпущении вины моей и о помиловании, заклиная себя, что впредь того делать не стану. Все сие умягчило наконец гнев ее, она не стала меня сечь, но предику принужден я был вытерпеть преужасную, а сверх того не дозволено мне было несколько дней сходить с места, и я должен был беспрестанно учиться, покуда наконец сжалилась она надо мной и дозволила сама выходить на двор, взяв только с меня клятву, чтоб я все таковые беспутства оставил.

Несколько недель после того случилась со мною третья бедушка, но от которой, против чаяния моего, я удачно отделался. Был у меня нарочно сделан маленький и преострый топорик, им рубливал и тесывал я, во время резвостей моих, что ни попало. Ходючи однажды с ним и вышед на улицу, увидел я, что плотники у нас рубили сруб на избу. Легкомыслие мое внушило мне охоту пойтить к ним и помогать им рубить своим топориком; но как сидели они на срубе высоко и мне к ним взлезть было не можно, то, увидев лежащий подле сруба на земле один обрубок от бревна, начал я над ним по-своему

плотничать. Несколько минут рубил я все хорошо и порядочно, но один удар топором был весьма неудачен: топор каким-то образом с конца обрубка, который я сглаживал, соскользнулся и попал мне прямо в правую ногу, в самое то место, где пускают обыкновенно кровь из ноги. Весь узг* топора ушел у меня в башмак и произвел рану в полвершка величиною, и я истинно не знаю, как не пересек я жилы и не испортил тем совсем ноги. Но видно, что судьба хотела меня и в сем случае спасти: удар пришелся вдоль по жилам и между оных и не повредил ни жилы, ни кости. Но мое великое счастие было то, что рубил я в сей раз одною, а не обеими руками и не в размах.

Но как бы то ни было, учинив сие, обмер я и испужался. По счастию, не видал сего никто: плотники сидели на срубе и продолжали свою работу. Я, приметив сие, положил возможнейшим образом стараться скрыть сие дело и как можно не допустить до сведения моей матери, чего ради, удержавшись от крика и вопля, схватил я с находившейся подле самого того места дороги несколько густой грязи и, замазав ею все просеченное на башмаке место, побежал в хоромы. Но кровь, силящаяся из раны, на половине дороги отбила всю мою замазку; я, приметив сие, пустился прямо мимо хором на огород. Тут, не будучи никем видим, залепил и умазал я вновь свой башмак, как хотел, землею, и как увидел, что кровь не стала более отбивать землю, то

* Угол, нижний конец топора.

пошел в хоромы, сел за свои книги и не сходил до самого вечера уже с места. До сего времени ни одна жадная душа не ведала о сем происшествии, но как наступил вечер и надобно было мне раздеваться, то по необходимости должен я был открыться моему камердинеру. Был тогда оным у меня малый по имени Дмитрий, и самый тот, который ныне у нас портным. Я взял с него клятву, чтоб он никому не сказал, и рассказал потом свое несчастие. Тогда оба мы начали заботиться о том, как нам скинуть башмак и чулок с ноги. Мы не инако думали, что моя нога опухла; однако сколь велико удивление мое было, когда, при скидывании башмака и чулка, не чувствовал я почти никакой боли, а того еще больше удивился я, когда увидел, что рана моя была хотя превеликая, но вся наполнена власно как новым телом. Сколь я тогда еще ни мал был, но, увидев такое странное явление, заключал, что, конечно, произвели сие действие земля и грязь, которою я без всякого умысла рану свою замазывал, и после открылось, что я в мнении своем нимало не обманулся; ибо, как заметив сие тогда ж, начал я в последующее время пробовать лечить всякие свежие раны землею, то увидел и чрез бесчисленные опыты над собою и над другими удостоверился, что земля залечивает все свежие раны лучше и скорее всех пластырей на свете, а нужно только, чтоб она была не сухая, а смоченная и смятая наподобие теста.

На другой день вставши и надев башмак, хотя и чувствовал я небольшую боль, принуждающую меня несколько хромать, однако боль была так мала, что хромание мое было почти вовсе неприметно. Однако

боясь, чтоб каким-нибудь образом мать моя оного не приметила, решил я весь тот день сидеть и, не сходя с места, упражняться в чтении и писании. Сначала было матери моей сие совсем неприметно; но как я таким же образом и весь последующий, а там и третий день сидел беспрестанно за книгами,то показалось матери моей сие странно и удивительно.

— Что ты, Андрюшенька, — говорила она мне, — вдруг таков прилежен стал и который уже день никуда не выйдешь погулять себе?

— Не хочется что-то, матушка, — ответствовал я, — а к тому же давно не твердил своих наук и боюсь, чтоб не позабыть оных.

— Это очень хорошо, дитя мое, — сказала она на сие, — однако все погулять бы сколь-нибудь можно.

Что было тогда делать? Я принужден был встать и иттить в сад. Но по счастию, рана моя в сии три дня совсем почти зажила, и я мог уже ходить тогда не хромаючи.

Сим образом кончилось тогда сие происшествие, и родительница моя не узнала об оном по свою кончину.

Что касается до прочих в сие лето бывших происшествий, то помню я только два, некоторого замечания достойных. Первое состояло в том, что мать моя однажды ездила со мною для богомоления за Серпухов к Рышковской Богородице, в котором путешествии сопутствовал и отец Иларион, верхом на своем коне. А второе гораздо было важнее и состояло в том, что родительница моя нечаянным образом вывихнула у себя ногу, в самой нижней щиколке, и так, что ее исправить было никак не можно.

Случилось сие при особливом случае. Каким-то образом, я не помню уже зачем, вздумалось живущему подле нас дяде моему родному удостоить нас своим посещением. Мать моя на самую ту пору сошла только с своей кровати и хотела войтить в мою спальню, но лишь только переступила она одною ногою через порог, как прибежали к ней без души сказать, что идет Матвей Петрович и уже входит в хоромы. Неожиданность такого известия и обстоятельство, что была она совсем не одета, так ее перетревожило, что она второпях как-то вдруг и скоро обернулась назад, спеша приттить скорее на кровать, и в самую сию несчастную секунду повредила себе ногу.

Как сначала боль была невелика и сносна, то думали, что сие пройдет само собою, однако в мнении сем все обманулись: боль начала со дня на день увеличиваться и мать мою обеспокоивать от часу больше. Принуждено было ее править, но как и сие не помогало, то лечить всем, кто что знал. Но сколько ни лечили, но не произвели никакой пользы, а окончилось сие тем, что родительнице моей не можно уже было по самую кончину свою одевать на ту ногу башмак, но она принуждена была приказать сшить из войлока некоторый род просторной туфли и в оной уже хаживала, когда ей с постели своей сходить надлежало.

Между всеми сими происшествиями прошло, наконец, лето, наступила осень, и приближалась зима. Матери моей сколько ни не хотелось, по болезни своей, меня от себя отлучить, однако она заключала, что я, живучи при ней, совсем исшалюсь и избалу-

юсь и не только не выучу ничего вновь, но и все выученное позабуду, и имела столько духу, что решилась отправить меня в Петербург, как скоро зимний путь настанет, и потому заблаговременно уже делала все нужные к тому приуготовления. Сопутником мне назначен был дядька мой Артамон и еще один молодой малый по имени Яков; лошадей же велено было нанять от Москвы до Петербурга.

Как скоро зимний путь настал, то родительница моя не стала медлить ни одного дня, но, собрав меня совсем и снабдив всем нужным на дорогу и для петербургского житья, собрала всех своих родственников и, предав покровительству небес, меня в путь мой отпустила.

Расставание у нас с нею было наинежнейшее. Она обливала меня слезами и целовала в лоб, в глаза, в щеки и в губы; я плакал не меньше оной и целовал у ней обе руки. Все бывшие при том присоединяли слезы свои к нашим, ибо никто не мог утерпеть, чтоб не плакать. Наконец, благословив меня образом и надавав тысячу благословений и еще раз меня расцеловав и обмочив своими слезами, простилась она и отпустила. Увы! Сие было в последний раз, что она меня, а я ее видел. Минута сия толико мне памятна, что и поныне наиживейшим образом впечатлен в уме моем ее образ и тогдашнее расставание.

Сим окончу я мое теперешнее письмо, а в последующем расскажу о своем путешествии и петербургской жизни; я есмь и прочая.

ПРИЕЗД В ПЕТЕРБУРГ

ПИСЬМО 17-е

Любезный приятель! Приступая к описанию путешествия моего и петербургской жизни, о первом скажу, что мне все оное почти двумя словами описать можно. Мы приехали в Москву благополучно; а тут, отпустив своих лошадей в деревню, а сами, наняв ямских, пустились далее, и как дорога была хорошая и можно было верст по 80 на день ехать, то доехали мы до Петербурга скоро и благополучно. Не было с нами во всю дорогу ни одного такого приключения, которое бы достойно замечено быть, а старанием дядьки моего был и я всем доволен.

Что принадлежит до второй, то есть до петербургской жизни, то найдется многое кой-что, о чем пересказать вам можно.

Как мы адресованы были к дяде моему Тарасу Ивановичу Арсеньеву, служившему еще и тогда ротмистром в конной гвардии и жившему сего полку в светлицах, то и приехали мы прямо к нему. Дядя мой давно уже меня дожидался, ибо писал уже несколько раз к матери моей, чтоб меня присылала и что у него уже есть место на примете, где б мне учиться.

— Насилу, насилу прислала тебя мать! — сказал он, меня увидев. — Давно бы, мой друг, пора! Небось ты, живучи с целый год в деревне, все выученное позабыл.

— Никак, дядюшка! — ответствовал я. — А я все старался твердить.

— Уж знаем мы, — сказал он на сие, — каково бывает ваше твержение. Но добро, добро, хорошо, что невестка тебя прислала.

Сказав сие, приказал он выбираться из повозок и мне одеться получше, ибо я был в дорожном платье.

На другой день повез он меня с собою в коляске в тот знакомый ему дом, в котором надлежало мне учиться и где им приговорен был уже учитель. Дом сей отстоял от нас неблизко, и гораздо более версты, и принадлежал одному при строениях дворцовых определенному старичку-генералу, по имени Якову Андреевичу Маслову, самому тому, который в последующие времена, будучи генерал-аншефом*, постригся в монахи и несколько лет препроводил в духовном чине и был сперва иеромонахом, потом игуменом, а наконец архимандритом. Дяде моему знаком был сей человек потому, что был он сосед ему по деревням, а сверх того и любил его. В доме у него жил тогда учитель-француз для обучения детей генеральских; и с сим-то учителем, с дозволения господина Мас-

*En chef. В XVIII в. генерал-аншеф сперва означал главнокомандующего; позже этот чин означал полного генерала.

лова, условился дядя мой, чтоб ему учить, и мне бы всякий день поутру и после обеда приходить в сей дом для учения. Я представлен был и учителю, и господину Маслову; дело было в единый миг кончено, и положено, чтоб я в следующий же день учинил начало.

Между тем, как мы уже туда ездили, дядьке моему поручено было сыскать для другого моего слуги какое-нибудь место и работу, чтоб не было нужды кормить его по-пустому. Дядька мой и нашел ему работу на канатном дворе столь выгодную, что он не только мог сам себя пропитать, но выручаемых денег довольно оставалось и на зарплату за меня учителю моему: итак, оно мне ничего почти не стоило. Дядя был сим очень доволен и приказал в тот же день отправить оного на фабрику.

Дом, в котором жил дядя мой, был хотя нарочито велик, но ему ассигнована была только одна половина оного, а в другой жил другой офицер. Половина сия содержала в себе только четыре просторные комнаты: первая составляла переднюю, или залу, отправляющую также должность столовой, вторая — дяди моего спальню, и оба сии покои были обиты обоями и порядочно убраны; а из других двух задних одна была детская, а другая — и лакейскою, и девичьею. Мне ассигновано было место спать в зале, где подле печки поставлена была моя кроватка.

Дядя мой, будучи порядочный и степенный человек, жил, как говорится в пословице, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Мотать он не мотал, жил не слишком роскошно, и в доме у него все было хорошо и порядочно. Он имел у себя молодую тогда и вто-

рую жену, и маленького на руках еще сына. Катерина Петровна — так звали его жену — была боярыня молодая и модная и великая щеголиха. Он любил ее чрезвычайно; однако она должна была во всем повиноваться его воле и ничего лишнего не затевать. Несколько человек отборных друзей, живущих таким же образом, как он, составляли наиболее их компанию и делили с ними свое время. В особливости же дружен с ними был тогдашний конной гвардии секретарь, Дмитрий Михайлович Буткевич. Поелику и у сего офицера была также жена и притом таких же почти лет и свойств, как моя тетка, то оба сии дома были неразрывною любовью и езжали часто друг к другу. Во время сих съездов препровождали они время свое наиболее в игрании в карты, ибо тогда зло сие начало входить уже в обыкновение, равно как и светская нынешняя жизнь уже получала свое основание и начало. Все, что хорошею жизнью ныне называется, тогда только что заводилось, равно как входил в народ и тонкий вкус во всем. Самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие, и помянутых песенок было не только еще очень мало, но они были в превеликую еще диковинку, и буде где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была не спускаема.

Со всем тем карточная игра не была еще в таком ужасном употреблении, как ныне, и не сиживали за картами и до обеда, и после обеда, и во всю почти ночь не вставаючи. Нынешних вистов тогда еще не

было, а ломбер и тресет* были тогда наилучшие игры, да и в те игрывали только по вечерам; в прочее ж время упражнялись в разных и важных разговорах. В сих разговорах обыкновение тогда было упражняться в особливости за ужинами и за обедами: по целому иногда часу и более сидели они, наевшись и ничего иного не делая, кроме что упражняясь в разговорах.

Для меня сей род жизни был нов и необыкновенен, но я принужден был с оным сообразоваться и могу сказать, что привык к нему очень скоро. Я вел себя тут очень степенно, а правду сказать, причиною тому было то, что, с одной стороны, боялся я очень дяди, оговаривающего меня тотчас, как скоро я что-нибудь непристойное делывал, а с другой — не было в доме никакого мне сверстника, с которым бы мне можно было резвиться; итак, поневоле должен я был быть тихим, кротким и степенным. Днем хаживал я обыкновенно в дом к господину Маслову учиться, а к вечеру препровождать время свое не в людской и не с людьми, а в спальне дяди моего, со всеми гостями и, сидючи за стулом, смотреть, как они игрывали, и слушать их разговоры. Но никогда разговоры их не были мне так скучны, как за ужином: нередко случалось, что, уставши днем от ходьбы, а

---

*Ломбер (L'hombre) — в настоящее время забытая карточная игра между тремя игроками; двое играют против третьего. Возникла в XIV веке в Испании. В России была распространена во второй половине XVIII века. От этой игры получил название ломберный, т. е. карточный, с сукном, стол. Тресет — тоже забытая карточная игра.

вечером от стояния, смерть спать хочется. Но я принужден был вместе с прочими часа два просидеть за ужином и слушать разговоры, ибо, к несчастию, кровать моя стояла, в сей комнате и мне выйтить и лечь было невозможно.

Сим образом и не бранью и не жестокостью, а все ласками и оговариваниями в короткое время дядя так меня вышколил, что я стал совсем другой ребенок и во всем моем поведении так переменился, что скоро как дядя, так и тетка, а не менее и приезжающие к нам гости начали меня удостаивать своими похвалами и делать мне более уважения, нежели прежде. Они приобщали меня даже к своим увеселениям, научили меня играть в тресет, и я должен был иногда делать компанию боярыням. Когда же ознакомился уже более, то случалось, что когда заводили они танцы, то и я должен был танцевать вместе с ними или, по крайней мере, в контратанцах помогать делать фигуру. Случалось ли когда выезжать им целою компаниею гулять, например в летнее время на Каменный остров или в иное место, то бирали меня с собою и т. д.

Все сие было для меня приятно, и я скоро получил вкус к жизни сего рода и могу сказать, что как дом господина Маслова был мне училищем для наук, так дом дяди моего был для меня училищем светской жизни и хорошему поведению. С сей стороны я много обязан сему любившему меня родственнику, а не менее и тетке, его жене; она не менее старалась меня исправлять, как и он, и я попечением и старанием ее обо мне был очень доволен и имел к ней искреннее почтение и потому охотно исполнял по-

ручаемые ею мне комиссии. Она, узнав, что я умею рисовать, заставляла меня иногда делать для себя некоторые рисунки; но ничем я ей так не угодил, как разрисованием одного ларчика: я употребил к тому все мое искусство, и она была работою моею очень довольна.

Не менее также доволен я был одним, бывающим почти всякий день у дяди моего, гостем. Был он того же полку офицер, по фамилии Лихарев, но находился под каким-то следствием и потому хаживал он обыкновенно все в тулупе. Поелику был он человек весьма разумный и в компании веселый и шутливый, то любил его мой дядя, и он хаживал к нам почти всякий вечер. Сей человек, узнав, что я имею склонность к наукам и читанию книг, отменно меня за то полюбил и нередко заговаривал со мною о разных материях. Он принес ко мне однажды рукописную книгу и, отдавая для прочтения, сказал, что он обо всем будет меня спрашивать и чтоб я читал со вниманием. Но таковое напоминание было для меня не нужно: книга сия для меня была очень любопытна, и как я сего рода книг никогда еще не читывал, то в немногие дни промолол я ее всю, а неудовольствуясь одним разом, прочел и в другой раз и мог ему пересказать все по пальцам. Г. Лихарев удивился, услышав о том, что я ее в такое короткое время прочел уже два раза, и был охотою и вниманием моим так доволен, что подарил меня сею книгою. Я обрадовался тому до чрезвычайности и не знал, как возблагодарить ему за оную. Составляла она перевод одного французского и, прямо можно сказать, любовного романа, под заглавием «Эпаминонд и Целе-

риана», и произвела во мне то действие, что я получил понятие о любовной страсти, но со стороны весьма нежной и прямо романтической, что после послужило мне в немалую пользу.

Сим образом препровождал я жизнь в доме у моего дяди и столь порядочно, что не помню, чтоб я однажды сделал какую шалость и подал повод дяде моему бранить меня за то. Словом, весь дом был мною доволен, и все любили меня и хвалили.

Но теперь время рассказать мне вам и о доме г. Маслова и о том, как я учился в оном. Отстоял он от нас, как выше упомянуто, неблизко, ибо находился неподалеку от церкви Сергия-чудотворца и за Литейным двором, и ходить мне было в оный нарочито далеко, однако, по ребячеству своему, я скоро к тому привык: иногда хаживал я туда один, а иногда провожал меня дядька, и путь сей, а особливо в летнее время, был мне очень приятен, нередко и сокращал я оный, купив на дороге себе изюма и лакомясь им по ягодке. Лавочник, сидящий на дороге в лавочке, уже так к тому привык, что отвешивал обыкновенно мои четверть фунта заблаговременно и меня только завидев: изюм был тогда в Петербурге очень дешев, и на порцию мою в день исходило только три денежки, ибо фунт продавался по 6 копеек.

Дом у господина Маслова был хотя превеликий, но как он имел четырех сыновей, из коих старший, по имени Михаил, был уже капитаном, а средний, по имени Степан, гвардии сержантом, и оба они были большие, то целая половина дома содержала в себе комнаты, в которых жили его дети, так что нам с обоими его младшими детьми, Иваном и Андреем, не

оставалось во всей сей половине места для учения, и мы принуждены были учиться у самого генерала в предспальне. Оба мои товарищи были несколько меня постарее, и оба были очень резвы и к учению тупы, а особливо меньшой самый. Что ж касается до другого, то был он хотя пылкого и горячего темперамента и малый весьма ветреный и бойкий, но к учению был также неприлежен. С обоими ими свел я скоро дружбу и знакомство. Для нас поставлялся обыкновенно ломберный столик посреди предспальни, и тут должны мы были сидеть и учиться, наблюдая возможнейшую тишину и благопристойность.

Что принадлежит до учителя нашего, то был он родом француз и человек еще очень нестарый. Звали его г. Лапис, и наивеличайший недостаток его состоял в том, что он не умел ни одного слова по-русски, а столь же малое понятие имел он и о немецком языке. Сие обстоятельство причиною тому было, что и в сей раз немецкий мой язык принужден был спать, и я чем далее, тем более позабывал оный. Но тогдашнее учение мое и французскому языку было самое бедное и весьма-весьма недостаточное. Великое счастие было еще то, что я сколько-нибудь умел уже по-французски, а то истинно не знаю, как бы он стал меня учить, не умея по-русски ничего растолковать и разъяснить. Не понимаю я и поныне, как таковые учителя учат детей в домах многих господ, а особливо сначала и покуда ученики ничего еще не знают. Господин Лапис был хотя и ученый человек, что можно было заключать по беспрестанному его читанию французских книг, но и тот не знал, что ему с нами делать и как учить. Он мучил

нас только списыванием статей из большого французского словаря, изданного французскою академиею и в котором находились только о каждом французском слове изъяснения и толкования на французском же языке: следовательно, были на большую часть нам невразумительны. Сии статьи, и по большей части такие, до которых нам ни малейшей не было нужды, должны мы были списывать, а потом вытверживать наизусть без наималейшей для нас пользы. Тогда принуждены мы были повиноваться воле учителя нашего и все то делать, что он приказывал, но ныне надседаюсь я со смеха, вспомнив сей род учения, и как бездельники-французы не учат, а мучат наших детей сущими пустяками и безделицами, стремясь чем-нибудь да провесть время.

Словом, если б не пользовало нас то, что мы как с учителем, так и между собою говорили всякий день по-французски и через то не твердили язык сей от часу больше, то не знаю, какую пользу мог я получить от тогдашнего учения. Не упражнялся я ни в чтении книг, ни в переводах, которые б всего нужнее мне были, а особливо с русского на французский. Учитель наш не в состоянии был помогать нам в сем случае, да и вообще не прилагал он дальнего об нас старания, а только и все его дело было, что заставлял нас писать и учить наизусть; прочее ж время упражнялся он все в чтении.

Таким образом, не получил бы я в сем месте дальней пользы, если б не случилось одного побочного обстоятельства, которое нечаянно послужило мне в особливую пользу и подало повод выучиться целой

иной науке, которой я вовсе не учен был. Как оба сотоварища мои записаны были в артиллерию и были сержантами в оной, то восхотелось старику-генералу выучить их арифметике и геометрии как таким наукам, которые были им необходимо надобны. Приговорен был для сего один артиллерийский капрал и положено, чтоб ходить ему в дом сей после обеда в каждый день и учить детей генеральских. Что касается до третьего и середнего сына, то сей упражнялся тогда в черчении фортификации в своих комнатах, и для обучения его жил тут в доме инженерный кондуктор* г. Пучков.

По особливому счастию моему, оба товарищи мои были крайне бестолковы и непонятны, и учитель бился с ними как с крайними невежами; он принужден был всякую вещицу им раза по три и по четыре перетолковывать и насильно вбивать в голову. Как сидели они со мной за одним столиком и я все сие видел и слышал, то смешное из сего вышло: их учили, но они не выучились, а меня хоть не учили, но я выучился совершенно. Помогла к тому много собственная моя охота, ибо мне науки сии так полюбились, что я, приходя ввечеру домой, все то записывал, что я днем слышал. Я достал себе циркуль, рейсфедер и транспортир** и без всякого указательства начертил и написал себе всю полную геометрию и понял ее довольно совершенно. Хотелось было мне таким же образом получить понятие и о

---

*Воспитанник инженерного училища.

**Принадлежности для черчения.

фортификации, которой учился средний генеральский сын Степан. Но как мы в покои его редко хаживали и при нас учитель ему ничего не толковал, то и не можно было мне в желании моем иметь дальнего успеха; однако я старался колико можно ходить туда чаще и сматривать, как они чертят планы, и получил по крайней мере о сих довольное понятие.

Сим образом продолжал я учение мое не только всю зиму, но и половину тогдашнего лета, и к жизни сего рода так уже привык, что она мне сделалась весела и приятна. Но спокойствие моего духа нарушено было в июне получением нечаянного известия из Москвы, что родительница моя в деревне скончалась. Первое известие о сем печальном приключении сообщил мне мой дядька; оно поразило меня,как громовым ударом. Однажды после обеда, пошед меня провожать в школу, стал он мне говорить на дороге, что есть из Москвы письма, что матушка моя очень больна; сердце мое затрепеталось при сем слове и пронзилось, властно как ножом.

— Ах, Артамонушка, голубчик! — подхватил я скоро его слово. — Уж не скончалась ли она? Скажи мне, ради Бога!

Тогда сказал он мне, что еще апреля 23-го числа был тот несчастный день, в который переселилась она в вечность. Боже мой, какою горестию и печалью поразилось мое сердце. Я стенал, рыдал и плакал и с целую четверть часа не мог сойти с того места; казалось, что все стихии для меня переменились. Все уговаривания дядьки моего не помогали; но наконец принужден я был дать себя уговорить продолжать путь свой далее. Однако худое учение

было уже в тот день; я и там несколько раз принимался плакать.

Таким образом лишился я и моей родительницы и остался совершенным сиротою на четырнадцатом году моего возраста. Я узнал после, что она с самого моего отъезда начала час от часу слабеть более и, наконец, по вскрытии весны сама приметила уже приближающуюся свою кончину и приготовилась к оной по христианскому долгу. Она скончалась в совершенной памяти и погребена была в приходской нашей церкви, под самым правым крылосом*. Дядя мой примирился с нею пред ее кончиною и имел попечение о ее погребении, а окончив сию печальную церемонию, взял на себя попечение о нашем доме и управление деревнями до моего приезда.

Происшествие сие произвело паки во всех моих обстоятельствах великую перемену: я сделался тогда совершенным властелином над всем нашим имением и деревнями, но властелином весьма еще к правлению оными неспособным.

Что со мною случилось далее, о том расскажу вам, любезный приятель, в последующем письме, а сие окончив сим, остаюсь и проч.

---

*Крылос — измененное клирос — церковнославянское слово, обозначающее место в церкви для певчих.

ЗАМЫСЛЫ О ПОЕЗДКЕ В ДЕРЕВНЮ

ПИСЬМО 18-е

Любезный приятель! Теперешнее письмо расположился я наполнить почти сущими пустяками и безделками и рассказать вам в оном нечто смешное. Но наперед расскажу вам несколько и дела.

Известие о кончине матери моей произвело во мне великую перемену; мне казалось, что тогда могу уже я делать что хочу и быть поступков своих совершенным господином. К дяде моему я хотя прежнего высокопочитания не потерял, однако рассуждал, что с таким подобострастием его бояться, как прежде, мне уже тогда не годилось и было бы излишним. Голова моя стала наполняться тогда уже иными замыслами, и охота жить долее в Петербурге и по-прежнему учиться мало-помалу исчезать стала. Дядька мой поддувал меня* ежедневно: он то и дело мне напоминал, что теперь помышлять мне надобно и о доме, что там все без меня разорится, а особливо если я скоро домой не приеду, и так далее. В самом же деле ему самому нетерпеливо хотелось скорей домой ехать, он имел там жену и детей, да и, впрочем, не

---

*В смысле подговаривал.

думал, чтоб ему там худо б было. Он не сомневался, что при тогдашних обстоятельствах будет он при мне первым человеком и потому иметь иногда случай ловить в мутной воде рыбу. Но как бы то ни было, но мне представления его были не противны, и мы начали совокупно оба стараться искать удобного средства к нашему отъезду и к скорейшему освобождению себя из-под власти дядиной. Однако все наши замыслы долго уничтожаемы были твердым предприятием дяди моего удержать меня в Петербурге, по крайней мере до зимы, дабы мне сколько-нибудь понаучиться более было можно. Все первые мои представления об отпуске меня домой были отвергнуты, и я нехотя был принужден продолжать науки и ходить по-прежнему в дом к Маслову.

Со всем тем, как дожидаться до зимы казалось нам слишком долго, то дядька мой не преминул выдумывать возможнейшие средства к сокращению сего термина* и убедил меня, наконец, употребить самый бездельнический обман против моего дяди. Он присоветовал мне отписать тайным образом к большей моей сестре во Псков и, уведомив ее о кончине матери нашей, просить, чтоб она прислала за мною лошадей и коляску, а между тем и около того времени, как быть коляске, всклепать** на генерала Маслова, что он хочет ехать в Москву и взять с собою детей и учителя. И как ему нетрудно

---

* Срока.

** Наговорить; этого же корня современное поклеп — напраслина, оговор, клевета.

было меня ко всему уговорить, то постарался он найтить и случай к пересылке письма во Псков; я исполнил по его хотению и, отправив письмо, стал с спокойнейшим духом ходить для продолжения наук своих.

И тогда-то случилось со мною то смешное происшествие, о котором обещал я вам рассказать. Состояло оно в том, что меня не думанно, не гаданно в доме у господина Маслова высекли. Это, скажете вы, не смешное, а печальное. Но постойте, любезный приятель, дайте мне выговорить. Секли меня больно, да и очень больно, и досталось и рукам, и голове, и кафтану, и плечам. — Но что ж далее? — А вот то далее, что вы не угадаете, что я тогда во время сечения сего делал. — Что иное делать, — скажете вы, — как плакать или кричать? — Но того-то и не бывало, но я, вместо того, со смеха надседался, и чем более секли, тем более я смеялся. — Что за диковинка? — скажете вы. — Это ненатурально. — Я не знаю, натурально ли сие или ненатурально было, и вы называйте как хотите, а сие в самом деле было, и я расскажу вам теперь сию странную комедию.

Однажды сидели мы с товарищами моими и учились. Вы знаете, что языком по большей части учатся тихомолкою, а особливо когда затверживают что-нибудь наизусть, а тогда в самом том мы и упражнялись. Учитель наш, задав нам уроки, сел подле окошка и читал французскую книгу; изрядная хворостина лежала подле его, которую для всякого случая, а особливо для резвых моих товарищей, носил он всегда с собою, и нередко случалось, что он

их за шуменье и резвости по рукам ею стегивал. Обстоятельство, чтоб нам не шуметь, а сидеть тихо, а особливо когда генерал, отец их, бывал дома и в послеобеднешнее время в побочной подле нас своей спальне отдыхал, было нам накрепко запрещено, и в такое время должны были мы сидеть весьма тихо и вслух ничего не говорить.

Тогда случай был точно такой. Дело было вскоре после обеда, и генерал только что заснул в спальне и, к несчастью, нам особливо еще подтвердил, чтоб мы не шумели. Мы и сидели несколько времени как в воду опущенные; но вдруг нелегкая догадай одного и резвейшего из моих товарищей посмотреть из-подо лба, что учитель наш делает, а увидев, что он углубился в чтение книги, захотелось ему над ним пошутить. Он, оборотя голову свою к нему и вытянув губы, ну ими играть пальцем и тем дразнить учителя. Сие брату его так смешно показалось, что он тотчас закуркал, ибо вслух смеяться и хохотать было ему не можно. Говорят, что всякое запрещенное нам охотнее делать хочется, и сие подлинно справедливо, а особливо было сие при тогдашнем случае. И я не знаю, что тогда на нас на всех особливое нашло: кажется, все сие и не гораздо смешно было, или хотя б немного тому и посмеяться, но после и перестать бы можно было; но мы власно тогда так весь свой рассудок потеряли. Оба мои товарища, надрываясь, смеялись и до слез куркали. Я, совсем не зная, чему они смеются, но увидев их надрывающихся со смеху, последовал их примеру и хохотал, не ведая сам чему. Сперва смеялись и куркали мы все еще тихо и умеренно, но мало-помалу начал наш

смех громче становиться. Учитель наш, услышав то и боясь, чтоб мы не разбудили генерала, кричал нам:

— Hé! messieurs, que faites-vous? (Эй, господа, что это вы делаете?)

Но мы того не слушали. Он спрашивал, чему мы смеемся, но ни один из нас не мог ему за смехом ответствовать. Наконец приступил он к одному из моих товарищей и с сердцем уже требовал, чтоб он сказал, чему мы смеемся. Сей, встав пред ним и куркая с полчаса, хотел было выговорить слово, но вместо того вслух и во все горло захохотал и слюнями всего его забрызгал.

Нам чрез то власно как сигнал был дан. Терпя, терпя, захохотали тогда и мы во все горло, ибо нам сие еще того смешнее показалось. И тогда загорелся огонь и поломя. Учитель наш вздурился, сие увидев. Сперва уговаривал он нас ласкою и убеждал резонами: но увидя, что мы только пуще смеялись, принялся за насильные средства, и тут началась истинная комедия. Он, схватя розгу, ну нас ею по рукам стегать, но мы пуще; не успеет кого ударить, как тот только: «Ха! ха! ха!», и нас подожжет тем только больше. Не пронявшись тем, ну нас по головам розгою, но мы пуще; он нас сечет, а мы: «Ха! ха! ха!» и от смеха только плачем.

Взбесился тогда наш учитель и по горнице вспрыгался. Розгу свою он об нас всю уже изломал, побежал за другою, но, по несчастию, другой не находит. Сие показалось нам еще того смешнее: когда человек примется хорошенько смеяться, тогда ему все смешно кажется. Мы опять за то же да за то. Учитель нас бранит, ругает, бесится, а мы хохочем;

наконец нечем ему уже нас пронять. Совался, бегал, искал, шарил, но не нашед ничего, чем бы нас ударить, ну в нас швырком книгами; но сие пуще только наш смех умножило. Одну бросив, неосторожно, разодрал; у другой перегнул и испортил доску; третья, отскочив от нас, попала в чернильницу и, проливши чернила, замарала стол и наши бумаги. Боже мой, что тогда поднялось! Мы не в состоянии уже были нимало умеривать свой смех и не хохотали, но ревели уже во все горло, все сие увидев. И я не знаю, чем бы кончилась сия комедия, если б шумом и хохотанием своим мы наконец генерала не разбудили. Он кликнул камердинера своего, и мы, услышав сие, начали переставать смеяться. Потом вышел он к нам, и учитель приносил ему на нас жалобы и был так взбешен, что не хотел более жить ни одного дня тут в доме. Мы просили прощения и признавались, что такой беды над нами никогда не бывало и что на нас нашла такая шаль, которой мы сами были не рады.

Да и в самом деле я не помню, чтоб во всю жизнь мою когда-нибудь подобный сему другой случай со мной был. И чудные поистине со мною происшествия в сем доме были! В другой раз, и гораздо сего прежде, я целый день, сам истинно не зная о чем, проплакал. Но сие было некоторый род предощущения душевного, ибо около самого того времени скончалась в деревне моя родительница.

Вот вам, любезный приятель, истинная пустошь, о которой и упоминать по справедливости труда не стоило б, если б вы не любили смешного; а вследствие того расскажу вам теперь и другое, бывшее со

мной в сие же лето в Петербурге происшествие, которое, может быть, так же вас усмехнуться заставит.

За короткое уже время до отбытия моего от сего учителя, попался было я, любезный приятель, в превеликие хлопоты; молодца совсем было под караул подтяпали, и быть было мне в хорошем месте, а именно в госпоже Съезжей или где-нибудь еще хуже. Однако не думайте, пожалуйте, чтоб то за какую-нибудь великую продерзость было: лета мои не были еще такие, чтоб я мог на злое что-нибудь отважиться, а всему была причиною милая и дорогая незрелость разума и одна только неосторожность.

Было сие уже под осень и в начале сентября. Вам известно, что пятое число сего месяца было в тогдашнее время отменное, ибо в сей день было тезоименитство царствовавшей тогда государыни Елизаветы Петровны, и празднован был оный с великим великолепием, и потому деланы были к торжеству сему заблаговременно некоторые приуготовления. Как г. Маслов был генерал от строения, то и проведали мы, что пред Летним дворцом будет в сей день огромная и великолепная иллюминация. Будучи ребенком, можно ли пропустить, чтоб на оной не быть и не посмотреть редкого такого и приятного зрелища? Я испросил дозволения на то от дяди и получил оное.

Иллюминация была в самом деле достойная зрения, и я глаза свои растерял, смотря и любуясь на оную. Она сделана была из разноцветных фонарей, которые толикими же разными огнями быть казались. По обоим краям представлено было два храма,

а посредине в превеликом возвышении превеликая картина, изображающая родосского колосса, стоящего ногами своими на двух краях гавани, простирающейся в проширективическом виде от оного до самых храмов и прикасающейся другими концами к оным. Сей род иллюминации был мне хотя уже известен, однако такой огромной и великолепной я не видывал и потому смотрел на оную с великим восхищением.

Впрочем, надобно вам сказать, что я ходил смотреть сию иллюминацию не один; но один живущий в доме у генерала Маслова его племянник, господин Торопов, летами меня несколько постарее, был моим товарищем и предводителем; дядька мой Артамон также за нами следовал. Насмотревшись довольно на иллюминацию, повел меня г. Торопов на крыльцо самого дворца и продрался со мною до самых стеклянных дверей залы, в которой продолжался тогда бал и гремела огромная музыка. Тут предоставилось зрению моему новое, никогда мною не виданное и не менее прелестное зрелище: вся зала наполнена была придворными знатными господами и госпожами; все они были в наилучших убранствах и упражнялись в танцовании. Бесчисленное множество свеч, горящих в люстрах и простенках, освещали сию залу. Зрелище толико великолепное: бесчисленное множество бриллиантов, блистающих на головах у дам придворных, сладкое согласие музыки и все прочие предметы приводили все чувства мои в восхищение. Я не мог всему сему довольно насмотреться, и мне казалось, что в месте сем был сущий тогда рай. Г. Торопов, дав мне зрением сим довольно на-

веселиться, восхотел потом сделать мне еще одно удовольствие и показать мне дворцовый сад, наполненный тогда великим множеством гуляющего народа, но как было тогда очень темно, то товарищ мой, будучи в артиллерийской службе, достал тотчас несколько факел; артиллеристы не запрещали ему брать из валяющихся пред иллюминациею множества оных. Итак, зажегши по факелу, пошли мы гулять по саду по примеру прочих, а принуждены были только оставить нашего лакея, то есть моего дядьку, которого туда с нами не пропустили. Там гуляли мы несколько времени благополучно, и я не мог довольно налюбоваться, видя весь сад наполненный людьми и народом и во многих местах иллюминованный множеством плошек. Но, возвратившись оттуда, не нашли мы Артамона моего на том месте, где его оставили: он не исполнил нашего приказания и, отлучась от того места, замешался между народом; итак, принуждены мы были искать его между оным. Однако, как мы ни старались, но отыскать его не могли, а чуть было и друг друга не потеряли. Наконец положили мы дожидаться, покуда большая часть народа разойдется, надеясь тогда лучше найтить оного, но и сия надежда нас обманула; мы промедлили чрез то только за полночь, и хотя весь народ уже разошелся, которого было около дворца превеликое множество, но дядьки моего нигде не было.

Горе тогда напало на меня превеликое; я почитал его не инако, как погибшим, и едва только не плакал, но товарищ мой уговаривал меня и не сомневался в том, что он ушел домой. В сем мнении он и не обманулся, ибо дядька мой, к несча-

стью нашему, пред самым только тем временем, как нам выходить из саду, отвернулся на несколько минут в сторону и тотчас потом к дверям сада возвратился и, думая, что мы еще в саду, дожидался очень долго; нам же и не ума было опять приттить ко входу. Наконец увидев, что было уже поздно и весь народ из саду вышел, а мы нейдем, заключил он, что мы, верно, вышли и, конечно, ушли домой. Итак, поискав нас немного между народом в темноте, бросился он домой; но не нашед нас там, пришел в превеликое замешательство и побежал опять искать нас, и таким образом пробегал и проискал нас почти до света.

Между тем грусть и тоска переела почти насквозь мое сердце. Я за стыдом только не плакал и горюя не знал, как нам домой одним и такую даль иттить, и притом в такую темноту и глухую полночь, ибо расстояние от дворца до нас было превеликое. Но товарищ мой был меня смелее и говорил мне:

— Как, братец, тебе не стыдно? Чего бояться? Дорогу я знаю, а и в темноте мы не заблудимся, зажжем себе по факеле и пойдем.

Я дал себя ему уговорить. Итак, запаслись мы довольным числом факел и, зажегши две, отправились в свой путь.

Несколько улиц прошли мы с ним благополучно и без всякого помешательства; факелы наши горели изрядно, и мы ребячеству своему тем веселились. Мы играли ими, вертя кругом и отбрасывая отрывающиеся куски обгорелой факелы; но самые сии игрушки довели было нас до беды. Не успели мы

несколько улиц пройтить и были уже недалече от дома генеральского, идучи без всякой опасности, как вдруг превеликий мужчина схватил обоих нас сзади и во все горло заревел:

— О! о! попалися! Что за люди? Зачем ходите с огнем? Что за игра оным?

Мы оцепенели тогда оба и не знали со страха что делать, ибо нам и в голову никакой опасности не входило и мы почитали себя уже почти дома, а того, что с голым огнем в самую полночь по улицам ходить и по-нашему огонек расшвыривать было очень худо и неловко, того ни одному из нас и на мысль не приходило. Со всем тем товарищ мой не так оробел, как я, и имел еще столько смелости, что с важным видом спрашивал схватившего нас мужчину, что б он за человек был, и говорил ему, чтоб он шел прочь и оставил нас с покоем, а в противном случае он факелою его в рожу съездит. Но храбрость сия недолго продолжалась; мужчина не успел сего услышать, как еще меньше учтивства употреблять с нами начал.

— А, вот я те покажу, что я за человек! — заревел он опять. — Пойдем-ка в будку-та со мной — упрыгаешься!

И в самое то время выхватил из рук у него факелу и потащил обоих нас в свою караульню. Тогда легко могли мы заключить, что это был караульщик у рогатки и что дело доходит до худого. Я трепетал тогда от страха и умолял его всячески.

— Голубчик ты мой! — говорил я ему. — Мы, право, не знали, что с огнем ходить не велено; пожалуй, отпусти!

— О, о, не знали! — ответствовал бородач. — Вот я вас проучу, у меня будете знать; а то вы очень бодры. Пойдем-ка сюда.

Товарищ мой, видя, что он начинает вправду нас тащить, забыл тогда более хоробриться и говорил ему уже посмирнее:

— Слушай, брат, не заводи шума; мы дети генеральские, и дом наш вот на этой улице; не трогай нас и покинь.

— Эк-на! Велика мне нужда, что ты сын енеральской, хошь бы фелмаршалской был! Пошел-ка, слышь, пошел!...

А увидев, что он начал у него из рук вырываться, закричал:

— Постой! не уйдешь-ста! — и тянул его уже непорядочным образом.

Со всем тем был он мертвецки пьян и не мог удержать господина Торопова: он вырвался у него и дал тягу. Я старался вырваться также, но, по несчастью моему, попался я ему в правую руку, а притом и не имел столько силы. А как товарищ мой вырвался, то он взбесился еще пуще, схватил меня уже обеими руками. Я обмер тогда, испужался и считал уже себя совсем погибшим. Я умолял его всеми святыми, но ничто не помогало: филистянин мой потрясал только бородою и рыгал из себя и отдувался. Наконец, видя такую беду, начал и я напрягать все мои силы и из рук у него рваться; но не было никакой возможности из когтей его освободиться, и я не знаю, что б со мною он сделал, если б нечаянный случай мне не помог. Мужик, видя, что я и руками и ногами упираюсь и не иду к нему в караульню, рассудил, что

ему одному со мною не сладить, и стал будить своего товарища и кричал во все горло:

— Ванька, а Ванька! Вставай, брат!

Но любезный его Ванька не лучше его был, но, знать, еще побольше накушавшись, почивал себе, как надобно, и только что-то промурчал. Тогда осердился мой враг и кричал:

— Экой чорт! Слышишь, пошел сюда!

Но как Ванька ему более ничего не отвечал, то, по счастию моему, вздумалось ему пойтить его разбудить; но он не успел одною рукою меня освободить, чтоб растворить двери в будку, как рванулся я у него изо всей мочи и, вырвавшись, дай Бог ноги, и он до тех пор меня и видел.

Но тут-то бы, любезный приятель, посмотреть, в каком неописанном бежал я страхе. Поверите ли, без смеха и теперь не могу вспомнить тогдашней моей трусости. Я бежал без ума, без памяти и призывал всех святых себе на помощь, а особливо святого Сергия, мимо которого церкви мне бежать случилось.

— Батюшка ты мой, Сергий-чудотворец, — говорил я тогда, — избавь ты меня от врага окаянного! Целых два молебна тебе отслужу и гривенную свечу поставлю, сохрани только и помилуй!

Сим образом, сам не зная, что говорил, продолжал я неоглядкой бежать и, сколько помнится, начал уж третий молебен сулить, как, нечаянно оглянувшись, позади себя в некотором расстоянии идущего с фонарем человека увидел. Мне в первом ужасе он не инако, как караульщиком показался, и малодушие мое было столь велико, что я чуть было

не упал на месте, но, опамятовавшись, увидел, что то был посторонний. Итак, отдохнул я несколько от своего страха и достиг потом благополучно до генеральского дома, откуда я уже не пошел один домой, но ночевал тут с г. Тороповым, несмотря что б обо мне дядя мой ни подумал. Сей и в самом деле был в сумлении, чтоб со мной чего не сделалось, и послал несколько людей меня искать; поутру же, как я пришел, дал мне изрядную погонку.

Вот вам, любезный приятель, мое приключение. Более сего не случилось со мной ничего в особливости примечания достойного, чего ради, возвратясь опять к делу, расскажу вам остальное о тогдашнем моем пребывании в Петербурге.

Между тем, как все сие происходило и я вышеупомянутым образом ходил по-прежнему учиться всякий день к г. Маслову, считали мы с дядькою почти все дни и минуты и горели нетерпеливостью дождаться скорее лошадей из Пскова от сестры моей. Уже наступил сентябрь месяц, и нам казалось, что уже время бы им и быть, но как они не ехали, то сие начинало уже нас и озабочивать. Со всем тем, как мы ласкали себя все еще верною надеждою, что они будут, то усугубил я мои просьбы и представления, что мне необходимо надобно скорей домой ехать, и просил дядю об отпущении меня, упоминая между тем и о генерале Маслове, а именно, будто во всем доме его говорят, что он скоро в Москву поедет. Сии просьбы и представления довели, наконец, дядю моего до того, что он, наскучивши оными, начал уже почти на то соглашаться.

В самое сие время, к великому обрадованию на-

шему, приехала за нами и столь давно ожидаемая коляска. Сестра моя, получив мое письмо и возжелав с великою нетерпеливостью меня у себя видеть, с охотою исполнила мою просьбу. При отправлении оной писала она к дяде, благодарила за содержание меня у себя и просила о скорейшем меня отпущении. Сие показалось ему очень странно и удивительно, и он догадывался, что это делалось по моим проискам; однако я в том запирался, да и сестра, по счастию моему, не упомянула о том ни единым словом.

При таких обстоятельствах вымышленное нами отбытие генерала в Москву имело желаемое действие. Дяде моему было сие хоть невероятно, однако он казался тому верить и, нехотя при том отослать сестриных людей назад порожних, решился наконец меня от себя отпустить. О, какая была для меня тогда радость! Я вспрыгался, услышав о том от дяди, и побежал сообщать дядьке моему сие известие, но радость сия по справедливости была ребяческая и основанная на глупости.

По изготовлению всего к отъезду поехали мы с дядею моим к генералу для объявления ему, что мне необходимо в дом отправиться надлежало и чтоб принесть ему за оказанное им нам благодеяние должное благодарение. Вы не поверите, любезный приятель, сколько мучит меня и поныне совесть при воспоминании сего случая; я обманул того родственника, старающегося обо мне, как о сыне, и желающего употребить все возможное в мою пользу. Но тогда казалось мне сие безделицею, и я бесчувствительно смотрел на тот стыд, который дядя мой принужден был вытерпливать в бытность свою у генерала и чего

оба мы с дядькою не могли предвидеть; ибо дядя тотчас в разговорах упомянул, что берет меня от учителя более и для того, что его превосходительство намерен вскоре отправиться в Москву. Сие привело генерала в немалое удивление, и он не мог от смеха удержаться; дядя мой краснел и не знал, что сказать, когда услышал, что того никогда и на уме у генерала не бывало. Но как бы то ни было, но дяде казалось уже неприлично переменить свое намерение, почему, поблагодарив и распрощавшись, поехали мы назад в квартиру, где принужден я был вытерпеть от дяди моего превеличайшую гонку. Но я достоин был розог, а дядька мой плетей, и я тужу и поныне, что он меня за то хорошенько не высек.

Таким образом отбыл я и от сего последнего моего учителя, ибо после него уже я не имел никакого и окончил свое учение слишком рановременно. В немецком языке, живучи и в сей раз в Петербурге, я ничего не поправился, но паче еще больше позабыл из оного, а и французский не совершенно выучил. Самую геометрию, к которой я великую охоту получил, не мог я, за отбытием моим, окончить. Итак, видите из сего, любезный приятель, что я формальным образом весьма немногому в малолетстве учен был и что сие немногое учение весьма бы не в состоянии было приобресть мне потом имя ученого человека, если б после того не способствовала много к тому врожденная во мне склонность к наукам и некоторые другие обстоятельства. Ибо хотя бы положить, чтоб я помянутым обоим языкам, также арифметике и геометрии и совершенно был выучен, но все сие единственным только преддверием к пря-

мым наукам почесться может; и те крайне обманываются, которые в том всю уже ученость полагают и знающего по-немецки и по-французски уже ученым человеком называют, хотя такой человек весьма еще отдален от того, чтоб мог по справедливости носить имя ученого человека.

Вскоре после того, распрощавшись с дядею моим и принеся ему за все милости его достодолжное благодарение, отправился я из Петербурга и поехал к сестре моей. А как сим кончилась вся моя подвластная жизнь, то окончу и я сие письмо, сказав вам, что я есмь, и прочая.

ЕЗДА ВО ПСКОВ И ПРИБЫТИЕ В ДЕРЕВНЮ ОПАНКИНО

ПИСЬМО 19-е

Любезный приятель! Таким образом, сделавшись над поступками совершенным властелином и отправившись в путь, продолжал я путешествие свое не без скуки, а особливо по причине тогдашней осенней погоды и наступающей уже стужи, ибо было сие уже в начале октября месяца. Привыкнув уже некоторым образом ко многолюдству, скучно мне было тогда одному, и потому препровождал я время свое в распевании и тананакании* любовных песенок, выученных и затверженных мною в Петербурге и в читании печатной трагедии «Аристоны»**, которая, не помню по какому случаю, мне досталась и была первая, которую я в жизнь мою читывал. Впрочем, ехал я с наполненною самолюбием головою. Я уже упоминал, что, живучи в Петербурге, навык я не-

---

*Мурлыкать, напевать про себя.

**Не «Аристона», а «Артистона» — одна из первых после «Хорева» трагедий знаменитого писателя XVIII века А. П. Сумарокова (1718 — 1777). Появилась в 1750 г. и была разыграна в Петербурге в кадетском корпусе и затем во дворце кадетами — любителями драматического искусства.

сколько светскому обхождению и лишился многих деревенских грубостей. Сие исправление было мне сведомо, но я увеличивал оное уже слишком много в моих мыслях и почитал себя уже совершенно светским и обхождение знающим человеком, и думал тем удивить весь сестрин околодок. Однако в самом деле я слишком много обманывался и был еще не что иное, как застенчивый и стыдливый ребенок, имеющий о светском обхождении первейшие только понятия. Но как бы то ни было, чрез несколько дней приехал я благополучно в Новгород, а оттуда — во Псков, а потом, 12 октября, и в дом к моему зятю, господину Неклюдову, отстоящему от Пскова верст за 80.

Хотя приезда моего тут и ожидали и он был не нечаянным, однако радость была не меньше, как при неожидаемом: сестра и зять мой приняли меня чрезвычайно приятно, а особливо первая была очень рада. Я могу сказать, что сия сестра любила меня во всю жизнь очень горячо и по смерти моей матери была мне вместо оной. Она, увидев меня тогда впервые по кончине наших родителей, не могла без слез меня встретить. Мужем ее, а моим зятем, был я не менее доволен; он был совсем отменного сложения, нежели меньшой мой зять, и, имея несравненно лучший нрав, почитался всеми тихим, смирным, добронравным и дружелюбным человеком. Он, любя сестру мою и живучи с нею в совершеннейшем согласии, принимал и меня всегда так, как надобно толь близкого родственника.

Я нашел их прямо благополучную деревенскую жизнь препровождающих; все у них было хорошо и

все порядочно: домик изрядный, соседство довольное и их любящее, достаток хороший, всем они были довольны и всем изобильны. Одного только им недоставало, а именно детей; все бывшие до того помирали еще в самом младенчестве, и судьбе не угодно было утешить их сим даром. Правда, в тогдашнее время был у них один мальчик, но сестра моя никак не думала, чтоб и сей остался в живых; она родила его за несколько времени перед моим приездом, и его звали Михаилом.

По свойственному всем женщинам суеверию, чего и чего она ни делала для мнимого сохранения детей в живых: и образа-то по мерке с рожденного писывала, и четыре-то рождества на одной иконе изображала, и крестить-то заставляла первых встретившихся и прочее тому подобное, но все не помогало. Наконец сказали ей, что надобно в отцы и матери крестные таких людей сыскать, которые бы точно таких имен были, как отец и мать родные, и точно тех ангелов. Сие постаралась она сделать при крещении сего сына, и потому крестили его один из их лакеев, который по случаю имел точное имя зятя моего, а в кумы насилу отыскали одну маленькую крестьянскую девчонку. Вот до каких глупостей доводит нас иногда суеверие и какими вздорами хотим мы власно как насильно приневолить творца сделать то, что нам хочется! Со всем тем мальчик сей остался жив и сделался потом единым их наследником — обстоятельство, происшедшее, верно, не от того, а от воли небес, но могущее многих женщин утвердить в сем суеверии.

Не успел я, приехавши к ним, еще осмотреться, как принужден был вместе с ними готовиться к од-

ному знаменитому торжеству. Случилось так, что через день после того была сестра моя именинницею. Зять мой, будучи по тамошнему месту неубогий дворянин, имел обыкновение все такие дни праздновать отличным образом, и потому застал я их делающих к тому все нужные приуготовления. Как мне сказали, что у них в сей день множество гостей будет, то, мечтая в уме своем, что мне при сем случае можно будет себя показать, велел и я разбираться и приготовлять для себя наилучшее мое платье; дядя приказал мне сшить оное пред самым почти моим отъездом, и оно было тогда самое модное и довольно богатое. Но, о, если б ныне убрать кого-нибудь в таковое, каким бы шутом он нам показался! Было оно синее суконное, с белыми большими разрезными обшлагами и белыми суконными же камзолом и исподним платьем; пуговицы повсюду гладкие золотые, а петли по всем местам обшиты широкими золотыми битными балетами*. Зять и сестра расхваливали оное в прах, и последняя была в особливости рада, что ей не стыдно будет показать меня гостям своим.

Торжество было и в самом деле нарочито великое: сколько ни было в ближнем соседстве дворян, все присутствовали на оном и пробыли не только весь тот день, но и другого половину**...

---

*Тесьмой, галуном.

**Описав всех гостей и нарисовав картину званого вечера, Болотов говорит о своем смущении: ему пришлось открыть танцы, поддавшись уговорам присутствующих и настояниям дочери одного из гостей.

... Между тем, как мы сим образом упражнялись в танцах, боярыни занимались карточною игрою; любимая у всех и лучшая игра была тут «памфел». Что ж касается до господ, то сии упражнялись, держа в руках то и дело подносимые рюмки, в разговорах, а как подгуляли, то захотели и они танцами повеселиться. Музыка должна была играть то, что им было угодно, и по большей части русские плясовые песни, дабы под них плясать было можно. Не успели сего начать, как принуждены были и боярыни покинуть свои карты и делать им компанию. К музыке присовокуплены были потом и девки со своими песнями, а на смену им, наконец, созваны умеющие песни петь лакеи; и так попеременно, то те, то другие утешали подгулявших господ до самого ужина. Но никто из гостей так мне в сей вечер не надоел, как помянутый Брылкин. Человек он был самый неуклюжий, но шутливый, во весь вечер все сватал мне и рекомендовал невест и советовал жениться у них во Псковщине; а как ничем меня, как застенчивого ребенка, так скоро в стыд и смущение привесть было не можно, как сим пунктом, то надоел он мне, как горькая редька, и я принужден был от него даже бегать и скрываться.

Гости все у нас ночевали и на другой день обедали и не прежде разъехались как уже перед вечером. Для меня торжества сего рода были до того времени совсем необыкновенны, ибо в наших местах подобных тому я никогда еще не видывал, и они мне полюбились.

Через день после того званы мы на такой же обед к маленькому г. Сумороцкому, живущему от зятя

моего версты только четыре. Я охотно поехал туда вместе с сестрою и зятем. Тут были все те же гости, которые были у нас, и была опять музыка и танцованье. А через несколько дней после того звал нас всех г. Брылкин, и как он жил несколько подалее, то мы у него не только обедали, но также и ночевали. А не успело несколько дней пройтить, как приехали звать также от старика г. Сумороцкого; сей хотел также всех соседей угостить, и можно сказать, что удовольствовал всех до избытка.

В сих торжествах, съездах и увеселениях нечувствительно протекло недели две времени; я столько занят был оными, что не видал, как они прошли. Наконец вспомнил я, что мне время помышлять уже и об отъезде в дом. Но не успел я упомянуть о сем, как сестра мне и говорить не дала.

— И статошное ли дело, братец, чтоб я тебя прежде зимы домой отпустила? И не говори-таки мне о том!

А зять подхватил:

— Поживи, братец, у нас и повеселись с нами; что тебе одному дома делать, а у нас не скучно. Вот на сих днях начнется у нас звериная ловля тенетами; ты не видывал оной, и тебе забава сия полюбится. Мы условились уже, чтоб съезжаться нам послезавтрева для начала. Ну, как не быть тебе с нами? Пожалуй, сударь, погости у нас. Мы тебе очень рады, а и все соседи наши тебя полюбили.

Что мне тогда было делать, и как можно было не согласиться? Помянутое увеселение в самом деле началось вскоре и мне столько полюбилось, что я никогда не скучал езжать с ними вместе на сию охоту.

Производится она там особливым образом. Поелику места там наиболее лесистые, то охотники выбирают некоторую часть леса, о которой надеются, что в ней зверей довольно, окидывают оную с одной стороны премножеством тенет полуциркулем или дугою, а потом главный ловчий набирает колико можно более людей и ребятишек с трещотками и обстанавливает ими все прочие стороны назначенной части леса, становя их не на далекое друг от друга расстояние и так, чтобы все они с тенетами составили превеликий и обширный круг и захватили множество леса. Все сие производит он с превеликим молчанием и без всякого шума, и всякому человеку дает наставление, в которую сторону ему потом иттить, сам же становится посредине оных. Между тем другой расстанавливает таким же образом господ за тенетами внутри охваченного круга и сажен на пять от тенет, а сажен на двадцать друг от друга. Каждого становит он лицом к тенетам и для каждого выбирает такое место, чтоб он сзади прикрыт был каким-нибудь кустарником. Потом дает каждому наставление, что ему делать, а именно — чтобы стоять тихо и смирно и отнюдь не шуметь, и увидев зверя, прежде не кричать, покуда он его не пробежит уже мимо и между им и тенетами находиться будет. По учинении сего всего, подает главный ловчий сигнал, и тогда вдруг все расстановленные с трещотками люди поднимают превеликий вопль и крик и трещат в свои трещотки и, выпугивая зверей из всех кустов и трущоб, мало-помалу начинают иттить в сторону к тенетам и между собою сближаться так, чтоб всем им вдруг приттить к тенетам. Звери, услышав вдруг такой

крик и шум, натурально перетревоживаются и бегут в ту сторону, где нет крика, не зная, что там дожидаются их тенета и самые ловцы. Они бегут без всякого опасения и столь спокойно, что иногда меньше нежели на сажень пробегают мимо стоящих за кустами охотников. Но тогда сии вдруг на них ухают и кричат и тем так их перепугивают, что они без памяти бросаются прямо в тенета и запутываются в оных; тут прибегает к ним охотник и берет его либо живьем, либо прикалывает.

Мне случалось самому стаивать сим образом позадь тенет и нередко иметь удовольствие видеть пробегающих мимо себя зайцев и вгонять их в тенета. С каким удовольствием слушаешь, бывало, начавшийся вдали и вдруг, и в разных сторонах, и час от часу ближе приближающийся крик и трещание трещоток! Вся величина обхваченного круга и части леса сделается тогда ощутительна для всякого; но каким нежным трепетом начинает у каждого трепетать сердце, когда трещотки начнут приближаться и приходит время зверям бежать! Стоишь, бывало, не кукнешь и, сжав сердце, смотришь на бегущих иногда подле самого тебя зверей и, завидев тенета, употребляющих иногда всякие хитрости к спасению себя от них. И какое удовольствие бывало тогда, как вдруг криком испугаешь зверя и выгонишь в тенета! Никогда не случалось того, чтоб мы, выехав на сию ловлю, не наловили и не привезли с собою к боярыням множество зверей.

Сии съезжались обыкновенно к вечеру в тот дом, который случался ближе к тем местам, где у нас производилась ловля, и тогда тут и препровож-

дали мы тот вечер в разных увеселениях и ужинывали.

В сих и подобных сему и беспрерывных увеселениях прошла у нас неприметно вся достальная осень; а что было далее, упомяну в письме последующем, сказав вам между тем, что я есмь, и прочая.

В ОПАНКИНЕ

ПИСЬМО 20-е

Любезный приятель! Наконец наступили морозы и выпал снежок. Как сие, так и отъезд г. Сумороцкого из тамошних пределов в настоящее свое жилище прервал наши прежние увеселения, однако вместо того начались у нас новые упражнения и забавы. Зять мой был превеликий охотник до рыбной ловли. Наилучшую из всего года рыбную ловлю производили у него по первому и самому еще тонкому льду, и сего времени дожидался уже он с великою нетерпеливостью. Верст за двадцать от него находилось одно нарочитой величины озеро; было оно хотя не в его дачах, однако он имел дозволение ловить в оном рыбу. Не успело озеро сие замерзнуть и лед так толст сделаться, что мог поднимать человека, как зять мой со мною тотчас туда на несколько дней отправился. Невод у него был превеликий и сажен в триста; мне отроду не случалось видать ловление рыбы такою большою снастью, и потому зрелище сие было для меня и ново, и любопытно, и увеселительно. Великое множество людей упражнялось в сей работе; тоня захвачена была превеличайшая; иные прорубали большие и малые проруби, иные пропускали шесты и протягивали подо льдом верев-

ки, иные тянули оные воротами*, ибо по величине невода инако было не можно. Я хотя набрался сначала, ездючи с зятем в маленьких санях по тонкому и трещащему еще льду, множество страха, но заплачен был с лихвою за то неописанным удовольствием при смотрении того, как рыба бежит и от невода себя спасти старается. Прорубили для сего маленькую прорубочку за несколько десятков сажен впереди от главной и той проруби, в которую надлежало вытаскивать невод; на сию прорубку положили меня и, приказав мне смотреть в нее в воду, покрыли меня епанчою**. И что же я тогда увидел? Бесчисленное множество больших, и средних, и малых рыб бежало тогда взапуски одна пред другою, стараясь уйтить от влекомого невода. Мне их всех видеть и в точности рассмотреть было можно: темнота, производимая сверху епанчою, делала то, что в воде было так светло, как в горнице, и можно было все до самого дна видеть и малейшую рыбку рассмотреть. Зрелище таковое меня поразило, я смотрел с восхищением на все в воде происходящее и не мог разновидности, скорости и проворству рыб в беганьи надивиться; и как все они бежали от невода и некоторые только им навстречу, то сожалел я, что все они уйдут и не попадут в невод. Однако меня уверили о противном, сказав, что впереди закинуты сети и другие невода и что рыбе никуда уйтить не можно; а сие и совершилось действитель-

---

*Вал на оси, вращаемый за рукоятки.

**Широкий безрукавный плащ, бурка.

но. Я во всю жизнь мою, ни прежде, ни после, не видывал в куче такого великого множества живых рыб, какое вытащено было тогда сим неводом. Всю корму на лед вытащить не было никакой возможности: и невод бы прорвался, и лед обломился бы от тягости; принуждено было так из кормы и черпать ее черпалками и сыпать в подвозимые сани. Несколько десятков возов насыпали и нагрузили оною, и досталось довольно ее и господину, и на часть ловцам, и рыболовам.

Я вправ иззяб, смотря и любуясь сим новым и не виданным никогда мною зрелищем, и как нам притом есть хотелось, то вышли мы с зятем на ближайший берег. Тут дожидались уже нас раскладенные многие огни и повар, приуготовляющий нам из пойманных рыб обед. Во всю жизнь мою не едал я рыбу с таким аппетитом, как проголодавшись тогда, ибо обедали мы уже перед вечером; в особливости же вкусны для меня были превеликие в пол-аршина окуни, прямо из воды распластанные и по усыпании солью на угольях печеные. Словом, удовольствие наше было совершенным.

Неподалеку от сего места жил один богатый псковский дворянин, по имени Иван Иванович Темашов. Как зятю моему был он знакомец и друг, то расположились мы ехать к нему ночевать и привезть с собою воз наилучшей рыбы в гостинец. Господин Темашов, бывший тогда всю осень не очень здоровым, был нам чрезвычайно рад; он расположился тотчас сделать для нас торжество, и на другой день к обеду съехалось к нему все ближнее дворянство, и в том числе некоторые и из наших, ближе к нему

живущих. У г. Темашова было превеликое семейство, состоящее из одних дочерей, а поелику была также и музыка, то после обеда завели и танцы, и мы прогостили у него сутки-двое и были угощением его очень довольны. Между тем готовили на озере другие тони; мы заезжали на оное в самое то время, когда вытаскивать было надобно, и имели удовольствие видеть еще множайшее количество рыб пойманных, так что мы возвратились к сестре моей с богатою добычею. Рыбы не только на весь пост довольно было всему двору, но и великое множество оной еще и продано и раздарено соседям.

Вскоре по возвращении из сего краткого путешествия выпал большой снег и сделалась совершенная зима. Дядька мой отдыху мне не давал, чтоб я поспешал домой ехать, но мне уже не таково усильно туда ехать хотелось: я привык к тутошним увеселениям и забавам, и мне жить у сестры было нимало не скучно. Со всем тем не преминул я однажды упомянуть, что мне время бы и домой ехать, но сестра и зять мой, привыкнувши ко мне и будучи сообществом моим довольными, не только старались отъезд мой еще оттянуть, но и уговаривать всячески, чтоб я прожил у них всю зиму и дождался весны и лета. Они употребили все, что можно было, к преклонению меня к сему их желанию: они представляли мне, что и ехать зимою холодно, и жить мне в деревне зиму одному будет скучно, и делать мне там вовсе нечего и так далее. Словом, они насказывали мне столько резонов и присовокупили к сему столько ласк и убедительных просьб, что я наконец согласился и дал им слово пробыть у них до весны, чем

сестра моя чрезвычайно была обрадована и меня впрах за то расцеловала.

Таким образом, расположившись остаться у них до весны, начал я препровождать зиму в разных упражнениях. Как в сие время съезды и свидания с соседями и деревенские увеселения хотя и продолжались, но не так часто, как прежде, то я прочее время делил наиболее с зятем и сотовариществовал ему во всех его упражнениях. Зять мой хотя не имел склонности к наукам и в молодости своей кроме грамоты ничему учен не был, но зато имел он природную склонность и охоту ко всяким мастерствам, рукоделиям и художествам и потому имел в доме у себя разных мастеров и художников. Были у него столяры и токари, был изрядный резчик, кузнец, слесарь, седельник, несколько человек ткачей, портных, сапожников и других подобных тому мастеровых и рукодельных людей; словом, он любил, чтоб у него все люди были в упражнениях и не праздно хлеб ели, а нередко и сам кое в чем из мелочей упражнялся и что-нибудь шишлял*, мастерил и делал. У него были целые ящики всякого рода собственных своих инструментов, и часто случалось, что он по несколько часов просиживал, либо обтачивая что-нибудь, либо сгибая, и прочее тому подобное; в особливости же был он великий мастер делать из игол рыболовные крючки с зазубрями, которые были ему и надобны, по причине, что он превеликий охотник был до ужения удами рыбы.

---

*Шишать, шишить, шишкать, шишлять — копаться, возиться.

Как зять мой по сей склонности и охоте своей к художествам имел обыкновение почти всякий день ходить и осматривать упражнения и работы своих мастеровых, то хаживал и я вместе с оным. Сии частые посещения оных не только меня увеселяли, но послужили мне в особливую и такую пользу, какой я нимало не ожидал. Я не только узнал все сии до того мною невиданные работы и мастерства и не только получил об них понятия, но нечувствительным образом к некоторым из них получил и сам склонность и охоту; в особливости же полюбилось мне токарное и резное художества. Случилось, власно как нарочно для моей пользы, так, что у зятя моего в доме делали богатый в церковь иконостас, украшенный многою резьбою, и употреблены были к тому не только свои, но и многие нанятые посторонние и хорошие мастера. Я не мог довольно налюбоваться проворством их работы и хаживал почти всякий день смотреть оную; временно бирал я и сам их долоты и на негодных дощечках испытывал подражать их искусству. Таковую же охоту произвело во мне к себе и токарное художество. У зятя моего хотя простой, но изрядный токарь; он утешал меня нередко, вытачивал мне разные безделушки и, производя работу сию при мне, вперил в меня и в самого охоту к сему рукомеслу. Я выпрашивал у него иногда долоты и резцы, при руководстве его испытывал и сам точить и в короткое время научился и сам кое-что вытачивать.

Но ни которая работа и мастерство так мне не полюбилась, как одно особливое, производимое одним посторонним человеком, случившимся тогда,

не помню по какому случаю, у моего зятя. Сей человек делывал из простой бересты табакерки, стаканчики, кружечки и круглые стамушки* с таким искусством и умел так хорошо наружность оных украшать особливого рода чеканною работою, что я довольно надивиться не мог, как и все тогда сей работе его дивились и ее хвалили. Мне она так по куриозности своей полюбилась, что я возгорел желанием оной сам научиться; мы уговорили с зятем мастера, чтобы он нам открыл свое мастерство, и он на то согласился.

Производится оно особливым образом: всякая такая посудинка делается толщиною в три бересты, две полагаются поперечно, а третья и средняя стоймя, для отвращения, чтоб те не коробились. Для внутренней употребляется береста цельная и неразрезанная, судя по величине судна, какое делать предпринимается, и потому сколь толсту и широку быть ему надобно, выбирается такой величины и толстоты обрубок сырого березового дерева, имеющего на себе гладкую и хорошую бересту. Сия береста с него не сдирается, но снимается цельною трубкою, что не инако произвести можно, как выколачиванием изнутри обрубка всего дерева, так чтоб береста одна осталась целою. Цельность внутренности надобна для того, чтоб не могло ничего вытекать из судна жидкое; для верхней же оболочки выбирается самая лучшая и гладкая и вычеканивается разными узорами. Сия чеканная работа производится маленькими жимоло-

* Посуда для дегтя.

стными палочками, у коих на концах вырезаны разные фигуры, как, например, полуциркули, треугольнички, звездки и прочие тому подобные, и расположенные так, чтоб, при наставлении палочки на бересту и при ударении в другой конец ее молотком, выпечатывалась на бересте довольно возвышенная фигурка. Разнообразных таковых, и маленьких и больших, палочек наделано превеликое множество, дабы тем лучше можно было употреблять разные фигуры и ими выводить разные каймы и разводы; наконец, все достальное пустое место между фигур и разводов натыкается тремя вместе связанными иголками, и как сие накалывание производится сплошь и очень часто, то сие самое и придает вид чеканной работы. По изготовлении сей верхней бересты складываются все три вместе и сшиваются искусно самыми тонкими расколотыми и оскобленными сосновыми корешками, в особливости же обрезы и края берест обшиваются сплошь оными и так искусно, что за ними оных вовсе не видать; а похожим на сие образом делаются и крышки. Что ж касается до донышков, то оные делаются из тонких липовых лощечек и вставливаются в разваренные в горячей воде края судньшка, дабы тем крепче они сидели.

Удобопонятность и любопытство мое помогло мне перенять искусство сие очень скоро, так что я через короткое время мог всякие безделушки делать из бересты ничем не хуже мастера, и многие вещицы и фигуры еще сам выдумал и присовокупил от себя, чем учитель мой был так доволен, что подарил меня своими всеми чекаками и инструментами, что служило к великому моему удовольствию и привело меня в

состояние предпринимать дело сие всегда, когда мне было угодно, и оным на досуге забавляться.

Кроме сего, получил я тут начальный вкус и охоту к музыке. Столяр зятя моего умел бренчать на гуслях, но гуслях такого рода, каких я нигде после уже не видал: они были только девятиструнные, маленькие и особливого сложения. И хотя по гуслям была и игра, то есть весьма, весьма посредственная, однако она мне полюбилась, и тем паче, что казалось мне нетрудно ее перенять было. Я и действительно ее перенял, и учитель так был удобопонятием моим доволен, что сделал для меня новенькие и с лучшими украшениями гусельки, нежели каковы его были.

Вот в чем и в каких упражнениях препровождал я праздное и досужное зимнее время. По особливому распоряжению судеб и неожиданному стечению обстоятельств случилось так, что дом зятя моего сделался для меня таким же училищем рукоделий и художеств, каким был Петербург для наук. И я могу сказать, что сколь ни мало было все то, что я заимствовал тут из художеств, но и сие немногое послужило мне потом в великую пользу и заохотило упражняться в том далее и проводить знания мои в лучшее совершенство.

Кроме сего, любопытное для меня зрелище тут было трепание и приуготовление льна на продажу. Известно, что псковские дворяне наилучшие свои доходы получают от продажи своих льнов, которые они доставляют наиболее в Нарву для отпуска за море. Поелику зять мой имел изрядные деревни и льну не только сам множество сеял, но и скупал оный у своих и у соседственных крестьян, то в сие осеннее

время лен сей у него наемные мастера трепали, перечищали и в те опрятные и прекрасные тюки вязали, в каких он отвозится в Нарву и отправляется за море. Белизна и чистота сего длинного и хорошего льна, разбор оного наши разные руки и искусство вязания в бунты* и тюки достойно, по справедливости, любопытного зрения, и мы хаживали всякий день смотреть оное**.

Наконец, наилучшее из всех и приятнейшее для меня упражнение доставила мне одна книга, которую нашел я у моего зятя: было то описание Квинтом Курцием жизни Александра Македонского. Я не мог устать ее читаючи и прочел ее раза три на досуге между прочих дел, и получил многие понятия через то о войнах древних греков и тогдашних временах***.

Между сими разными упражнениями и не видали мы, как прошел весь Филиппов пост и наступили Святки с Новым годом (1753).

По наступлении сих возобновились опять наши съезды и компании то в том доме, то в другом, и везде, где ни случалось быть собраниям, препровождаемы были вечера в разных святочных играх, пении песен, загадываниях, играниях в фанты, плясании и тому подобном. К тому присовокупляемы были маленькие зрелища, обыкновенные в тамошних пределах. Наряжаются люди иные журавлями,

---

*Бунт по-немецки — связка, кипа, тюк. Лен бунтовой — т.е. продающийся бунтами.

**См. примечание 7 после текста.

***См. примечание 8 после текста.

другие — козою с разными украшениями и погремушками; таковую козу с превеликою свитою водят по всем дворам, заставливают ее прыгать и скакать и припевают песни: зрелище хотя самое вздорное и глупое, но для тамошних деревенских жителей довольно смешное и приятное.

Съезды сии продолжались гораздо и за святки и почти до самой масленицы, а тут начались увеселения масленичные; с великим же постом принялись мы за богомолие, а потом за мастерство и рукоделия и за прежние наши упражнения, и в том и не видали, как прошел и он.

Наконец наступила Святая неделя, и стала приближаться весна. Праздники сии препроводить принуждены мы были одни, потому что случившиеся в самое то время половодь и разлитие рек воспрепятствовали нам видаться с нашими соседями. Мы старались уже недостаток сей наградить домашними и святой неделе свойственными увеселениями. Одно только обстоятельство было для меня весьма досадно, а именно, что церковники поют в сих местах «Христос воскресе» и прочее совсем на иной и весьма дурной голос и как-то неловко, так что праздник сей и служба мне и в половину не таков был весел, как в других местах.

По слитии полой воды и вскоре после святой недели подвержен я был нечаянно одной великой опасности. Собрались мы однажды ехать в гости к ближнему соседу, и мне приди охота ехать верхом, а что того хуже, на зятнином стоялом жеребце, о котором уверяли меня, что он пресмирная скотина. Но оттого ли, что он всю зиму стоял и тогда впервые на воле

себя увидел, или оттого, что я был слишком легок и малосилен к удержанию его, или так уже мое несчастие хотело, что не успел я на нем из деревни выехать, как он и взял волю и усилился так, что я никак уже сладить с ним не мог; он закусил удила и понес меня изо всей силы. Сестра, ехавшая позади меня с зятем в коляске, обмерла, испужалась, как сие увидела. Она подняла ужасный вопль, но сие еще пуще жеребца моего подстрекнуло. Я сам ни жив, ни мертв был от страха, но по крайней мере имел столько понятия и рассудка, что не выпустил повода из рук и держался на нем колико можно крепче коленами. Но все бы не помогло и он сбил бы меня с себя, если б, по особливому моему счастию, не случилось скакать ему сим образом по прямой и огражденной с обеих сторон пряслами* прошпективной дороге, ведущей прямо к зятниной мельнице, построенной на реке и довольно хорошей. Сие обстоятельство причиною тому было, что не могла она никуда свернуть в сторону, но принуждена была скакать прямо к мельнице, а тут я имел столько духа, что управил ее прямо на узкий и с обеих сторон перилами огражденный отлогий помост, по которому въезжали в верхний этаж мельницы, так что она, вскакав на сей помост, остановилась сама как в стойле и не могла ни направо, ни налево повернуться; а тогда подбежали тотчас случившиеся на мельнице люди и ее схватили.

---

*Прясло — собственно звено изгороди, от кола до кола, от столба до столба; здесь: жердь.

Сим образом кончилась сия комедия, наведшая на всех на нас превеликий страх и ужас, и я не имел более никакого вреда, кроме одного испуга. Кроме сего случая не помню я, чтоб иное что дурное в тогдашнее мое пребывание случилось со мною.

По наступлении весны начал я мало-помалу готовиться к отъезду, или паче сестра собирать меня в мое дальнее путешествие; однако то за тем, то за сим отъезд мой не так скоро воспоследовал, как мы думали, но я прожил у сестры моей не только всю весну, но захватил и частичку лета.

Сие достальное время препроводил я наиболее в надворных увеселениях и забавах. Не успела весна вскрыться и снег сойтить, как выпросил я у зятя моего дозволения съездить с охотниками его в лес и испытать новые его тенета, вывезенные только в ту зиму. Зять мой, будучи тогда сам не очень здоров, охотно мне то позволил. Ловля наша была нарочито удачна: мы поймали несколько зайцев. Но я без умысла навлек на себя при сем случае от зятя моего досаду. Догадало меня первого зайца, которого самому мне удалось вогнать в тенета, взять живьем. Мне не захотелось его как-то в ту минуту приколоть, но я думал, что сделаю домашним нашим тем более удовольствия, что привезу его живого; но вместо того зятю моему было сие крайне досадно. Он говорил, что я тем испортил его все тенета, ибо у них ни под каким видом первого зайца живьем не берут, но новые тенета стараются скорее обагрить звериною кровью.

— Ну, не знал же я того, — сказал я, — и на что ж вы меня в сем случае не предостерегли и наперед того не сказали?

В другой раз подговорили меня стрелки и охотники его иттить в лес стрелять дичину. Но сие препровождение времени мне как-то не полюбилось — может быть оттого, что охота наша была не слишком удачна. Мы с утра до вечера проходили по лесам, измучились и устали впрах и не нашли ни одного тетерева и ни одной птички, и нам принуждено б было с пустыми руками иттить домой, если б наконец не наткнулся сам на меня один заяц. Мне дано было уже от охотников наставление, как его стрелять, буде случится увидеть, и я столь исправно исполнил оное, что положил его тотчас на месте. Сие меня несколько обрадовало; однако сие было в первый и в последний раз в моей жизни, что я застрелил дикого зверя, ибо как мне сим образом по лесам ходить показалось слишком скучным, то я с того времени никогда более с ружьем стрелять не хаживал.

Напротив того, лучшее и приятнейшее упражнение находил я в рыбной ловле. Зять мой был превеличайший охотник до оной, а особливо до ловления удами. К сей, можно сказать, был он совершенно страстен, и я не видывал никого, кто б мог иметь столько терпения и самопроизвольно переносить столько беспокойства и трудов, сколько он. Целые ночи напролет просиживал он на маленьком челночке посреди реки и по несколько иногда часов дожидался, покуда язь или иная какая-нибудь большая рыба придет и хватит его уду. Один только небольшой малый сотовариществовал ему обыкновенно в сих ночных его путешествиях и переездах на челночке своем с места на место по реке; но и сей сидел и ходил по берегу и при-

уготовлял ему обчищенные шептальцы* раков, которыми он вместо червей свою рыбу лавливал. Сперва, расхваливая всячески сию ночную ловлю, старался он и меня к тому же заохотить, однако я не мог никак найтить в том вкус и иметь столько терпения, а для меня приятнее было ловить днем маленьких то и дело хватающих рыбок. Да и в самом деле, что за удовольствие просидеть всю ночь одному на воде, а потом весь день спать и не пользоваться приятною вешнею погодою, а что всего досаднее, дожидаться иногда с целый час, покуда клюнет уду рыба? Волен Бог и с его большою рыбою, и с довольным количеством оной, какое иногда он по утрам принашивал с собою! Однако случалось нередко, что возвращался он с пустыми почти руками, и тогда ложился он уже с досады скорее спать и спал до самого обеда, а потом принимался опять за то ж до самого вечера. Словом, мы в сие время его почти и не видали.

Между тем, как он сим образом занимался своим ужением, предоставляя о домашней экономии хлопотать и заботиться одной моей сестре, упражнялся по большей части и я в том же, но иным только образом. Зять мой снабдил меня крючками, удами и всеми прочими мелкими рыболовными снастями, которые у него, как у отменного охотника, были самые щегольские. Имел я также свой собственный и прекрасный челночок, поднимающий только одного человека и чрезвычайно легкий;

---

* Измененное «щупальцы» — клешни.

ребятишек для услуг моих мог я брать сколько хотел и с ними всюду ходить.

Река Лжа, на которой сидело его селение, была самая прекрасная и весьма рыбная; она была нарочито широка и, обтекая селение, производила течением своим превеликий полуциркуль, простирающийся до самой его прекрасной мельницы. Итак, наилучшее утешение мое было разъезжать и разгуливать по сей части реки на моем челночке и, приставая в заводях и в других местах, уживать рыбу. Однако все сие ужение не так много меня утешало, как ловление щук иным образом и так называемою «дорогою». Делается нарочитой величины и толстоты железный крюк с зазубреею и приковывается тупым концом к небольшой продолговатой и желобком несколько выгнутой бляшке, сделанной из желтой меди; а в том месте, где край бляшки соединяется с крюком, привязывается маленький лоскуток аленького суконца, а к другому концу бляхи прикрепляется предлинный и крепкий шнур, взмотанный на вертящуюся шпулю, так как бывают у плотников шнуры их. Вот инструмент, которым производится сия ловля. Надобно ехать на челночке вверх реки и, пустив крюк в воду, спустить весь шнур, а потом другой конец оного ухватить крепко в зубы и так плыть. Во время сего плавания на челночке крюк, будучи тащим шнуром, в воде вертится и представляет точно бегущую скоро в воде плотичку или рыбку. Щука, завидев ее и сочтя ее рыбкою, хватает ее на бегу, но сама попадает тотчас на крюк, от чего рыболов чувствует в самый тот момент в зубах у себя ма-

ленький удар. Сие доказывает ему, что на крючок его попала рыба, и тогда останавливается он, начинает свой шнур взматывать на шпулю и притаскивает щуку к самому челночку и тут ее бережно сачком подхватывает и вытаскивает вон. Сим образом лавливал я часто и нередко приваживал с собою по несколько щук.

В сих и подобных сему упражнениях протекало у нас нечувствительно время, — но наконец настало и то, в которое мне домой ехать надлежало. Зять и сестра снабдили меня своими лошадьми и повозками и дали мне двух человек для препровождения меня в дом. Они отпустили меня не инако, как с крайним сожалением; они так ко мне привыкли, что им не хотелось со мной уже расставаться. Сестре моей отъезд мой стоил много слез; она любила меня чрезвычайно и снабдила меня на дорогу и деньгами, и всем нужным. Я и сам плакал, расставаясь с нею, ибо к местам их так привык и всеми ласками их был так доволен и пребывание у них было мне так приятно и весело, что пределы их мне навсегда сделались милы и любезны, и я поныне не могу вспомнить оные и тогдашнюю жизнь без некоторого удовольствия.

Таким образом, распрощавшись с зятем и сестрою, отправился я в свой путь, который был хотя длинен и продлился недели две, однако был для меня довольно весел. Время было тогда наилучшайшее в году, жары еще не наступили, леса и поля покрыты зеленью, трава повсюду под ногами. Мы ехали себе как хотели, не имели нужды слишком поспешать, становились кормить лошадей и ночевать наиболее на полях и под лесочками, и проехали наконец бла-

гополучно в Москву, а потом и в мою деревню, и я не помню, чтоб со мною во время путешествия сего что-нибудь особливое случилось.

Сим окончу я, любезный приятель, теперешнее мое письмо, а в предбудущем расскажу вам о том, как я жил в деревне и в чем препровождал свое время; а между тем, уверив вас, что я есмь навсегда вас почитающий друг, остаюсь и прочая.

В ДЕРЕВНЕ

*ПИСЬМО 23-е**

Любезный приятель! Возвращаясь теперь к повествованию моему, скажу, что из происшествий, случившихся со мной в тогдашнее мое пребывание в деревне, не помню я никаких таких, которые б достойны были в особливости замечены быть, кроме следующих трех, не составляющих дальней важности.

Первое было то, что я однажды насмерть перепуган был ужами. Сих ядовитых гадин было как-то в нашей деревне превеликое множество в тогдашнее время. Наилучшее их жилище было под плотиною в том хворосте, которым пруды исстари были запружены. Тут имели они свои норы и лазеи, из которых вылезая в жаркое время, леживали они против солнца целыми кучами, свившись друг с другом; кроме сего, ползывали они везде и везде и живали даже в самых лучших избах. Поелику гадины сии ненапрасливы и очень смирны, ежели кто их не трогает и не раздражает, то люди наши так к ним привыкли,

---

* В опущенных письмах Болотов рассказывает о своем возвращении в Дворяниново и о жизни в родительском доме: чтении книг, изучении геометрии и фортификации, об играх и проч.

что никак их не боялись. Нередко, как рассказывали мне, случалось, что они вспалзывали на самые кровати спящих людей, однако нимало им не вредили, хотя насмерть перепугивали при просыпании и узрении оных; а однажды, как уверяли меня, случилось в доме нашем весьма странное и удивительное приключение. Одна женщина, посадив маленьких детей своих на землю в сенях, дала им горшок молока для хлебания. Во время хлебания сего где ни возьмись превеликий уж и, приползя к ребятишкам, сунул голову свою через край в горшок. Повсюду есть молва, что ужи великие охотники до молока и что нередко высасывают из коров все молоко, но чему однако трудно поверить. Но как бы то ни было, но маленькие ребятишки ужа сего не только нимало не испужались, но били его еще по голове своими ложками, не давая есть молока. В самое то время вошла в сени опять их мать и обмерла, испужалась, увидев сие зрелище: она не знала, что делать, но уж не успел ее увидеть, как пополз прочь и ушел в свою нору.

Вот история, о которой уверяли меня, что она случилась некогда в нашем доме, — однако я худо тому верю и почитаю более народною басенкою.

Что касается до моего с ними происшествия, то оно случилось во время купания в пруде. Я выше упоминал уже, что у меня была на сем пруде камяга, или наипростейшая выдолбленная из одного дерева лодка. Я достал ее для разъезжания по пруду и увеселения себя на оной плаванием, по привычке, учиненной к тому еще во Псковщине; когда же научился я при частом купании плавать и нырять, то

наилучшее было у нас обыкновение, съехавши на камяге сей на самое глубокое в пруду место, прыгать с ней в воду и, опустясь на дно, выскакивать опять на поверхность воды и влезать опять в лодку. Но что ж случилось со мною однажды при таком прыжке в воду? Не успел я дойтить до дна и ногами своими коснуться до земли, чтоб дать ими толчок об оную для скорейшего возвращения на поверхность воды, как почувствовал я под ногами нечто чрезвычайно и как лед холодное. Но каким неописанным ужасом поразилось сердце мое, когда, вынырнувши из воды, увидел я, что вслед за мною вынырнули из воды и два превеликих ужа, и один не более как на аршин, а другой аршина на два от меня. Я оцепенел весь тогда от ужаса и не знаю уже, не ведаю, каким образом догреб я до лодки и ускользнул в оную, а того меньше, как меня сии ужи и не ужалили: видно, самой судьбе угодно было меня спасти от оных, ибо оба они, вынырнув и подняв головы, с превеликим шипением, яко знаком их раздражения, поплыли прочь и через весь почти пруд к берегу. С того времени полно мне не только прыгать по-прежнему с лодки в воду, но я перестал и купаться в сем пруде.

В другой раз и вскоре после того, идучи мимо плотины, увидел я нескольких ребятишек на плотине, мечущих камешки и палочками в лежащего посреди дороги на плотине превеликого ужа и раздражающих оного. Я закричал на них, чтоб они перестали, что хотя они и учинили, но уж был уже раздражен и погнался вслед за одним из них, побегшим прямо в ту сторону, где я стоял. Боже мой!

Как я тогда испужался, а особливо увидев в первый раз от роду, как ужи раздраженные ползают: они, извиваясь кольцом, не ползают, а даже сигают*, и очень скоро и далеко. Мне не инако казалось, что он не только мальчишку, но и самого меня ужалит, и я побежал такою опрометью прочь, что сам себя не вспомнил.

Оба сии случая так меня настращали, что я всем людям и крестьянам накрепко приказал с того времени бить ужей везде, где они их не завидят, и не знаю, оттого ли или нет, но с того времени количество их знатно уменьшилось и дошло до того, что ныне в целый год редко кому удастся и одного ужа увидеть.

Другое приключение было смешное, но наведшее на меня также некоторое опасение. Состояло оно в том, что я от одной глупой привычки чуть было лунатиком не сделался. В комнате той, в которой я спал, была кирпичная голландская печь, но имеющая перед самым устьем своим приступок, на котором сидеть было можно. На сем приступке стоючи и растворив дверцы, чтобы шел дух, повадился я, ложась спать и раздевшись уже совсем, в одной рубахе греться; зимняя стужа подала мне к тому первый повод: нагревшись, бывало, досыта, и ложусь я прямо в постель. Но что же меня от сей довольно долго продолжавшейся и ежедневно повторяемой привычки отучило? Однажды, нагревшись сим образом, лег я по обыкновению спать и заснул скоро,

---

*Прыгают.

но в самую полночь пробудившись, вдруг увидел себя стоящего на упомянутом приступке у печки и греющегося.

— Господи помилуй! — перекрестясь, сказал я тогда сам себе. — Каким это образом я сюда зашел?

Ужас превеликий напал тогда на меня: я раскликал и перебудил всех спящих со мною людей, и с того времени полно мне по ночам у печки моей над душком греться. И вот такое действие может производить привычка в человеке!

Третье приключение было странное и для меня тогда весьма удивительное. Некогда в летнее время перед вечером вздумалось мне выттить одному в нижний свой сад прогуляться. Сад сей удален был несколько от всего двора и был на косогоре к реке и к вершине. Не успел я приттить в оный и взойтить на самую середину оного и самое то место, где ныне пред хоромами моими пониже цветника стоят стриженные пирамидами елки, как услышал я вдруг голос, кличащий меня по имени и по отчеству, и голос довольно громкий, и так, как бы из близи происходящий. Я тотчас ответствовал:

— Ась!

Но на мое «ась» не последовало никакого ответа. Сие меня удивило; я тотчас закричал:

— Кто меня кликал?

Но и на сие столь же мало ответа получил, как и на первое. Я повторил еще раз, но не тут-то было. Я смотреть в ту, я смотреть в другую сторону, — но никого не вижу; я кричать еще:

— Кто меня кликал? Кому я надобен?

Но не было ни от кого ни слуха, ни духа, ни по-

слушания, но господствовала повсюду тишина и совершенное безмолвие.

— Господи помилуй! — говорил я тогда, удивляючись. — Что за диковинка? Кто это меня кликал?

Но все мое удивление было тщетно. Не удовольствуясь кричанием, я стал бегать по всему саду, перешарил все его углы и закоулки, а особенно в той стороне, откуда мне голос послышался; смотрел в вершине, за вершину в рощу, в чужой сад, кричал еще несколько раз:

— Кто меня кликал?

Но нигде не было и следов человеческих и никто мне не ответствовал. Ужас тогда напал на меня. Я побежал опрометью домой, созвал всех людей, спрашивал, не был ли кто в нижнем саду, и не шел ли мимо, и не кликал ли меня, но все клялись и божились, что никого в саду и близко подле сада в то время не было и никто меня не кликал. Словом, я не мог никак отыскать и не знаю и поныне, как это случилось и кто меня тогда кликал, а то только знаю, что голос был подобный во всем человеческому и произносим был недалече от меня.

Кроме сих трех происшествий, не помню я никаких иных. Что же принадлежит до моих выездов со двора, то во все мое тогдашнее полуторагодичное жительство в деревне были они очень редки. У самой вышеупомянутой старушки госпожи Бакеевой, у которой был сын, умеющий рисовать, бывал я очень редко и более потому, что она сына своего ко мне никогда почти одного не отпускала, а сие было причиною, что я не мог сотовариществом его пользоваться. Кроме сей, была тогда еще одна старушка,

по имени Варвара Матвеевна Темирязева, к которой я временно езживал. Она происходила из нашей фамилии и была сестра родственнику моему Никите Матвеевичу Болотову, имевшему третий дом в нашей деревне, но бывшему тогда на службе и служившему в Киевском полку полковником. Старушка сия была всех старее в нашем роде и самая та, которая запомнила еще того Еремея Гавриловича, которого историю сообщил я в начале первой части моей истории и от которой я ее слышал. К сей старушке езжал я также временно и любливал слушать от нея разные повествования о старине. Также случалось мне однажды ездить с дядею моим к тому Ивану Михайловичу Дурнову, который был отцу моему наилучший друг и которого в духовной своей сделал он душеприказчиком. Однако я нашел его добреньким, но ничего почти не знающим старичком; он принял меня ласково, но был очень удален, чтоб входить в какие-нибудь до меня относящиеся обстоятельства.

Кроме сих, была еще одна очень почтенная старушка, жившая в Калитине, по имени Авдотья Игнатьевна Пущина, бывшая покойному родителю моему в некотором свойстве и имевшая двух детей: одного сына на возрасте и дочь, превеликую красавицу. Сию единственно за красоту взял за себя некто превеликий богач г. Докторов, а как он, прижив одного сына, вскоре умер, то прельстился красотою ее один из князей Долгоруковых, по имени Иван Алексеевич, и на ней женился, и так она вошла в родню знатную и большую. Что ж принадлежит до ее сына, то с ним случился особливый

казус. Вздумалось ему однажды застрелить прилетевшую на двор ворону; он, прицелившись с крыльца — хлоп, но на ружье схватило только с полки, а оно как-то не разрядилось. Рок его както восхотел, чтоб подуть в дуло ружья для узнания, заряжено ли оно, но не успел он начать дуть, как ружье разрядилось и всем зарядом выстрелило ему прямо в рот, и тем умертвило его в ту ж минуту. Приключение сие тогда во всех наших окрестностях было очень громко, и все сожалели о нем, и тем паче, что он у матери был один только сын и смертью его весь их род пресекся. У сей старушки я также несколько раз бывал, а всего чаще ездил я к церкви; в сей не пропускал я почти ни одного праздника и воскресения, чтоб не быть у обедни. Езживал же я всюду наиболее верхом, ибо езда на дрожках была тогда еще не в обыкновении и никто еще не знал сего удобного и дешевого экипажа.

К выездам же моим со двора можно присовокупить и то, что в летнее время нередко езжал я в поле увеселяться ястребиною ловлею перепелок. Старик-прикащик мой был до оной охотник и кармливал меня всегда перепелками, и я езжал с ним иногда для смотрения. Сия ловля была для меня довольно утешна, однако я и до ней не сделался охотником; важнейшие упражнения не допустили меня до этого.

Итак, наичастейший выезд и выход мой был к моему дяде. В последнее лето я так к нему, а он ко мне привык, что мы виделись всякий божий день и он не считал меня уже гостем. Обыкновенно хаживал я к

нему после обеда часу в четвертом или пятом, и как он обедывал очень рано, а в сие время имел обыкновение полудновать, то унимал* он меня всегда вместе с собою полудничать. Полудновання сии были почти точно такие же, как обеды, и состояли обыкновенно из трех или четырех блюд. Первое из оных было с куском ржавой ветчины или с окрошкою; второе с напростейшими и, что всего страннее, без соли вареными зелеными или капустными щами, — бережливость дяди моего простиралась даже до того, что он не вверял соли стряпчим, но саливал щи сам на столе; а третье составлял горшок либо с грешневою, либо с пшенною густою кашею, приправляемою на столе коровьим топленым маслом, ибо сливочного и соленого тогда и в завете никогда не важивалось. Итак, столы сии были хотя не очень сладкие и у меня дома готавливали гораздо лучше кушания, но привычка чего не делает: я понемногу привык, и полдничания сии были для меня наконец очень вкусны, и сколько думаю, оттого, что я едал тут в компании, а не так, как один дома.

Сколь редки выезды мои были со двора, столь редки были и приезды ко мне гостей, ибо кому было ко мне, как к настоящему еще ребенку, ездить? Наилучшие и частейшие мои гости были наши приходские и соседственные попы и некоторые из живущих на заводах немцев. Сей род людей был у нас в соседстве совсем особливый; они носили только на себе имя немцев, были же собственно мастеровые при

* Уговаривал.

прежде бывших тут железных заводах, живали прежде весьма хорошо; но тогда единую тень прежней жизни имели и питались более винную продажею и корчемством*. Из них были некоторые изрядные и неглупые люди, и я всегда посещением их бывал доволен.

В таковых-то упражнениях и сим образом препровождал я свои тогдашние дни. Жизнь моя была хотя прямо уединенная и от сообщения с прочим светом совсем удаленная, но я так к ней привык, что она сделалась мне весьма и так приятна, что я и поныне не могу вспомнить ее без чувствования некоего особливого удовольствия.

Наконец стала наступать уже осень, и с нею приближаться то время, в которое надлежало мне явиться к полку своему; уже надобно было помышлять и об отъезде своем на службу и понемногу к тому готовиться. Отпущен я был глухо — до шестнадцатилетнего возраста, без точного означения года, месяца и числа, в которое мне явиться к полку надлежало. Итак, хотя помянутые шестнадцать лет имели совершиться октября 17-го дня сего года, однако думал я, что мне прежде нельзя ехать, как по первому зимнему пути, и что не великая будет важность, если несколько и просрочу. Мнение, что в полку точного дня моего рождения неизвестно, утверждало меня в сей надежде.

Но чем ближе сие время приближалось, тем более

---

*От корчма (от корец — ковш) — кабак, заезжий и постоялый двор со спиртными напитками.

начинал я озабочиваться тем, что в течение сих полутора годов, которые прожил я в деревне, оба мои выученные иностранные языки, то есть немецкий и французский, были мною опять совершенно почти забыты. Обстоятельство, что я с самого отъезда моего из Петербурга не имел ни единого случая, с кем бы мог хоть единое слово промолвить по-французски, а в говорении немецких слов не имел даже с самого отъезда из Бовска и почти шесть лет ни малейшего упражнения, было тому причиною, что я при окончании сего года не умел обоими сими языками ни единого слова пикнуть. Вот что может произвесть отвычка и долговременное неупражнение в разговорах!

Но что касается до разумения сих языков, то я не совсем оного лишился: я умел ими читать и писать и разумел много из читаемого, и мое несчастие было, что я не имел никаких у себя немецких и французских такого рода книг, которые я мог бы читать с любопытством: например, исторических или романов. Через сие чтение мог бы я не только оба сии языка не позабыть, но привесть их еще в лучшее совершенство, ибо известно, что ни чрез что не можно им так научиться, как чрез любопытное чтение. Но тогда таковых книг и в России у нас было мало, а мне и подавно взять было негде: вся моя иностранная библиотека состояла только в нескольких учебных книгах, а именно — в двух лексиконах, двух грамматиках и немецкой географии; а все сии удобны ли к такому чтению и не скорее ли наскучить, нежели заохотить могут? А точно так случилось и со мною: я хоть кой-когда и бирал их в руки, но

другие и любопытнейшие упражнения вырывали у меня оные опять из рук и заставливали лежать их с покоем.

Таким образом, забвение сих языков меня очень озабочивало. Я встрянулся, но уже поздно, что это дурно, ибо не сомневался, что по приезде к полку велено будет меня экзаменовать, ибо я с тем условием и отпущен был, чтобы сии языки и геометрию и фортификацию выучить. Что касается до сих последних наук, то в рассуждении сих надеялся я на себя и не боялся экзамена, но языки меня крайне смущали.

Во время самого сего настроения случилось мне однажды быть в гостях у праздника у одной своей родственницы, вышеупомянутой старушки госпожи Темирязевой. Тут нашел я приехавшего также в гости одного старичка, знающего немецкий язык и некоторые другие науки. Какой собственно он был человек, того не могу теперь сказать; по прошествии многих с того времени лет позабыл я сие совершенно, а только то отчасти помню, что он рассказывал о себе, якобы он был дворянской породы, находился множество лет где-то в полону и, возвратясь оттуда и не имея нигде пристанища, проживал в дворянских домах и учивал детей их наукам. Старичок сей показался мне очень разумен, а что всегда для меня было приятнее — был великий читатель книг. Он разговаривал со мною о книгах и других разных вещах, рекомендовал мне в особливости одну вновь вышедшую книгу «Аргениду». Сию книгу превозносил он бесчисленными похвалами и говорил, что в ней все можно найти — и политику, и нравоучение,

и приятность, и все, и все*. Потом говорили мы с ним и по-немецки. Забвение мое сего языка оказалось при сем случае наияснейшим образом. Сродники мои, приметив сие, советовали мне взять сего старичка к себе и постараться хотя в малое достальное время, которое мне дома жить еще осталось, под смотрением его потвердить иностранные языки. Предложением сим я очень был доволен, а по счастию и старичок не имел тогда нигде места и охотно на то склонялся. Итак, согласились мы в том, и он обещал чрез несколько дней приттить ко мне жить, что и действительно исполнил.

Таким образом получил я себе товарища и учителя. Он прожил у меня несколько месяцев и до самого моего из деревни отъезда; однако пользы от него не получил я ни малейшей. Языки забыты были не так мало, чтоб их в столь короткое время опять вытвердить можно было, а к тому ж учитель мой и сам ими немногим чем лучше моего говорил или, лучше сказать, также позабыл. Для меня полезнее бы был какой-нибудь природный немец или француз, с которым бы я беспрерывно говорить мог, а сему учителю разговоры на иностранных языках были столько ж отяготительны, сколько и мне. Одну арифметику знал он в совершенстве, и в том состояло наилучшее его качество. Еще ж хвастал он, что разумеет хиромантию и может по рукам узнать все

---

* «Аргенида» — «Argenis» — повесть Иоанна Барклея, перевод с латинского, с примечаниями В.К.Тредиаковского, выдающегося ученого и поэта XVIII века.

будущее, но после оказалось, что он едва ли о сей науке имел какое-нибудь сведение.

Но как бы все сие ни было, однако учил он меня или, по крайней мере, делал ту славу, в самом же деле нужда ему была чарка вина; ибо надобно сказать, что до вина был он смертельный охотник, а что того еще хуже, то пьяный был весьма неугомонен. У меня мог он им довольствоваться, сколько душа его хотела, и я первые недели не жалел для него сего напитка, однако скоро узнал, что в рассуждении сего пункта надлежало брать иные меры и осторожность. Однажды, будучи пьяный, перепугал он нас немилосердным образом: он требовал более вина, а как ему не стали давать, то сделался он власно как бешеный, поднял великий вопль, кричал на нас «слово и дело», грозил свозить нас всех в «тайную» и прочий такой вздор*. По младоумию своему перестращался я тогда ужасным образом, но после узнал, что сей порок был в нем обыкновенный и что за самое сие никто не имел охоты держать его в доме. Сим кончу я сие письмо и сказав вам, что я есмь, и прочая.

---

*См. примечание 9 после текста.

СБОРЫ К ВОЗВРАЩЕНИЮ В ПОЛК

ПИСЬМО 24-е

Любезный приятель! Ну, теперь расскажу вам о моих сборах и об отъезде моем на службу и тем всю историю о моем малолетстве кончу. Ежели наскучил я вам оною, то вините сами себя, а не меня, ибо я рассказыванием всего и всего исполнял ваше хотение.

Между тем, как все прежде упоминаемое происходило, беспокоился я час от часу больше приближающимся моим сроком. Многие советовали мне просить еще об отсрочке, и более для того, чтоб я успел сколько-нибудь потвердить забытые мною языки, а сверх того говорили, что и лета и возраст мой все еще мал и не способен к действительному несению военной службы. В числе сих подавателей совета был и самый мой дядя. Для меня не могло ничего приятнее быть сего предложения: я к деревенской жизни так уже привык, и дом мой сделался мне так мил и приятен, что я желал бы в нем прожить еще несколько лет или, лучше сказать, никогда не выезжать из оного. Итак, с радостью согласился я на оное предложение и, по общему согласию, отправлен был тотчас дядька мой Артамон в Москву просить о том в пребывающей во всякое время тут военной конторе.

Прежде упоминаемая и живущая в Калитине родственница моя, госпожа Пущина, имея знатную родню, обещала мне вспомоществовать в том своею просьбою и писать к некоторым ей знакомым генералам. Она и действительно послала с человеком к нескольким из них просительные письма, и по сему обстоятельству мы почти не сомневались в получении желаемого.

Я дожидался известия из Москвы с крайнею нетерпеливостью, однако дядька мой через несколько недель прислал ко мне печальное уведомление, что все труды и старания его были бесплодны и что и самые просьбы генералов, родственников упомянутой старушки, не могли произвесть никакого действия, а военная контора наотрез отказала, объяснив, что она мне отсрочить никак не смеет, а если я хочу, то просил бы я о том в Петербурге, в самой Военной коллегии, от которой я отпущен был.

Сие неожиданное известие привело меня в великую расстройку мыслей. Понадеявшись на вышеупомянутые письма и просьбы, не стал было я слишком и поспешать моими сборами: но тогда увидел, что не можно было мне уже никак ласкаться надеждою получить отсрочку и что необходимо надобно было уже к полку ехать.

При таких обстоятельствах другого не оставалось, как начинать собираться уже правским делом и все нужное к отъезду моему готовить и поспешать всем тем наипаче, что зима уже наступила; но бедные были сии сборы и весьма недостаточные! Надобно было новое белье, надобно было дорожное и носильное платье, надобен был и запас и харчевое и, наконец,

надобны были деньги! Но кому было обо всем том постараться? Не было у меня ни матери, ни тетки, никакой такой вблизи сродственницы, которая бы мне во всем том сколько-нибудь помочь или, по крайней мере, присоветовать могла; а как и от дяди я всего меньше того ожидать мог, то и принужден был уже сам кое-как себя собирать и все нужное готовить.

В рассуждении белья возложил я комиссию на Алену, жену дядьки моего, как женщину, жившую при моей родительнице и дело сие сколь-нибудь смыслящую; но как она давно уже от того отстала, то хотя она и употребила все, что могла, однако все сшито и приготовлено было не по-людскому, а прямо по-деревенскому, и все принуждено было после перешивать и переставлять. Для заготовления дорожного и носильного платья созвал я всех портных, сколько у меня ни было их между крестьянами, насажал их целый стол и надавал им сам разные работы. Но чего можно было ожидать от глупых и неумеющих мужиков, да и от самого такого распорядителя, каков был я, всего меньше дело сие смыслящего? Правда, из портных моих был один старик, разумеющий сколько-нибудь портное художество; но что все его умение, когда моего знания недоставало, почему и неудивительно, что все сшито было на чортов клин, все скверно, все дурно и многое слишком уж бедно и подло. Когда вспомню, какая шуба сшита мне тогда была на дорогу, то стыдно мне даже и поныне, что я не умел велеть сшить для себя лучшей и пристойнейшей. Что принадлежит до запасу, то старание

о сем возложил я на моего возвратившегося из Москвы дядьку — и в оном не было у нас недостатка.

Наконец, потребны были деньги, и вопрос, где их взять, составлял великую важность: доходы с деревень были тогда чрезвычайно малы, и мне с нуждою доставало их на мое содержание, а о приумножении оных я нимало не старался, но, как прежде упоминал, оставил все на прежнем основании и порядке; итак, что прикащик сам собою мог приобресть и доставить, тем я был и доволен. Но, по счастью, в тот год хлеб родился хороший, я велел сколько можно наготовить и намолотить его более и отвезть в Москву на продажу и выручил на том довольное количество денег.

Сим образом мало-помалу я собрался. Между тем некоторые, и в том числе наиболее мой учитель, советовали мне ехать не в полк, а в Петербург и просить неотменно об отсрочке. По хиромантической своей науке уверял он меня и заклинался тяжкими клятвами, что езда моя не продлится более двух месяцев и что я, конечно, получу желаемое. Для лучшего уверения меня в том нарисовал он обе мои руки и описал все линии, и каких благополучий не предсказывал он мне тогда! Но после того как я сам сию науку узнал и помянутые рисунки рассматривал, то нашел, что он и сам ни об одной линии прямо не знал, что она значила. Но как бы то ни было, однако тогда не смел я не верить его уверениям, но паче желая сам того, что он предсказывал, был так глуп, что поверил тому без всякого сомнения, а особливо всему, касающемуся до скорого возвращения в

дом свой, и всходствие того и сбирался из дому не так, как бы надлежало, отъезжая на службу и на неизвестное число лет от дома, но так, как бы только на несколько недель отлучаясь.

Наконец, собравшись совсем и дождавшись совершенного зимнего пути, препоручил я смотрение над домом и деревнями своему прикащику, а главное попечение и надзирание над всем моему дяде, и, распрощавшись со всеми моими родственниками и знакомцами, расстался я с любезным моим Двоpяниновом и отправился в путь свой на исходе семьсот пятьдесят четвертого года.

По приезде моем в Москву услышал я, что находился в ней полку нашего офицер, присланный для приема амуниции. Мне неотменно захотелось его видеть и расспросить обо всех до полку нашего касающихся обстоятельствах. Дядька мой тотчас отыскал его квартиру и обрадовал меня, сказав, что то наш довольно знакомый человек, и именно Осип Максимович Колобов. Сего офицера в малолетстве своем любил я более всех прочих, да и сам он был ко мне тогда чрезвычайно ласков. Я полетел к нему, как скоро услышал, и он не менее обрадовался, меня увидев, и принял меня очень ласково и благоприятно. Тут уведомил он меня о многих нужных обстоятельствах, а особливо о месте, где тогда наш полк находился, о новом нашем полковнике, об его свойствах и характере, об офицерах, которые есть еще старые в полку, равно как и о новых, а наконец кончил тем, что пора уже мне в полк ехать и что там давно уже меня дожидаются. Я не преминул посоветоваться с ним

о предпринимаемом мною намерении ехать в Петербург и просить об отсрочке, но господин Колобов не приговаривал мне туда забиваться, представляя мне, что он имеет причину сомневаться в том, чтоб мне еще отсрочили, а советовал лучше ехать прямо к полку, в Лифляндию.

Совет сей, сколько ни был благоразумен и основателен, однако мне тогда не полюбился, потому что он не согласен был с моими желаниями, и потому я его не принял, а положил следовать прежнему своему намерению и ехать в Петербург.

Но как для некоторых надобностей, а особливо для отдачи камердинера моего Дмитрия учиться в портные, надлежало мне пробыть дня с три в Москве, то употребил я сие время на осмотрение соборов и других достопамятностей в сем столичном старинном городе, коих мне до того видеть не случалось, ибо я хотя и бывал в Москве, но все еще будучи ребенком, а тогда был уже я поболее в разуме и более имел любопытства. Дядька мой предводительствовал мне всюду: он водил меня по всем соборам, рассказывал, что знал, заставливал прикладываться к мощам и показывал все, примечания достойное. Потом ходили мы по всему кремлевскому дворцу, а наконец захотелось мне взойтить на самый верх Ивановской колокольни. Дядька мой и в том удовольствие мне сделал, и это было в первый и в последний раз, что я был на Иване Великом. Но, о, сколь многого страха набрался я, всходя на оный! По причине случившегося тогда ветра казалось мне, что вся колокольня сия шатается и готовится упасть вместе с

нами; но как взошел на самый верх, то за претерпенный страх довольно заплачен был неописанным удовольствием, которое имел я при воззрении с высоты на все пространство Москвы, в особливости же не мог я надивиться тому, сколь малы казались нам оттуда люди, ходившие по земле и по городу.

Осмотрев все нужное и исправив все наши нужды, отправились мы далее в свой путь. Я поехал хотя по намерению моему в Петербург и совета господина Колобова не послушал, однако он не выходил у меня из головы и памяти, и потому, отъехав несколько от Москвы, начал я еще раз с дядькой моим о том говорить и советовать. Сей прежний мой наставник и надзиратель хотя сам не меньше моего имел охоту и желание скорее возвратиться, однако признавался, что представления господина Колобова справедливы и основательны и что он сам о успехе нашей езды сомневается и худую надежду имеет, а особливо наслышавшись от многих в Москве, что отпуски вовсе уничтожены и не велено более никого и ни под каким видом отпускать.

Не успел я сего услышать, а притом от некоторых проезжающих из Петербурга получить в том подтверждение, как начал колебаться мыслями и сам в себе думать, что вся хиромантическая наука моего учителя легко может быть и обманчива и что я весьма глупо сделаю, если, положась на одну ее, по пустякам забьюсь в Петербург и потеряю только время и понесу напрасные убытки, а ничего там не сделаю, но принужден буду несколько сот верст излишних ехать. В помышлениях таковых занимался я во всю

дорогу от Москвы до Твери и несколько раз раскаивался уже в том, что не взял с собою всего своего обоза и запаса; но как были еще с нами деревенские подвозчики с кормом до Твери, то радовался я, что пособить тому еще некоторым образом можно, почему, приехав в Тверь, начал я опять советовать с моим дядькою:

— Что, Артамон, — говорил я ему, — уж ехать ли нам в Петербург? Уж не ехать ли прямо к полку?

— Чуть ли не так, батюшка! — ответствовал он мне. — А то забьемся мы в превеликую даль, а выйдет дело по-пустому.

— Но как же мы, — сказал я ему, — обоза-то и запаса с собой не взяли?

— Это ничто, сударь, — отвечал он, — этому пособить еще можно. Ехать нам в полк через Псков; извольте заехать к сестрице, а между тем извольте с мужиками отписать домой, чтоб запас и коляску везли за нами вслед к сестрице, где мы их и дождемся.

— И быть так! — сказал я и тотчас по совету его все и сделал.

Я отписал к дяде о перемене своего намерения и просил о скорейшем отправлении вслед за мною моего обоза.

Таким образом, переменив намерение свое, продолжали мы далее свой путь чрез Торжок, Вышний Волочек и далее петербургскою дорогою и, не доезжая за несколько верст до Новагорода, поворотили влево чрез озеро Ильмень, дабы нам, не захватывая Новагорода, выехать прямо на псковскую дорогу и чрез то несколько десятков верст выкинуть. В сей раз случилось мне впервые с примечанием чрез сие

славное наше озеро ехать. Переезд чрез него в сем месте был верст на сорок, и я, едучи чрез него, трепетал от страха, чтоб не проломиться; однако лед был довольно уже толст, и опасаться сего было не можно. По приезде на средину не мог я довольно надивиться той превеликой трещине, которая вдоль всего озера простиралась; она была шириною тогда более аршина, и мы принуждены были переезжать через нее по сделанному мосточку. Нам сказывали, что делается она от прибыли воды в озере и бывает временем шире, другим уже, а когда более воды убудет, то вовсе сходится. Если ж случится знатная убыль, то в сем месте обламываются самые края трещины превеликими льдинами и становятся стойма, и тогда делается вдоль всего озера власно как ледяная стена, и что для проезда принуждено бывает прорубать сквозь ее ворота.

Переехав сие озеро благополучно, продолжали мы далее свой путь и чрез несколько дней, без всяких особливых приключений, доехали до Пскова, а потом и до деревни моего зятя, которая мне так была еще мила, что я, подъезжая к оной, не мог нарадоваться духом и насытиться зрением на все знакомые мне места и виды.

К превеликому моему удовольствию, застал я не только сестру, но и самого зятя дома. Он находился тогда в отпуску от полку на несколько месяцев, и мое удовольствие усугубилось, когда я услышал, что и ему в деревне жить оставалось уже короткое время и также скоро к полку ехать надобно было. Он предлагал мне, чтоб я у него до того времени прожил и чтоб вместе с ним к полку отправился. Предложение

таковое не могло иначе быть, как весьма для меня приятно. Говорится в пословице: «к эдакому празднику люди пешком ходят», а мне для чего было не согласиться? Мне прожить у него и без того несколько времени было надобно, для ожидания моего запаса, а сверх того, не лучше ли было со всех сторон ехать к полку вместе с зятем и под его руководительством явиться, нежели одному? Словом, я был очень рад сему случаю и с превеликою охотою дал на то мое слово.

Радость, которую чувствовала моя сестра при моем приезде, усугубилась еще, когда услышала она, что я проживу у них до самого отъезда в полк ее мужа. Она не могла и в сей раз без слез меня встретить, но слезы сии были более слезами удовольствия. Она осыпала меня своими ласками и приветствиями, расспрашивала обо всем, как я жил дома, что делал, все ли был здоров, кто жив из наших родственников, и прочее тому подобное. Но не успело дней двух пройтить и первая радость миноваться, как услышал я от нее нечто странное и неожиданное:

— Ахти, братец! — сказала она мне однажды, как мы с нею одни были. — Как много ты в сие время переменился, совсем-таки не таков стал, как был прежде!

— А что, сестрица, — подхватил я, ее спрашивая, — лучше, что ли, или хуже?

— Что, голубчик-братец, — отвечала она, — мне льстить тебе не годится. Ты прежде был несравненно лучше.

— А чем таким? — спросил я скоро, смутясь несколько от таковых слов ее.

— Всем-таки, всем, братец: и поступками, и поведением, и обхождением своим. Все было в тебе гораздо лучше, как ты у нас жил, а ныне весьма многое нахожу я в тебе неловкое и не весьма хорошее. Ты власно как совсем одичал, живучи в деревне, и к тебе очень много деревенской грубости пристало. Словом, совсем ты стал не тот, как был прежде.

Пилюля сия сколь ни горька для меня была, но я принужден был ее проглотить и не изъявить притом ни малейшего неудовольствия и досады, и с спокойным видом сестре сказал:

— Чему дивиться, сестрица? Целых полтора года жил я в деревне в совершенной глуши, никуда почти не выезжал, не имея ни с кем обхождения, кроме дядюшки; а вы знаете сами, каков наш дядюшка, у него перенять многого нечего.

— То-то и дело, — сказала на сие сестра, — ведала б я, тебя отсюда, мой друг, не отпускала, а то жаль мне весьма, что произошла с тобою такая великая перемена. Ты не поверишь, братец, что мне теперь ажно стыдно показать тебя нашим соседям.

— Не правду ли, сестрица, — спросил я ее, приходя час от часу более в стыд и удивление, — я так много переменился?

— Ей-ей! — ответствовала она. — Тебе самому это неприметно, а нам со стороны очень видно. Вот и платьецо на тебе какое смешное, неловкое и непристойное. Кто тебя надоумил велеть такое сшить?

— Кому, матушка, надоумить? — сказал я. — Вы знаете, что у нас никого родных нет, я сам

принужден был себя сбирать, и как успелось, так и сшилось.

— Ах, голубчик ты мой! — сказала она, меня поцеловав. — Жаль мне тебя, но добро, мы постараемся всему тому сколько-нибудь уже помочь. Небось белье-то твое не лучше? Вели-ка ты мне его показать.

— О сударыня! — ответствовал я, поцеловав у ней руку. — Об этом вы уже и не спрашивайте; я сам уже приметил, что оно не совсем хорошо, и великая б ваша милость была, если бы изволили приказать его пересмотреть и переправить, а при том, голубушка-сестрица, оговаривайте и самого меня, матушка, и сказывайте мне, что дурного во мне приметите; я готов слушаться и постараюсь как можно себя поправить.

Сестра весьма довольна была сим моим отзывом и обещала охотно сие делать. Что ж касается до моего белья и платья, то какое в тот же еще день началось резанье, поронье и кромсание! Все ее женщины и девки и все ее портные принуждены были заняться работою и препроводить в том несколько времени. Многое было совсем вновь сшито, иное переправлено, а многое совсем уничтожено или отдано людям, и, по счастью, было ко всему тому довольно времени и досуга.

Я прожил у них тогда недель пять или шесть времени, ибо столько оставалось жить моему зятю. Сие время препроводили мы довольно весело; соседи их были все в домах своих, и съезды продолжались у них по-прежнему очень частые. Сверх того, без меня получила сестра моя себе еще новую

соседку: одна гораздо пожилая девушка, по имени Василиса Ивановна Ладыженская, приехала жить в свою деревню, лежащую от дома сестры моей только за версту. По причине толь близкого соседства, а более по согласию нравов свела она скоро столь тесную дружбу с моею сестрою, что они были почти неразлучны, и госпожа Ладыженская живала по несколько недель сряду у сестры моей. Она была и в самое то время тут, как я приехал, и как век свой она жила с своим братом в Петербурге, то знала совершенно светское обхождение; будучи ж притом очень разумная и ласковая особа, приобрела тотчас от всех к себе почтение.

Сей госпоже не менее я обязан был за тогдашнее меня исправление, как и сестре своей. Сия открылась ей в своей обо мне заботе, и она обещалась ей в том помочь и с своей стороны; и как она с самого начала ко мне приласкалась чрезвычайно, да и я получил к ней почтение, то в весьма короткое время ласковыми оговариваниями своими и советами она так меня вышколила, что я совсем переменился и не походил более на прежнего деревенского пентюха, каковым я приехал.

Между тем как все сие происходило, привезли из деревни и мою провизию, и летний экипаж, а вместе с ним и одного еще мальчишку, по имени Абрам, которого рассудилось мне взять третьего с собою на службу, ибо, кроме его, было со мною только двое прежних моих слуг, а именно Артамон и Яков.

Наконец, в исходе зимы отправились мы с зятем моим в наш полк, который стоял тогда на винтер-

квартирах в Лифляндии, за несколько миль от Риги и от зятя моего не слишком далеко. Сестра провожала нас несколько десятков верст, и как проводы сии, так и расставание не могло без слез обойтиться: она смочила обоих нас своими слезами и, простившись, возвратилась в дом свой.

Мы препроводили в пути своем немного времени и чрез несколько дней прибыли благополучно в мызу Сесвеген, где стоял тогда штаб полка нашего и полковник и около которого места расположен был весь полк на винтер-квартирах. И сие было в начале месяца марта 1755 года.

И как с самым сим пунктом времени все малолетство мое кончилось и я, вступя в действительную государеву службу, принужден был вести жизнь совсем иного рода, то самим сим окончу и я историю моего малолетства, предоставляя о прочем и дальнейшем продолжении моей жизни рассказать вам, любезный приятель, впредь, уверив вас между тем, что я был, есмь и пребуду навсегда вашим, и прочая.

КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ



Часть третья

ИСТОРИЯ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПОЛКОВОЕ НАЧАЛЬСТВО И ШТАБ

ПИСЬМО 25-е

Любезный приятель! В предследующих моих письмах описал я вам мое малолетство и рассказал всё, что со мною во время оного происходило. А теперь приступлю к описанию действительной моей военной службы, ибо хотя я был уже и давно в оной, но до сего времени лишь только счислялся в оной, службы же никакой еще не нес, а настоящую службу начал только нести с того пункта времени, как мы с зятем моим, господином Неклюдовым, к полку из отпусков наших приехали. Расскажу вам, любезный приятель, все, что со мной во время службы сей случилось, и хотя была она не слишком долговременна и во все продолжение оной не было со мною никаких важных и чрезвычайных происшествий, однако ласкаюсь надеждою, что вам описание оной не скучно будет и что вы с таким же любопытством читать оное станете, как и историю моего малолетства.

Я остановился на том, что мы приехали в Лифляндию и в мызу Сесвеген, где тогда стоял штаб нашего полка на винтер-квартирах. Сей пункт времени составлял важную эпоху в моей жизни, с оного начиналась для меня жизнь совсем иного рода. До сего жил я на совершенной воле и был властелином над

всеми своими делами и поступками, а тут вдруг все сие кончилось, и я принужден был готовиться жить в повиновении у многих. Я приехал тогда в полк, равно как в лес дремучий, ибо хотя в нем почти родился и вырос, однако как минувшие три или четыре года в оном не был, то в сие время все в нем переменилось и было для меня дико. Сверх того, и между самыми прежними и тогдашними обстоятельствами была превеликая и бесконечная разница: тогда был я в нем под хорошею опекою, и меня не почитали сержантом, а сыном полковничьим, а потому все офицеры, да и самые штабы* меня любили и ко мне ласкались; отец мой был моею защитою и покровителем, а в сей раз был не что иное, как простой и молоденький сержантик, следовательно, представлял фигуру весьма малую и неважную и ничем не лучше был сержантов прочих, которые почти все около сего времени были такие же дворяне, как и я, ничем меня не хуже. Все штабы и большая часть офицеров были уже не те, которые при мне были; полковник был у нас новый, природою швейцар и не умеющий по-русски ни единого слова. Он прозывался Планта де Вильденберг и был человек не молодых лет, но, по счастию, человек тихий и самый добрый. Подполковника тогда при полку у нас не было, а премьер-майором был некто князь Тугучев, человек тоже смирный и добродетельный, а секунд-майором — некто из природных немцев, все мне совсем незнакомые люди.

---

*Штаб-офицеры.

Я трепетал тогда от страха, и сердце во мне замирало, как надлежало нам с зятем иттить к полковнику явиться. Природная моя застенчивость и соединявшаяся с нею деревенская дикость были тому причиною, а паче всего страшился и мучился я совестью, что позабыл немецкий и французский языки, которыми, как не сомневался я, что станет полковник со мною говорить. И потому казался он мне тогда пуще, нежели медведем, и я с трепетом приближался к его квартире, которая была в нарочито изрядном деревянном доме, построенном подле развалин старинного каменного замка.

Зять мой должен был быть моим предводителем, и я на него, как на каменную стену, надеялся. Он и в самом деле был тогда единым моим защитником и покровителем, и, по особливому счастью моему, был он не только знаком уже полковнику, но считал себя у него и в милости. Он не позабыл привезть с собою кое-что из деревенских вещей в гостинцы как для полковника, так и для живущего при нем подпоручика г. Зеллера.

Сия особа была тогда знаменитая в полку нашем, и до офицера сего была тогда всякому нужда, ибо надобно знать, что сей человек был тогда всего правления полком наисильнейшею пружиною: он служил при полковнике вместо переводчика, а в самом деле соединен был с ним некоторым теснейшим союзом. Он был муж или, паче сказать, носил только имя мужа полковничьей метрессы или любовницы, на которой женил он его на ней, произведя из сержантов в офицеры. Госпожа сия известна и славна была у нас тогда в полку под именем Мартыновны и могла

с мужем своим делать в полку, что хотела, а потому был и он великой важности, и тем паче, что был он весьма бойкая и разумная особа, и полковник любил его за его достоинства и во всем на него полагался и ему верил.

Зятю моему еще в прежнюю свою при полку бытность посчастливилось приобресть дружбу от сего офицера и благоволение к себе от его супруги, а через них и от полковника. Достаток его помог ему в том весьма много, и ежели признаться, то как полковник, так и любимец его с женою любили моего зятя наиболее за его богатство и за то, что он не упускал при всяком случае им кое-чем служить и всячески подольщаться. Он и в последнем своем отпуске был и всю зиму дома прожил не инако, как по милости Мартыновны, ибо она убедила полковника, без ведома главной команды и самому собою, отпустить его на несколько месяцев в деревню.

Все сие было причиною, что полковник моего зятя, а по нем и меня принял весьма ласково и приятно. Он, услышав, что я сын его предместника, и видя меня еще очень молода, по природному своему добросердечию получил ко мне некоторый род сожаления, и я могу сказать, что он во всякое время был ко мне благосклонен. Как сказали ему, что я отпущен был для обучения наук и языков, то не преминул он тотчас со мной говорить по-немецки. Я ни жив тогда ни мертв был, однако ответствовал на его вопросы сколько тогда было в моих силах. Что я много позабыл, того нельзя было ему не приметить, однако он не оказал нимало неудовольствия, но паче изъявлял сожаление свое, опасаясь, чтоб не велено

было меня от главной команды экзаменовать порядочным образом. При вопросе, чему я еще выучился, представил я ему свои геометрические и фортификационные книги. Он хотя не разумел ничего порусски, однако рассматривал оные с прилежанием, и сколько можно было приметить, был очень доволен чистотою черченных фигур и моих рисунков и хвалил меня за мою прилежность. Тогда отлегнуло у меня несколько на сердце, и я перестал то бледнеть, то краснеть, как прежде.

Полковник оставил нас у себя обедать, и зять мой просил его о содержании меня в своей милости. Он не только сие обещал, но учинил того же часа первый опыт своей ко мне благосклонности, дозволив мне жить при моем зяте, а не являться для несения должности в роту, что учинить потому было и пособно, что зять мой был тогда полковым квартирмейстером.

Таким образом, велено было меня счислять при квартирмейстерских делах, и я отправился с зятем моим на отведенную ему квартиру. Обстоятельством сим и милостью, оказанною мне в сем случае полковником, был я крайне доволен, ибо через то избежал я опять несения сержантской своей и многотрудной должности, не был принужден ехать в роту стоять в каком-нибудь латышском рею, жить с солдатами вместе и угождать во всем своенравию своего капитана; но живучи при зяте моем в совершенной праздности, имел время исподволь привыкать к полковой жизни и со всеми ознакомливаться.

Квартира отведена была зятю моему на одном так называемом лифляндском подмызке, или небольшом

дворянском праздном домике, отлежащем от штаба верст за пятнадцать. Лифляндские дворяне, для освобождения домов своих от постоя, имеют обыкновение строить в отведенных своих деревнях такие маленькие домики для постоя офицерам и снабжать их всем нужным. Нам достался тогда преизрядный домик, имеющий покойца четыре, и довольно хорошо прибранных, так что мы могли без всякой нужды поместиться и квартирою своею были весьма довольны. Как сей подмызок назывался, того за долгопрошедшим временем не могу я никак вспомнить, а то только памятно мне, что лежал он на горе и на весьма прекрасном положении места.

Прибыв туда и расположившись, зять мой за первый долг себе почел побывать и у всех прочих наших штаб-офицеров. Сие учинил он, не упуская времени, и брал меня всюду с собою. Поелику был он, по причине хорошего своего характера, ими всеми любим, то приняты мы были и от них весьма приятно и благосклонно.

Таким образом я начал жить в полку, не имея причины ни на что жаловаться. Два только обстоятельства тревожили покой мой и приводили меня в смущение: первое было то, что в полку считали меня уже давно и почти с целый год в просрочке, а вовторых, опасались мы, чтобы не велено было от командующего генералитета, к которому тотчас о прибытии моем рапортовано, меня в науках моих экзаменовать и чтоб не потребовали меня для сего в Ригу, где тогда командующий нами генералитет находился.

Что касается до первого обстоятельства, то, по-

читая себя совсем невинным, не имел я причины опасаться никаких худых следствий. Произошло сие от следующего, совсем мною непредвиденного обстоятельства. В истории моего малолетства упоминал уже я, что отпущен я от Военной коллегии был не на срочное время, а глухо до* шестнадцатилетнего возраста, почему и жил я в доме своем, не опасаясь ничего, покуда мне шестнадцать лет и действительно исполнилось. Но того нимало я не знал, что в полку считали меня целым годом старее, ибо по малолетству своему я того и не ведал, что покойный родитель мой, записывая меня в военную службу, для малого моего тогдашнего возраста, принужден был прибавить год один к настоящим моим летам, а я, не ведая того, при просьбе своей в Военную коллегию показал действительные свои лета, и потому так и отпущен был. А как сия, давая в полк о сем знать, упомянула только глухо, что я отпущен до шестнадцатилетнего возраста, то от самого сего и произошло, что в полку считали меня тогда уже семнадцатилетним, следовательно, целый год в просрочке, а как утаить сего было не можно, то, к несчастью, о неявлении моем в полку тогда же к команде было и рапортовано.

Все сие не так бы нас еще тревожило и смущало, если б не присоединилось к тому другого и весьма досадного обстоятельства, а именно: за несколько времени перед приездом моим в полк велено было прислать в главную команду в Петербург обыкно-

---

*В смысле — «вплоть до».

венные к производению о всех чинах списки. Поелику при дворе помышляли тогда о приумножении армии из опасения, чтоб не дошло скоро дело до войны, и главным нашим командиром, графом Шуваловым, сочиняемы были новые диспозиции* и распоряжения в армии, то хотел он сделать в полках дивизии своей генеральное и большое произвождение и для самого того требовал помянутые списки. Я был тогда по старшинству первый сержант по полку нашему, и не молод и по всей дивизии, и потому никто не сомневался, чтоб при первом и тогда уже с часа на час дожидаемом произвождении не досталось мне в офицеры, если б не соединялось к тому того сомнительного обстоятельства, что я в помянутых списках по необходимости показан в отсутствии и в просрочке, из чего некоторые опасались худых для меня следствий. Обстоятельство сие меня весьма тревожило, и я опасался, чтоб не нажить мне от того какой-нибудь беды, но как сему пособить было уже не можно, то полагался я на власть божескую и ожидал счастия и несчастия своего от времени.

Что касается до второго обстоятельства, то есть до столь страшного для меня экзамена, то оное почти с ума меня сводило. Я трепетал от единого напоминания о том, и все разговоры о сем предмете пронзали сердце мое, как стрелою. Недели две или более я с каждым часом того и смотрел, как пришлют за мною и велят ехать в Ригу: и тогда как и

---

*Распоряжение военного начальства о том, как войскам расположиться и как действовать; боевое расписание, распорядок.

с чем мне показаться? Мы не один раз говорили уже о том с зятем, и он, видя мое смущение, по любви своей ко мне хотел уже сам, выпросившись, ехать со мной и там стараться уже через подарки сделать то, чтоб экзамен был не слишком строгий. Но, по счастью, и к неописанному моему обрадованию, избавились мы от всех сих хлопот и опасений: командующему генералитету, видно, не до таких мелочей было тогда дело, почему в полученном от них ответе не упоминалось ни единым словом об экзамене, и я имел удовольствие видеть сию бурю благополучно прошедшею.

Со всем тем не преминул я между тем о твержении немецкого и французского языков по возможности моей прилагать старание и не упускал ни одного случая говорить с немцами. По особливому счастию и имел я к тому ежедневно случай, и можно ли думать, что всему нынешнему моему и довольно совершенному знанию немецкого языка первейшим основателем был мальчишка лет шести или семи? Однако сие действительно так было. Случись, как нарочно для моего научения, в подмызке том, где мы стояли, юнкер. Сим званием называются в Лифляндии обыкновенно у дворян их прикащики, управляющие их домами и отсутственными деревнями; в должность сию выбирают они обыкновенно немцев, и людей довольно разумных и знающих, а притом хорошего поведения и порядочно живущих. Таков точно был юнкер и на нашем подмызке; он жил в особливых маленьких хоромцах, на том же дворе построенных, где мы жили, и имел у себя жену и маленького вышеупомянутого сына. Мальчишка сей в праздное время бегивал и иг-

рывал всякий день по двору, и как у всех у нашей братьи, не умеющих довольно или позабывших языки, весьма дорог первый приступ к говоренью, и мы по большей части оттого долго и не выучиваемся говорить, что не имеем отваги говорить со взрослыми и посторонними и стыдимся, то самый сей случай был и со мною. Для меня превеликая беда была тогда начать говорить с каким-нибудь большим немцем, и мне казалось, что я говорю все не так, и потому стыдился. Но тут пришло мне как-то в голову поговорить по-немецки с сим мальчиком; мысль, что он меня не осудит, побудила меня к тому. Итак, познакомился я с сим мальчиком, который очень рад был, узнав, что я говорю по-немецки, и охотно говаривал со мной всякий день. Я примечал и перенимал от него все присловия немецкого языка и нечувствительно стал смелее; а как я к нему всячески ласкался и для вящего заохочивания приходить почаще ко мне кармливал его своими закусками и лакомствами, которыми снабдила меня с избытком сестра при отъезде, и он все то рассказывал своей матери, то сие побудило ее велеть ему пригласить меня к себе на чашку кофея. Я охотно на то согласился, а самый сей случай и познакомил меня как с юнкером, так и с его женой. Они, узнав, что я говорю по-немецки, просили меня, чтоб я ходил к ним чаще, а я тому и рад был, и с ними-то имел я случай говорить ежедневно по-немецки и мало-помалу привыкать к сему языку.

Кроме сего, обязан я много первым возобновлением сего забытого языка и полка нашего секунд-майору, коего немецкую фамилию, к великой досаде моей, не могу вспомнить, а помню только то, что

начиналась она с литеры Л. Майору сему случилось иметь квартиру свою неподалеку от нас и ближе всех прочих офицеров, а сие обстоятельство и было причиною, что он езжал очень часто в гости к моему зятю и просиживал у него по целому иногда дню. Обыкновенно приезжал вместе с ним и еще один офицер по фамилии Гринев. Оба они говорили по-немецки и по-французски: тот потому, что был природный немец и притом ученый человек, а сей по причине, что воспитан в кадетском корпусе. При таковых частых свиданиях, в которыя время свое наиболее препровождали они в играний с зятем моим в ломбер, сделался и я обоим им знаком, и они оба меня полюбили, в особливости же сделался ко мне господин майор весьма благосклонным. Всем господам иностранным можно то в похвалу сказать, что они именную склонность имеют к тем из нашего народа, которые их языку учатся или иные какие науки знают. По самой сей причине любил меня и господин Л. и, видя мою охоту к обучению языков, не только при всяком случае меня к тому более поощрять старался, разговаривая со мной то на французском, то на немецком языке, но ссужал меня и французскими и немецкими книгами, до которых сам был охотник, для чтения. Но сожаления было достойно, что все они по большей части важные и не слишком сообразовывались с тогдашними моими понятиями и языков сих знанием. Но как бы то ни было, но я, пользуясь обоими сими случаями, начал мало-помалу опять познавать и твердить ученые, но совсем почти забытые языки, и как слов довольно мне было известно и недоставало одного упражнения

в разговорах, то имел в том такой успех, что через короткое время удивился сам полковник наш, услышав меня говорящего по-немецки гораздо лучше прежнего, и был тем весьма доволен.

Сим образом препроводили мы достальную часть зимы. По наступлении дня святой Пасхи съездили мы с зятем в штаб для празднования сего праздника, ибо там находилась наша полковая церковь. Для помещения оной не нашлось другого места, как в одном большом сарае; но где б она ни была, но праздник сей везде был хорош и радостен. Мы обедали в сей день опять у полковника и возвращались домой уже с крайнею нуждою, ибо в самое то время разрывался зимний путь и начиналось половодье.

Вскоре после сего прислано было повеление, чтоб полку нашему, по вскрытии весны, тотчас иттить в Эстляндию и в наступающее лето лагерем стоять при Ревеле. Богу известно, на что предпринимаемы были тогда полкам такие марши и контрмарши, ибо в самое то время тем полкам, которые были при Ревеле, велено иттить к Риге. Может быть, нужно сие было для содержания полков в беспрерывном движении и к приучиванию их к походу; но как бы то ни было, но как скоро весна вскрылась, то весь наш полк собрался в штаб и на лугу подле самой мызы Сесвеген расположился лагерем.

При сем случае увидел я впервые весь наш полк в собрании, и как мы тут более недели, приуготовляясь в поход, простояли, то имел я случай познакомиться со всеми господами офицерами, равно как и со своими сверстниками-сержантами. Удовольствие мое было превеликое, когда увидел я

столь давно не виданный уже лагерь, а того величайшее, как увидел всех господ офицеров ко мне благоприятствующих. Многие из них были еще старые и служившие при моем отце; сии, помятуя милости родителя моего и будучи им очень довольны, за долг себе почитали оказать сыну его всякого рода ласки и благосклонности. Из сих в особливости доволен я был господами капитанами Афанасьем Ивановичем Зиловым и Иваном Никитичем Гневушевым: оба они были наилучшие, степеннейшие и разумнейшие из всего полка капитаны и оба друзья покойного моего родителя. Не менее доволен я был и прежде упоминаемым мною подпоручиком господином Колобовым, возвратившимся между тем из Москвы; он оказывал мне возможнейшее благоприятство и хвалил меня, что я послушался его совета и к полку поехал прямо. Прежний мой учитель Миллер был тогда уже также офицером и оказывал ко мне всякое благоприятство. Из прочих же, которые после меня определялись в полк и были мне незнакомы, некоторые по дружбе и знакомству с зятем моим, а другие сами собою также меня полюбили и обходились со мною не так, как с унтер-офицером, но как с равным себе сотоварищем. Из сих особливую склонность и любовь ко мне получил поручик князь Мышецкий, человек любимый всем полком за его веселый нрав.

Сим окончу я к вам сие письмо, а в последующем расскажу о походе нашем, сказав между тем, что я есмь, и прочая.

РЕВЕЛЬ И РОГЕРВИК*

*ПИСЬМО 27-е***

Любезный приятель! В теперешнем письме опишу я вам наигорестнейший и смутнейший период времени из всей моей военной службы и несчастие, претерпенное мною при самом начале оной. Провидению божескому угодно было наслать на меня оное, власно как нарочно для того, чтоб лишить меня надежды на всякую постороннюю помощь и предоставить одному себе иметь обо мне попечение. Сие вижу я ныне довольно явственно; но тогда предусмотреть сего был я далеко не в состоянии и потому почитал тогда сие несчастие не инако, как гневом раздраженных небес и для себя злом весьма великим, хотя в самом деле составляло оно совсем тому противное.

Будучи в канцелярии генеральской, услышал он (зять мой***), что произвождение офицерское по нашей дивизии из Петербурга было уже прислано.

---

* Рогервик — залив, в западной части Финского залива.

** В опущенном письме, 26-м, Болотов говорит о походе в Ревель.

*** В опущенном отрывке Болотов рассказывает о неудачной покупке лошади и о возвращении побывавшего в городе зятя.

Нетерпеливость заставила его любопытствовать и узнать о пожалованных полку нашего офицерах, а более всего хотелось ему узнать мою судьбину и пожалован ли я вместе с прочими. Он выпросил список производения на минуту и искал моего имени, но с каким сожалением и досадою увидел он следующие слова, написанные против моего имени в списке: «за просрочку и неявление поныне к полку — обойден». Слова сии поразили моего зятя, но сожаление его еще усугубилось, когда он узнал, что мне следовало пожалованным быть через чин прямо в подпоручики и что многие сержанты нашего полку и гораздо меня младшие получили сии ранги.

Печалясь искренне о сем для меня великом несчастии, не мог зять мой долго выговорить ни единого слова и сообщить мне такое печальное известие, наконец не мог более удержаться и сказал мне:

— Хорошо вы с дядюшкой-то своим наделали в деревне?

— А что такое? — подхватил я, испужавшись.

— А то, что товарищи твои все пережалованы, а ты обойден, а надлежало бы также и тебе в подпоручики.

Слова сии поразили меня, власно как громовым ударом; я онемел и не в состоянии был ни единого слова промолвить, слезы только покатились из глаз моих и капали на землю. Сколько зятю происшествие сие было ни досадно, однако приведен он был в жалость моим состоянием. Оно и в самом деле было сожаления достойно. Я стоял, опустя руки и глаза книзу, погруженным в глубочайшее уныние, как окаменелый. Сие продлилось несколько времени, да

и потом не помнил, что говорил и что делал. Самый свет казался мне померкшим в глазах моих, и состояние, в котором я тогда находился, не может никак описано быть, а довольно оно было наижалостнейшее в свете.

Досадное приключение сие было действительно наипечальнейшее во всей моей жизни; лишение самих родителей не было для меня таково горестно и мучительно, как сие досадное обойдение. Там действовала одна только печаль, а тут с оною вместе досада, раскаяние, завидование благополучию моих товарищей, стыд и многие другие пристрастия присовокуплялись и попеременно дух и сердце мое терзали и мучили. К вящему усугублению моей горести, не было ничего и ни малейшего средства, чем бы меня утешить было можно. Зятю моему, сколь ни горестно было смотреть на мое жалкое состояние и сколь ни желал он меня чем-нибудь утешить, но не находил ничего к тому удобного, но принужден был еще видеть, как самое утешение его растравляло еще более мою печаль и увеличивало горесть. Одним словом, я был совсем безутешен, лишился сна и пищи и, кроме вздохов, слез, уныния и печали, ничего от меня было не слышно. Такое мучительное состояние продлилось несколько дней сряду и перевернуло меня так, что я походил тогда на лежавшего несколько недель в горячке и выздоравливающего от нее человека. Такое бесчисленное множество вздохов испущено было тогда к небесам из моего сердца и колико слез пролито было в сии печальные и горестные дни!

Между тем прибыл к Ревелю и полк наш; известие о приближении оного возобновило или паче

увеличило еще всю жестокость печали моей. Я желал бы тогда скрыться неведомо куда и не смел воображать себе той печальной минуты, когда в полку о том узнают и я увижу всех сверстников моих, ликовствующих в радости. Мне показалось, что я перед ними и перед всем полком буду власно как оплеванный, и не знал, как мне без крайнего стыда кому показаться будет можно. Одна мысль, что все люди как люди, а я один как оглашенный тогда был и власно как преступник, наказанный за какое-нибудь злодеяние, поражала меня до бесконечности и обливала мое сердце охладевшею кровью. Но, по счастью, велено было зятю моему следовать тотчас опять вперед к Рогервику, для занятия там летнего лагеря, и сим образом избавился я на несколько времени столь горестного для меня обстоятельства.

Во всю сию дорогу не переставал я воздыхать и тужить о своем несчастии и не видал почти всех мест, мимо которых мы ехали. Для меня весь свет был тогда противен, и я не смотрел ни на что, столь сильно тревожили меня горестные помышления! Наконец прибыли мы в Рогервик, в сие скучное и с тогдашним моим состоянием весьма сходственное место, и заняли отведенный для полка нашего подле самого сего местечка лагерь, а вскоре после нас пришел и полк и вступил в оный.

Горесть и печаль моя несколько поуменьшились, как я увидел, что весь полк сожалел о моем несчастии: кого я ни увижу и с кем ни сойдусь, всяк тужил о моем несчастии и старался по возможности своей меня утешить. В особливости же изъявлял со-

жаление свое обо мне полковник и другие штабы и прочие знакомые и меня отменно любящие офицеры. Самые сверстники мои, на которых не было уже тех проклятых лык* или позументов, которые я еще на себе иметь и носить должен и коих я тогда принужден был почитать весьма уже перед собой увышенными и на коих не мог взирать без некоего неудобоизобразимого чувствия сердечного, изъявляли друг перед другом свое обо мне сожаление и, вместо чаемого осмеяния меня, всячески утешать старались. Они обходились со мною по-прежнему, как с ровным своим братом, и сие более всего послужило к скорейшему моему успокоению и облегчению моей горести.

Я жил по-прежнему при моем зяте, и никто того для горестных моих обстоятельствах и не взыскивал. Сам господин Хомяков, по имени Василий Васильевич, капитан той роты, в которой я счислился, не делал в том никакой претензии и не требовал меня в роту для отправления моей сержантской должности. Итак, жил я тогда при полку действительным волонтером, не имея за собою никакого дела; но сие меня не весьма утешало, и я согласился бы охотнее нести действительную службу, если б стыд мне в том не препятствовал.

В сих обстоятельствах препроводил я тут более месяца, в которое время как полковник, как и прочие господа офицеры не переставали обо мне напо-

---

*Лыко — здесь в смысле нашивок, отметок чина на рубашке, форме (с пренебрежительным оттенком).

минать и о изыскании средств к поправлению моего несчастия всячески стараться и между собою предпринимать советы; многие из них нередко собирались к моему зятю и совокупно о лучших мерах рассуждали. Обстоятельства мои по справедливости были более сожаления достойны, нежели я об них сперва думал. Я хотя остался тогда по-прежнему старшим сержантом, и не только в полку, но и по всей тогда армии, и не можно было сомневаться, что при первом произвождении мне в офицеры достанется, но такого покоса* трудно было опять дожидаться, каково минувшее произвождение было. Произвождение сие было тогда так велико, что подобного ему никогда не бывало и едва ли когда-нибудь и вперед будет. В сей раз, по причине приумножения войск и сделания нового штата, по которому прибавлено в каждом полку вновь множество офицеров, произведено было ужасное множество людей. Самое сие и причиною тому было, что многим сержантам доставалось тогда вместо прапорщиков прямо в подпоручики, чего никогда еще до сего времени не бывало, но по самому тому не можно было никак надеяться, что в скором времени могло воспоследовать опять произвождение, ибо все полки были уже с излишком укомплектованы офицерами и потому все доброжелательствующие мне советовали не оставлять дела сего втуне. Но хотя и не было ни малейшего луча надежды, однако не худо бы, говорили все, хотя наудачу отведать употребить о про-

---

*В смысле — массового производства, удачи.

извождении меня просьбу; в противном же случае, утверждали все, отстану я от всех гораздо далеко и догнать их буду не в состоянии.

Сей был общий совет всех наших друзей и знакомых, но со всем тем сие скорее сказать, нежели сделать было можно. Просьбу употребить надлежало в Петербурге, ибо тут никто из генералов пожаловать меня в офицеры был не в состоянии; но и в Петербург надлежало кому-нибудь ехать, ибо на отсутственную и заочную просьбу не можно было никак надеяться и положиться.

Самое сие обстоятельство и производило наиболее затруднение. Сперва советовали все взять хлопоты и старание о сем на себя моему зятю. Сей, по любви своей ко мне, охотно на то и согласился, но как в самое то время, как только что хотел он проситься об увольнении себя в Петербург, занемог он нечаянно наижесточайшею лихорадкою, то не знали тогда что делать, ибо одному мне ехать никто советовать не отваживался, потому что никто не чаял, чтоб я по молодости и по незнанию своему мог что-нибудь успеть в таком деле, которое гораздо сильнейшего старания требовало, нежели каково могло быть мое собственное. Но как зятю моему не легчало и час от часу еще тяжелее становилось и как он увидел себя, наконец, принужденным лежать в постели, а время со всяким днем уходило, то другого средства не оставалось, как ехать наудачу мне одному и самому о себе стараться.

Не успел я на сие решиться и намерения своего объявить, как тотчас написали мне челобитную, а для лучшего в предприятии моем успеха обещали все

офицеры дать мне свидетельство и аттестат от себя в том, что я офицером быть достоин. При сем-то случае мог я наияснейшим образом видеть, сколь много доброжелательствовали мне все полку нашего офицеры; к кому я ни приносил для подписки моего аттестата, как всякий говорил:

— Обеими руками готов, братец; дай Бог тебе всякое благополучие и получить все желаемое.

Из всего нашего полку один только нашелся такой, который не хотел мне сделать одолжения и отказал в сей просьбе: это был господин Колемин, бывший нашего ж полку капитан, а тогда произведенный к нам в секунд-майоры. Сей человек был один из старых офицеров, имевший с покойным родителем моим, не знаю по какому-то делу, небольшую суспицию и на него досаду; и как злоба его не переставала действовать, и он был человек весьма дурных свойств и качеств и за то, а особливо за надменность свою и гордость всем полком ненавидим, то хотел он по негодному своему характеру мстить при сем случае мне за досаду, причиненную ему отцом моим, хотя сей нимало был тому не виноват, а раздражал его по должности. Признаюсь, что сие было мне тогда досадно; и не только мне, но всему полку офицерам. Сии не успели от меня о том услышать, как ругали его немилосердным образом, а человек с двадцать, собравшись, пошли нарочно к нему его уговаривать и, буде надобно, употребить просьбу; но все старания были тщетны, он остался непоколебим в своем намерении и упорностью своею только более досадил всем просившим. Всего смешнее при том было то, что он в отговорку предлагал

одну только мою молодость, почему все присоветовали оставить его с покоем, говоря, что и без него дело сделано быть может и что подписка его не так важна, чтоб без нее не можно было обойтиться.

Теперь оставалось мне только исходатайствовать позволение съездить на несколько времени в Петербург, ибо и сие сопряжено было с некоторыми затруднениями. Полковник не в состоянии был сего сделать; он с радостью готов был бы меня на несколько месяцев отпустить, но власть его так была ограничена, что он не мог отпустить меня и до Ревеля. К тому ж и челобитной моей должно было иттить по команде, то есть сперва от полку представленной быть командующему нами генерал-майору, а от него представлена быть к генерал-поручику, а от него далее в Петербург к главнокомандующему, генерал-аншефу графу Петру Ивановичу Шувалову, от которого надлежало уже последовать резолюции. Сим окончу я мое письмо и сказав вам, что я есмь, и прочая.

ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ

ПИСЬМО 28-е

Любезный приятель! Описав вам в предследующем письме мое несчастие, в которое невинным, с своей стороны, образом попал я по ненарочному случаю и от единого только прибавления отцом моим мне одного года, но о чем не имел я ни малейшего сведения, расскажу я вам теперь о петербургской своей и достопамятной поездке, предпринятой для поправления оного. Езда сия наиболее по тому достойна особливого примечания, что предпринята была мною прямо наудачу и без малейшего луча надежды к получению какого-нибудь успеха в предпринимаемой просьбе, а что того еще паче, без всякой надежды на постороннюю какую-нибудь помощь, ходатайство и заступление, а с единым только упованием на Бога и на его милость и вспоможение, ибо, кроме него, не было у меня никого могущего подать помощь.

Какой успех имела сия поездка и что со мною случилось в Петербурге, это узнаете вы из последствия, а теперь дозвольте мне восприять паки нить повествования, прерванную последним письмом, и начать рассказывать вам все происшествия по порядку.

Таким образом, решившись ехать в Петербург и испросив благословение божеское, приступил я к сему важному делу. Я, взяв от полковника потребные к тому письма, поехал прежде всего к нашему генерал-майору. Это был самый первый еще случай, что я должен был сам по себе стараться. Командовавший нашим и другим стоявшим в Рогервике ж пехотным полком генерал-майор был тогда некто природный француз по фамилии де Бодан, старичок весьма добренький; он стоял несколько только верст от нашего лагеря, и потому мне из лагеря к нему ездить было недалеко. Я подал ему представление, данное мне от полка с запечатанною при оном моею челобитною, и сей добросердечный человек как в отпуске меня до Ревеля, так и в представлении своем к генерал-поручику не сделал мне никаких затруднений и остановок, и я получил дня в два свое отправление.

Поблагодарив его и возвратившись в лагерь, начал я собираться в дальнее свое путешествие, и как я расположился ехать туда налегке и только в кибитке, запряженной тремя лошадьми и с двумя из своих людей, а прочее все с мальчишкою оставить в лагере при моем зяте, то сборы мои недолго продолжались. На другой же день было все к отъезду моему уже готово, и тогда, распрощавшись с зятем и со всеми моими знакомыми, отправился я в свой путь к Ревелю. Все знакомцы и приятели мои провожали меня пожеланиями всех на свете благ и счастливого путешествия, ибо кроме сего сделать им было нечего. По особливому распоряжению судеб так случилось, что из всех их ни у кого не было ни

одного знакомого и такого человека в Петербурге, к которому бы меня сколько-нибудь рекомендовать или на первый случай адресовать было можно, и я, прямо можно сказать, пустился в сей путь, будучи совершенно оставлен от всего света, и должен был всего ожидать от единого милосердия божеского*...

Наконец в начале июля доехали мы благополучно до Петербурга. Это было в пятый раз в моей жизни, что я в сей столичный город приехал, но прежние мои приезды и пребывания в оном были весьма отличны пред теперешним; тогда находился я под каким-нибудь покровительством, а ныне ни под каким. Не имея никого знакомых, к кому бы пристать было можно, принуждены мы были нанять для себя какую-нибудь хижинку. Мы и нашли небольшую, в Морской, и наняли не за большую цену. Мое первое старание было узнать, нет ли в Петербурге моего прежнего благодетеля и дяди, господина Арсеньева, дабы под его руководством и предводительством можно мне было приступить к делу; но к великому моему огорчению узнал я, что он находился тогда в Москве. Что же касается до господина Рахманова и до Шепелева, то сии давно уже были в царстве мертвых; следовательно, и с сей стороны не мог я ласкаться ни малейшей надеждою.

При таких обстоятельствах другого не оставалось, как иттить самому собою и ожидать всего от единого вспоможения божеского. Я распроведал о жилище

* Опущены описания встречи с генералом и дороги от Ревеля до Нарвы.

графа Шувалова и приближался к нему с ощущением некоего внутреннего ужасения.

«О дом! — говорил я сам себе, взирая на огромные и великолепные палаты сего знатного и столь сильного тогда вельможи. — От тебя проистекало мое злополучие! Исправишь ли ты оное или нет? И с печалью или радостью буду я от тебя возвращаться?»

Я знал, что мне надлежало пакет мой подать в его канцелярию, и для того спрашивал я, где б оная находилась. Мне сказали, чтоб я шел в дом к его любимцу, где тогда находилась графская канцелярия, и указали улицу, в которую мне иттить надлежало. Это был господин Яковлев, тогдашний генеральс-адъютант и ближайший фаворит графа Шувалова. Я наслушался уже прежде об нем довольно и знал, что он находился в великой силе у графа и управлял всеми делами в его военной канцелярии. По пришествии к нему на двор указали мне канцелярию, но оттуда послали меня к нему в хоромы и велели подать самому ему пакет мой в руки...

...По счастию, застал я его еще дома, и часовой, стоящий у дверей, обрадовал меня, сказав, что не выходил он еще из спальни... Вошед в зал, нашел я его весь набитый народом. Я увидел тут множество всякого рода людей; были тут и знатные особы, и низкого состояния люди, и все с некоторым родом подобострастия дожидающиеся выхода в зал любимца графского для принятия прошений и выслушивания просьб. Мое удивление еще увеличилось, когда увидел я, что самые генералы в лентах и кавалериях, приехавшие при мне, не осмеливались прямо и

без спроса входить в его предспальню, но с некоторым унижением у стоящих подле дверей лакеев спрашивали, можно ли им войтить и не помешают ли Михайле Александровичу (так называлась тогда сия столь знаменитая особа, не имеющая хотя, впрочем, больше подполковничьего чина). Но не чин тогда был важен, а власть его и сила, которая простиралась даже до того, что все, кому бы ни хотелось о чем просить графа, долженствовали наперед просить сего любимца и через него получать свое желаемое, по которому обстоятельству и бывало у него всякий день по множеству народа.

Сим окончу я мое теперешнее письмо, оставив вас верно весьма любопытными узнать, что последует далее, и остаюсь и прочая.

ПРЕБЫВАНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

ПИСЬМО 29-е

Любезный приятель! Последнее мое письмо к вам прервал я тем, что находился я, со множеством других всякого рода людей, в зале у господина Яковлева и дожидался с нетерпеливостию выхода сего графского любимца. Мы прождали его еще с добрую четверть часа, но наконец распахнулись двери, и графскиї фаворит вышел в зал в препровождении многих знаменитых людей и по большей части таких, кои чинами своими были гораздо его выше.

Не успел он показаться, как все сделали ему поклон не с меньшим подобострастием, как бы то и перед самим графом учинили. Я стоял тогда посреди залу на самом проходе, дабы не пропустить случая и успеть подать ему пакет свой, и по природной своей несмелости суетился уже в мыслях, как мне приступить к своему делу, но, по счастию, так случилось, что он, окинув всех глазами, на первого меня смотреть начал. То ли, что он меня впервые тут видел, или иное что было тому причиною, — не знаю, но по крайней мере я счел, что тогда было самое наиспособнейшее время к поданию ему пакета. Я подступил к нему с трепещущими ногами и, подавая письмо, трясся, чтоб не узнал он, что оно было припечатано.

Но, по счастию, так случилось, что он и не взглянул на печать, толь много раз мною проклинаемую, но, приняв с величавой осанкою у меня из рук, развернул пополам конверт и бросил на пол. Рад я был неведомо как сему случаю и смотрел, не спуская глаз, на его, читавшего в то время представление генеральское. Сердце во мне трепетало и обливалось кровию, и я стоял как осужденный, ожидающий приговора к животу или смерти. От бывших тут я уже наслышался о великой его силе и знал, что не графу, а ему меня пожаловать или осудить надобно было, и потому с окончанием чтения ожидал я решительной своей судьбины. Прочитав представление, взглянул он на меня и окинул еще раз с головы до ног меня глазами, но, тотчас опять развернув мою челобитную, стал продолжать чтение.

Все стояли тогда в глубочайшем молчании и взглядывали на меня, видя господина Яковлева, читающего бумаги мои с величайшим вниманием. Я стоял тогда вне себя и не знал, что заключить из его поступка, или худое или доброе предвозвещать себе из его взглядов и прилежного читания; по крайней мере, не имел я много причин ласкаться доброю надеждою. Будучи один, незнающ, необыкновенен, а притом без малейшей подпоры и рекомендации, имел я более резона ожидать худого, нежели доброго; вся моя надежда, как я уже упоминал, была на одного Бога, а потому он один и был тогда у меня на уме, и я просил его мысленно о вспоможении. Но самое сие мне всего более и помогло; сие великое существо в таких случаях нам охотнее и помогает, когда ему одному помогать надобно и когда мы всей человеческой помощи ли-

шимся. Но мог ли я тогда сим образом рассуждать и мог ли я хотя мало предвидеть, что тогда имело воспоследовать?.. Поистине дело превзошло всякое чаяние, и можно ли было приттить мне тому в голову, что я в самом том человеке, которого к упрошению надлежало бы мне иметь и употребить многих и сильных ходатаев и о неимении которых я толь много горевал, найду наилучшего о себе старателя и покровителя! Одним словом, господин Яковлев сделался в один момент моим милостивцем и, не прочтя до половины моей челобитной, спросил меня:

— Не Тимофея ли Петровича ты сын?

— Его, милостивый государь, — ответствовал я ему.

— О! — сказал он тогда. — Батюшка твой был мне милостивец, и я никогда не забуду его к себе приятства.

Сказав сие, стал он продолжать читать мою челобитную. Но сих немногих слов довольно уже было к переменению всего моего внутреннего состояния: как солнце, выходя из-за тучи, освещает вдруг весь горизонт и прогоняет тьму, так слова сии прогнали тогда весь мрак моего сомнения и осветили лучом приятнейшей надежды всю мою душу. Одним словом, я не сомневался уже почти тогда о получении всего мною желаемого, и чаянию моему соответствовало последствие.

Господин Яковлев, прочтя челобитную, сказал мне:

— Хорошо, мой друг, ходи только к обедне, и чтоб я тебя всякий день здесь видел.

Я не знал, чтоб такое слова сии значили, а более изъяснить их не допускали его прочие просители, при-

ступившие к нему толпами; однако заключил я, что чему-нибудь, а доброму тут быть надобно, и дожидался уже со спокойнейшим духом отъезда его к обедне.

Не успели мы, проводя его, выттить, как целая толпа сержантов обступила меня кругом и начала вопросами мучить. Иной спрашивал, кто я таков; другой — откуда приехал; третий — которого полку; четвертый — кто был мой батюшка и почему его Михайла Александрович знает, и так далее.

— Государи мои, — ответствовал я тогда им, — я истинно и сам иного не знаю, о чем вы спрашиваете.

И в самом деле, я не только тогда не знал, но и поныне не знаю, каким образом он был родителю моему знаком и какие от него милости видел. Наконец, услышавши от меня о причине моего приезда и о всех обстоятельствах, сказали они почти все в одно слово:

— Дай Бог тебе, братец, благополучие и получить милость божескую; авось-либо и нам при тебе не худо будет, и ты разрешишь, может быть, нашу судьбину!

Я удивился и не понимал, что они говорили, просил их об изъяснении и наконец услышал, что они подобные мне несчастные люди, обойденные в минувшее произвождение, что их более тридцати человек и что они более месяца здесь живут, но ни того, ни сего получить не могут.

— Ты не поверишь, братец, — говорили они, — что мы уже бы рады были, если б нам отказали, а то истинно уже стены все в канцелярии обтерли, а толку никакого нет. Только и добра, что ходи к обедне и молись Богу. Иной, братец, у нас уже раза два в Невский пешком встряхивал, а иные ходили, ходили, да и ходить перестали.

Для меня все сие было чудно и непонятно, и я просил их рассказать мне о том обстоятельстве. Они и исполнили мое желание, и из слов их узнал я следующее. Господин Яковлев старался оказать себя тогда наинабожнейшим человеком; он не пропускал ни одной обедни и маливался в церквах наиприлежнейшим образом, а как он при том был весьма забавный человек, то не знаю, что вздумалось ему с помянутыми из разных полков для таковой же просьбы съехавшимися сержантами вести шутку. Между тем, покуда дела их производились в канцелярии, играл он всеми ими невинным образом. Он заставливал их всякий день ходить к обедне и сим образом приучал к богомолью, и как они принуждены были ходить в самую ту ж церковь, в которую и он езживал, то не упускал он примечать за ними, кто из них был богомольнее и смирнее и кто вертопрашнее прочих. Наутрие, как они прихаживали к нему и когда было ему досужно, забавлялся он с ними иногда шуточными разговорами, и тут бывали обыкновенно иным похвалы, а другим выговоры и осмеяния. Кто более всех учинил проступок, тому определялось наказание: иной должен был зато иттить пешком молиться в Невский монастырь, а другой класть определенное число поклонов или стоять в церкви перед ним и молиться наиприлежнейшим образом. Сим и другим подобным сему образом забавлялся тогда графский любимец сими молодцами и любил особливо тех, которые лучше прочих соответствовали его желаниям. Но как состояли они по большей части из таких же молодых людей, как я, а притом неодинаковых свойств и характеров, то наскучила им скоро сия игрушка; многие

из них начали неприметно удаляться и перестали к нему показываться на глаза, а бродили только в канцелярию, но чрез самое то сами себе хуже сделали. Господин Яковлев, за великим множеством дел, которыми он обременен был, не видя их, позабывал о производстве их дела, а потому так долго и принуждены они были решения оного дожидаться и жить в Петербурге по-пустому.

Обстоятельство сие каково ни было натурально, но, судя об оном с другой стороны, можно некоторым образом сказать, что, может быть, помянутая медленность в произвождении оных происходила и не по слепому случаю, а имело в том соучастие и невидимое смотрение Божеское и святой его обо мне промысл. Всем им давно бы надлежало произведенными быть в офицеры, и тем паче, что во многих были сильные ходатаи и просители и даны были обещания все сделать, но господина Яковлева власно как нечто невидимое отводило от исполнения, и он власно как нарочно дожидался меня, чтоб в список их поместить и мое имя и тем удобнее доставить мне чин офицерский, а без того было ему гораздо труднее и может быть совсем невозможно для одного меня завоевать новое произвождение. Словом, судьбы и промыслы Господни неисповедимы и нами непроницаемы.

Но как бы то ни было, но я вышеупомянутым образом включен был в сообщество оных обойденных и чинов себе толь долго добивающихся сержантов, и господин Яковлев для самого того и приказал мне всякий день к себе приходить, чтоб, увидев меня, чаще вспоминать о нашем деле и тем скорее поспешить производством оного. Сколь молод я тогда

ни был, однако мог заключить, что мне необходимо надобно было все его приказания наиточнейшим образом исполнять стараться, чего ради, не медля ничего более, пошел я тотчас в ту церковь, где он находился. Я стал в таком месте, где б мог он меня совершенно видеть, и, притворясь, будто я его совсем не вижу, молился наиприлежнейшим образом, что мне было и нетрудно, потому что, не в похвальбу себе сказать, смаленьку был к Богу прилежен, а тогда и подавно должно было поблагодарить Бога за милостивое его обо мне попечение. Сие возымело хорошее действие: господин Яковлев примечал все мои движения до наималейшего и, видя, что моление мое было непритворное, был поведением моим очень доволен. Самое сие и произвело выгодные для меня следствия, ибо как я поутру на другой день пришел к нему всех прежде и в зале его любое место себе занял, а на меня смотря пришло и несколько человек моих товарищей, и он, имея по счастию нашему тогда досуг и вышед к нам еще в шлафроке*, по обыкновению своему с нами забавлялся, но похвалил он меня публично перед всеми и говорил, что я хотя и моложе всех, однако прилежнее всех молился Богу, и стыдил тем прочих моих сотоварищей. Потом спрашивал меня о моей матери, о полку, также о том, где я учился, и как он говорил со мною ласково и приятно, то и я не имел причины робеть и ответствовал ему так, что был ответами моими доволен. Со всем тем о настоящем моем деле и о про-

*Халате.

изводении не упоминал он ни единым словом. Сие меня уже некоторым образом и беспокоило, а к несчастию народ, начавший час от часу в зал набираться, прогнал его во внутренние покои, где он обыкновенно одевался.

Со всем тем, проводив его к обедне, не упустили мы зайтить в канцелярию и справиться, нет ли каких вновь приказаний. Тут, к крайнему моему удовольствию, услышал я, что господин Яковлев еще вчера челобитную мою в канцелярию отдал и притом наистрожайше приказал спешить как возможно скорей нашим делом и готовить список для нашего произвождения.

— Вот, братец, — закричали тогда мои товарищи, — не правду ли мы говорили, что подле тебя и нам хорошо будет? Такого приказания не было еще ни однажды. Ей-ей! Сам Христос тебя к нам послал.

Радость, чувствуемую от сего, не почитаю я за нужное описывать подробно; довольно она была чрезвычайна и столь же велика, сколь велика была сперва печаль моя. Со всем тем дело наше продлилось более недели, но причиною тому был уже не господин Яковлев, а нечто другое. Списки наши поспели чрез три дня, ибо господин Яковлев, видая меня всякий день у себя поутру, ежедневно о них вновь подтверждал и приказывал; а остановку и медлительность произвело то обстоятельство, что тогда самого графа Шувалова не случилось в Петербурге. Поелику императорский двор был тогда в Царском Селе, то и граф около сего времени находился там же, следовательно, за отсутствием его и произвождение наше подписать было некому.

Со всем тем, при тогдашних обстоятельствах и поелику была уже бессомненная надежда, мог уже я без скуки возвращения графского в Петербург дожидаться и не тужил бы, хотя б сие и несколько недель продолжалось. Я свел между тем лучшее знакомство в моими товарищами, и мы хаживали с ними вместе всякий день в церковь и к графскому любимцу. Он так ревностно за меня вступился, что, желая скорей меня отправить, одним днем, как списки наши были уже готовы, публично изъявил свое сожаление о том, что граф долго не едет и почти просьбою просил, чтоб я на несколько дней взял терпение.

Таким образом продолжал я жить в Петербурге, питаясь сладчайшею надеждою. Мне не досадны уже были мои позументы, но я часто сам себе говаривал:

«Уже скоро, скоро вы с обшлагов моих полетите!»

Со всем тем препровождал я время свое не совсем праздно, но как все послеобеднешнее время делать мне было нечего, то хаживал я по городу и осматривал места, кои мне видеть еще не случалось. Мой первый выход был в Академию, куда вела меня охота моя к книгам. Могу сказать, что я с малолетства получил к ним превеликую склонность, почему, едучи еще в Петербург, за непременное дело положил я, чтоб побывать в Академии и купить себе каких-нибудь книжек, которые в одной ней тогда и продавались. В особенности же хотелось мне достать «Аргениду», о которой делаемая мне еще в деревне старичком моим учителем превеликая похвала не выходила у меня из памяти. Я тотчас ее первую и купил, но как в самое то время увидел впервые и

«Жилблаза»*, которая книга тогда только что вышла и мне ее расхвалили, то я не расстался и с нею.

Обоим сим книгам был я так рад, как нашед превеликую находку. Досадно мне было только то, что обе они были без переплета, и это были первые книги, которые купил я в тетрадях и кои принужден был впервые учиться складывать и сшивать в тетрадку, дабы мне их читать было можно; но работа сия была мне не столько скучна, сколько увеселительна, хотя и препроводил я в том много времени.

Кроме того, не оставил я исполнить еще один долг и побывать у одного моего родственника. Это был наш деревенский сосед и однофамилец, по имени Никита Матвеевич Болотов. Он служил тогда в Троицком пехотном полку полковником и доводился мне дед, потому что отцу моему был он внучатной дядя. При приезде моем в Петербург я не знал, что сей полк, следовательно и он, находился в Петербурге, а потому и не взял моего к нему прибежища; а тогда, хотя мне в вспоможении его и не было нужды, однако я за должность почитал побывать у него, как скоро об нем услышал. Он стоял тогда с полком своим лагерем на Выборгской стороне и был мне почти вовсе незнаком, потому что я его видал только в младенчестве, да и то не более двух раз.

Он принял меня приятно и сходственно с своим характером, который имел в себе некоторые особливости. Он был человек немолодых лет и из числа старинных, а не новомодных людей; жития был че-

*См. примечание 10 после текста.

стного, но весьма строптивого; нрав имел горячий, вспыльчивый и во всех своих делах наблюдал такую единоравность, что почитаем был от всех не только весьма строгим, но притом своенравным и упрямым человеком. Но что всего хуже, то дух его заражен был непроницаемым лукавством, для которой причины ни с одним человеком не обходился он поверенно, но всегда содержал себя в некотором удалении. Сей порок умел он прикрывать наилучшим покрывалом, обходясь с незнакомыми и посторонними людьми с необыкновенною ласкою и униженностию, и потому с первого вида казался всякому ангелом, а не человеком. Но противное тому оказывалось, когда доходило кому иметь с ним дело ближе или кто по несчастию попадался ему в команду; одним словом, для вышеупомянутых причин не имел он на свете ни одного не только верного друга, но ниже хорошего приятеля, и тому единственно сам был причиною. Ибо, как он и с наилучшими приятелями и родственниками своими обходился всегда с лукавством и никогда не доходило до откровенности и дружеской поверенности, и он наиболее не то говаривал, что думал, то и они, не могши получить и найти в нем то, что в обхождении и дружестве приятным почитается, мало-помалу от него отставали. Сим образом обходился он и с покойным моим родителем, и они хотя и были между собою приятелями, но приятство их далеко было удалено от прямого дружества, почему не знаю и я, помог ли бы он мне, если б я и взял мое к нему прибежище.

Таким образом, принял он меня с оказанием возможнейшей наружной ласки и расспрашивал о при-

чине моего в Петербург приезда. Я рассказал ему все и в каких обстоятельствах находилось тогда мое дело, и ожидал, не назовется ли он сам съездить к г. Яковлеву и о скорейшем поспешествовании моему делу употребить просьбу, хотя мне в том и не было уже нужды. Однако он далеко от того удален был, но паче боясь, чтоб я его о том просить не стал, старался речь свою скорее переклонить на другую материю. Он велел послать к себе своего сына, который несколькими годами был меня моложе и учился тогда по-немецки и по-французски, и был предорогой* мальчик. Он заставил его при мне говорить со слугою и сотоварищем своим в науках по имени Маркел по-немецки, и я признаюсь, что я пристыжен был тогда чрезвычайным образом: я видел, что он говорил гораздо лучше меня, и завидовал ему в сем совершенстве.

Потом приказал он водить мимо своей ставки взводы обучающихся солдат и показал мне, власно как величаясь исправностью оных. Со всем тем показались мне офицеры паче мертвыми, нежели живыми, ибо они, водя своих солдат мимо него, трепетали, так сказать, его взгляда. Тогда подумал я сам себе, сколь великая разность находилась между его полком и нашим, где о таких строгостях никто не ведал и где полковника своего все любили и не страшились, как лютого зверя, а потому и не желал я быть в полку у него, несмотря хотя был он мой не дальний родственник и хотя б меня к тому приглашать стал. Но, по счастью, у него того и на уме не было, но он просил только

---

* В смысле — премилый, очаровательный.

меня при отходе, чтоб я не уезжал из Петербурга, не побывавши у него еще раз.

Наконец приехал граф из Царского Села и решил нашу судьбину. Радость, которую я чувствовал при перемене моего состояния, была тем чувствительнее и больше, чем нечаяннее получил я оную. Одним днем, не зная нимало о воспоследовавшем еще накануне того дня приезде графском и пришед очень рано на двор к господину Яковлеву, не успел войти в канцелярию, как бросились на меня канцелярские служители и начали щипать и сдирать с обшлагов моих позументы. Я выразумел уже, что сие значит, и, будучи вдруг поражен неописанною радостию, с охотою уступал им сии лыки. Они поздравляли меня с получением чина и сказывали, что Михаил Александрович еще вчера, как скоро граф приехал, вез к нему наше произвождение, и граф беспрекословно подписал оное, и что, словом, я теперь не сержант, а господин подпоручик.

Вот сколь велико усердие к нам было господина Яковлева и сколь много старался он о скорейшем окончании нашего дела. Мы, собравшись все, пошли тотчас к нему приносить наше благодарение, и признательность моя была так велика, что если б можно было, то расцеловал бы я у него тогда все руки и пальцы. Он поздравлял нас с получением чинов офицерских и товарищам моим публично сказал, что они благодарить должны много и меня, ибо, если б не для меня он поспешил, то бы им долго еще ждать принуждено было, а иным и вовсе было бы отказано; а мне сказал он краткое нравоучение, чтоб я жил и вел себя порядочно и заслуживал бы себе такую же честь и доброе имя, как отец мой. Таким

образом пожалован я был в офицеры, а минувшее несчастие исправлено было наисовершеннейшим образом, ибо велено было отдать мне и старшинство мое и считаться вместе с прочими апреля с 25-го числа, через что и не потерял я пред прочими моими полковыми сотоварищами. Со всем тем радость и удовольствие мое нарушаемо и тревожено было еще одним обстоятельством: всех нас произвели, но по местам еще не распределили. К несчастию, все полки нашей дивизии в последнее производение укомплектованы были офицерами и мест порожних было очень мало, почему, куда нас девать и определить, не знали. К вящей моей досаде, в нашем Архангелогородском полку не было ни единой подпоручицкой вакансии, и сие меня наиболее смущало, ибо в другой полк мне неведомо как не хотелось. Сверх того и в других полках было только несколько адъютантских вакансий, а сей чин меня уже сам собою устрашать был в состоянии. Я говорил о том кой с кем в канцелярии, но все уверяли меня, что пособить тому никоим образом было не можно и что остается мне только два средства: либо итти в другой полк в адъютанты или, ежели хочу неотменно в свой, то служить несколько времени сверх комплекта и без жалованья, да и сие разве только по моей просьбе г. Яковлев сделать может. Обрадовался я, сие услышав, и, желая неотменно в свой, не тужил о жалованье и пошел немедленно просить о том моего милостивца, в коем я тогда уже не сомневался. Он и действительно и слова не сказал сие сделать, но опробовав и сам мои причины, для коих я в своем полку быть желал, велел тотчас по просьбе моей ис-

полнить, уверяя при том, что мне недолго без жалованья послужить достанется, и что я при первом случае в комплект помещен буду, и что он о сем не преминет постараться.

Таким образом, определен я был в свой полк сверх комплекта и через несколько дней получил совершенное свое отправление. Радость о толь благополучном успехе и окончании всех моих намерений была неописанная, и новый мой чин прельщал меня до бесконечности. Признаться надлежит, что первая сия степень для нас особливой важности: человек тогда власно как переродится и получает совсем новое существо, — а точно то было тогда и со мною. Мне казалось, что я совсем тогда иной сделался, и я не мог на себя и на золотой свой темляк и на офицерскую шпагу довольно насмотреться, в особливости же смешон я тогда был, как пошел прощаться с моим дедом. Не успел я приттить к лагерю, как первый часовой, увидев меня, тотчас мне, как офицеру, ружьем своим честь отдал. Я восхищен был до бесконечности сим зрелищем и был учтивством его тем более доволен, что досадовал до того на гвардейских часовых, мимо которых мне иттить случилось, что они мне чести не отдавали. Я не знал, что у них сего нет в обыкновении, а приписывал то единой их грубости и неучтивству, говорил тогда сам себе:

«Скоты вы самые и, конечно, слепы, что не видите, что офицер идет».

Но армейские солдаты зато наблюдали лучше свою должность, и я так много тем прельщался, что нарочно пошел до ставки полковничьей перед фрунтом, чтобы все ротные часовые также бы меня почтили, и для лучшего побуждения выстанавливал на-

рочно свой темляк, чтобы они видели и знали, что я офицер и человек патентованный.

Распрощавшись с своим дедом, который о благополучии моем оказывал всякую наружную радость, а потом с господином Яковлевым и принеся сему последнему за все его милости тысячу благодарений, отправился я наконец в исходе июля месяца из Петербурга к полку своему, благословляя сей столичный город за все добро, полученное в оном.

Легко можно всякому вообразить, что сие обратное путешествие было для меня еще несравненно веселее и приятнее, нежели прежнее. Дух мой не озабочиван уже тогда был сомнением и не удручаем печалью, но вместо оной всеми чувствиями моими обладала радость и удовольствие. Погода случилась и в сей раз весьма благоприятная, и как мы не имели причины слишком поспешать, то ехали мы себе в прохвал*, становились кормить лошадей и ночевать в любых местах на лугах и при водах, а приехав в Нарву, запаслись на дорогу тамошнею славною просольною ряпухою**, которая рыба в особливости была вкусна жареная на угольях. Я объедался оною на каждом ночлеге, и она была мне тем вкуснее, что я сам поджаривал ее на раскладываемых нами огоньках и угольях. Наивящее же удовольствие производили мне в сем путешествии обе мои новые книги. Я изобразить не могу, с какой жадностью и крайним удовольствием читал я дорогою моего «Жилблаза».

---

*От прохвала — прохлада, лень; в прохвал — прохлаждаясь.

**Название рыбы.

Такого рода критических и сатирических веселых книг не случалось мне читать еще отроду, и я не мог устать, читая сию книгу, и в несколько дней всю ее промолол. По окончании оной принялся я за свою «Аргениду». Сия производила мне не меньшее удовольствие; пиитический и героический слог, каковым писана была сия книга, был мне в особливости мил и приятен, а описываемые приключения крайне любопытны и увеселительны. Я читал также и ее, не выпуская почти из рук, и могу сказать, что чтение сих обеих книг так занимало мое внимание, что я в сей раз и не видал почти тех мест, мимо которых мы ехали, и все путешествие мое делало толь приятным и веселым, что я не помню, чтоб когда-нибудь в иное время препровождал путешествие с столь многим удовольствием, как тогдашнее. Словом, я не видел, как переехали мы все немалое расстояние от Петербурга до Ревеля и до Рогервика, куда мы через несколько дней благополучно приехали.

Сим образом кончилась поездка моя в Петербург, предпринятая хотя наудачу и без всякой надежды, но имевшая успех наивожделеннейший. Сей успех поистине превзошел все мое чаяние с ожиданием, а все вышеупомянутые происшествия подтвердили истину той пословицы, что «когда Бог пристанет, так и пастыря приставит». Сие сбылось действительно тогда со мною, и я не мог довольно возблагодарить за то моего бесконечного создателя.

Сим окончу я мое теперешнее письмо, а в последующем начну рассказывать вам о том, как я начал жить офицером, а между тем остаюсь и прочая.

РОГЕРВИК

ПИСЬМО 30-е

Любезный приятель! Ну, теперь начну я вам описывать настоящую мою службу, ибо до сего времени была она еще ни то, ни се и я жил при полку совершенным волонтером и не нес никакой должности. Однако и тут не тотчас она началась, как я к полку приехал, но я все-таки имел несколько времени для отдохновения.

По возвращении моем в Рогервик к полку нашему нашел я зятя моего от болезни своей почти исцелившегося. Он приездом и успехом езды моей чрезвычайно был обрадован, а не менее того оказывали радость и прочие господа офицеры, а особливо благоприятствующие мне и живущие в дружбе с моим зятем. Все поздравляли меня с моим благополучием, приходя нарочно затем к моему зятю, что подало повод к многократным попойкам и угощениям, приличным сему случаю. Один только господин Колемин стыдился тогда смотреть на меня, и все офицеры поднимали его почти въявь на смех.

Сам старичок наш полковник был весьма рад, что удалось мне получить желаемое. Он поздравлял меня от искреннего сердца, как я к нему явился, и желая с своей стороны оказать мне какое-нибудь благоде-

яние и в уважение, что я определен был сверх комплекта и принужден был жить без жалованья, не велел меня до времени посылать ни на караул, ни в команды, а дозволил жить по-прежнему с моим зятем, в чем никто не имел на меня претензии. Итак, хотя меня и причислили в первую на десять* роту, однако я не нес до самого окончания того лета никакой должности, но жил вместе с зятем моим в построенной им между тем для себя изрядной горенке совершенным волонтером, не ходя никогда на караул, равно как и в бываемые строи и полковые учения, но которые тогда почти все уже миновались, и я застал только один инспекторский смотр, бывший полку нашему.

Живучи в такой праздности, имел я довольно свободного времени ходить к прочим товарищам своим офицерам и сводить с ними теснейшую дружбу и знакомство. Все они меня, и как старые, так и молодые, в короткое время отменно полюбили, и всеми ими был я совершенно доволен. Сам майор наш, господин Колемин, старался оказывать мне всякую ласку и благоприятство, не то угрызаем будучи совестью и стараясь тем загладить прежний свой против меня проступок, не то видя, что я, не памятуя зла, оказывал к нему всегда достодолжное почтение. Самые привезенные мною книги помогли мне приобресть от некоторых охотников до чтения особливое благоприятство. Они во все достальное лето принуждены были переходить из рук в руки, и все читавшие

---

* Одиннадцатая.

их не могли довольно их расхвалить и меня возблагодарить за то, что я привез к ним такое приятное упражнение...

...Препроводив достальную часть лета в сем лагере и по приближении осени, получили мы повеление, чтоб полку нашему расположиться по винтер-квартирам. Оные ассигнованы нам были в эстляндских деревнях, неподалеку от Рогервика, и как квартирам, каковы б они ни были, обыкновенно все бывают рады, то нимало не медля полк туда и выступил.

Обстоятельство сие подало повод к великой перемене и в моих обстоятельствах. До того времени жил я, как выше упомянуто, вместе с моим зятем, что было и можно, потому что он имел горницу в самом лагере. Но тогда зятю моему надлежало ехать уже вместе с полковым штабом и стоять неподалеку от полковника, а роте нашей иттить совсем в иную сторону и в таких местах расположиться по квартирам, которые отделены были от штаба не менее 80 верст, то мне как офицеру, долженствующему уже помышлять о действительной службе, неприлично было уже ехать и по-прежнему жить вместе с зятем, но я принужден был наконец с ним расстаться и отправиться с ротою жить самим собою. Перемена сия была мне хотя весьма чувствительна, но как переменить того было не можно, то принужден я был повиноваться времени и случаю и быть тем довольным.

Таким образом, распрощавшись, пошли мы по разным дорогам. Роты нашей командиром был тогда поручик князь Мышецкой... Сей человек полюбил меня отменно пред прочими, и для самого того и

определили меня в его роту. Пришедши на квартиры, нашли мы их не в весьма хорошем состоянии; самому ротному командиру отведен был самый бедный и пустой подмызок, а мне приходилось стоять не инако как в рею чухонском. Сии реи составляют у тамошнего беднейшего и гнуснейшего в свете народа вкупе и избы их, и овины: они и живут в них, и сушат свой хлеб, и кормят свою скотину, а что того еще хуже, из тех же корыт, из которых сами едят свою пудру или месиво. К вящему беспокойству, нет в них ни единого окошка, ни единого стола и ни единой лавки, но дневной свет принужден проходить сквозь нерастворяющуюся, а задвигающуюся широкую, но низкую дверь и освещать сию тюрьму, стоя во весь день настежь; самая печка сделана у них не по-людскому, но в одном против дверей угле в вырытой яме. Я ужаснулся, как увидел отведенную себе квартиру, и не понимал, как мне в такой тюрьме и пропасти жить и препровождать целую зиму. Но, по счастию, избавился я от сего беспокойства: князь, узнав сие, ни под каким видом не хотел допустить, чтоб я стоял в оной, но просил меня стать и жить с ним вместе, на что я с великою радостию и согласился.

Таким образом нажил я себе нового компаньона или товарища, и мы расположились в квартире своей порядочно. Князь уступил мне маленькую каморку, где я имел свой стол и окошко, а сам определил для себе переднюю и большую горницу; третья ж и холодная каморочка составляла общую нашу кладовую, а через сени в другой половине были наши люди и ротная канцелярия...

...Несколько дней спустя после нашего приезда принужден я был переходить тот порог, который переступают почти все молодые люди тогдашнего моего возраста и нередко, спотыкаясь, погибают, а именно — слечь и вытерпеть жестокую горячку. Это было в первый раз в моей памяти, что я был болен, кроме обыкновенных во время младенчества болезней. Болезнь моя продлилась хотя недолго и не более двух недель, но доводила меня до крайности; одним словом, все почти сомневались о моей жизни и не чаяли мне выздороветь. При сем-то случае узнал я доброе сердце моего товарища, который один был тогда и моим надзирателем и лекарем, ибо в штаб за лекарем посылать было не только что далеко, но за реками, тогда только замерзать начинающимися, было и не можно, а сверх того и зятя моего при полку тогда не было: он отпросился на самое короткое время в свою деревню и был тогда дома. Итак, все попечение обо мне имел тогда один мой товарищ. Он и подлинно ходил тогда за мною, как за родным своим братом, не отлучался ни на минуту от меня и не оказывал никакой от того скуки и неудовольствия; самая водка* его стояла во все сие время под кроватью с покоем и без всякого к ней прикосновения. Единое только смешное обстоятельство было ему крайне досадно, а именно: во время болезни моей вспомнился мне как-то медовый квас, какой пивал я в рядах, в Петербурге, и как в горячке у больных

---

*В опущенных отрывках говорилось об его пристрастии к водке.

бывают иногда странные прихоти, то захотелось и мне оного. Но где было взять в чухнах меду? Товарищ мой с ног сбил солдат и лошадей, посылая всюду искать оного, но нигде не находили и ни за какие деньги не можно было достать ни одного золотника оного, толь велика была пустота сих мест и мизерность тамошних жителей; в города же посылать было тогда за распутицею не можно, да и очень далеко. Товарищ мой в то время, когда я занемог, по случаю, что у нас весь на ту пору изошел чай, с величайшею нуждою достал и оного несколько золотников, и за ним принужден он был посылать верст за сорок к приятелю нашему господину Головачеву, и посланные чуть было не перетопли. Со всем тем не давал я ему ни на минуту покоя: «Давай мне меду», да и только всего! Долго он от меня кое-как отделывался, но наконец не знал уже, что делать. По счастию, скоро я потом стал выздоравливать и избавил его от своей докуки. Крепость натуры и молодость моя преодолели болезнь, или, паче сказать, Богу не угодно было лишить меня жизни.

Кроме сей имел я еще другую и того страннейшую прихоть. Как мне уже немного полегчало, то приди ко мне превеликий аппетит к водке. Мне мечталось, что она имеет в себе неописанные приятности, и напоминание, как офицеры в походе пивали ее из погребцов, побуждало меня желать и требовать сего напитка. Однако князь меня уже в сем случае не послушал и наотрез отказал.

Не успел я от болезни своей освободиться, как получил радостное известие, что наконец сделалась в полку нашем ваканция и меня в комплект при-

числили. Мне сие тем было приятнее, что без жалованья жить мне уже и гораздо скучилось. Денежек не было у меня давно уже ни полушки, и я в ожидании привоза из деревни пробавлялся уже кое-как, занимая и живучи почти совсем на коште моего товарища.

Сим окончу я сие письмо, и остаюсь и прочая.

ПРИУГОТОВЛЕНИЕ К ПОХОДУ

*ПИСЬМО 36-е**

Любезный приятель!.. Не успело двух недель пройтить после святой недели и весна только что вскрыться, как получен был в полк секретный ордер, чтоб ему немедленно выступить из своих кантонир-квартир** и иттить в Ригу, как назначенное для генерального рандеву*** место. Это было 17 апреля, как получено было первое о том повеление, которое тотчас сообщено было от полку всем ротным командирам.

Нашим ротам велено было собраться в мызу Кастран, где тогда наш штаб квартировал, к 24-му числу помянутого месяца...

...Я прибыл с ротою моею**** в штаб поутру на

---

* В опущенных письмах 31, 32, 33, 34, 35 Болотов рассказывает о жизни в Рогервике, караульной службе, постройке мола, встречах, о времяпрепровождении своих приятелей, о командировке в Ревель, о работе над переводами, о походе из Ревеля в Ригу, о жизни на частных, занятых под постой войск квартирах, об устройстве фейерверка и т. п.

** Квартиры местных жителей, занятые для постоя войск.

*** В смысле — сбора.

**** В опущенном 34-м письме говорится о назначении Болотова в 1756 г. командиром роты.

последующий день, а к вечеру мало-помалу собрались и все прочие роты, кроме тех, которые стояли на тракте, куда нам иттить надлежало и коим велено было там полка дожидаться. Все мы расположились за версту от мызы Кастран лагерем и ночевали. Поутру же в последующий день отпущены были наши обозы в путь, а около десятого часа, по отслужении молебна и по испрошении у Бога милости и покровительства, отправились и мы с пехотою и пошли на войну. Сие было 25 числа апреля.

В сей день ночевали мы при корчме Варвар, а наутрие, соединившись с прочими ротами, пошли далее к Риге и ночевали при Смизнис-мельнице, где в последующий день дневали. В сем месте случилось мне в первый раз отроду видеть масляную мельницу и то, как масло бьют водою, что довольно было курьезно и стоило того, чтоб посмотреть. Наутрие же, то есть 28-го апреля, прибыли мы наконец под Ригу.

Мы нашли уже тут великое множество военного народа. Все поля представились нам усеянными людьми и все белелись от установленных повсюду полков и их белых палаток. Все полки прибыли уже тогда в сие сборное место, и солдаты повсюду взад и вперед ходили. Везде видимо было поспешение и повсюду необходимое в сих случаях замешательство: инде* везли пушки и другие артиллерийские снаряды, в других местах шли команды и полки, а инде был крик и шум от идущих обозов и тягостей. Бе-

---

*Так что, что даже.

гание пеших и скакание на лошадях представлялось повсюду зрению, а слух поражаем ржанием коней, звуком труб и биением барабанов. Одним словом, все находилось в превеликом движении и ничто иное как предстоящий и начинающийся уже поход предсказывало. И как сей случай первый еще в моей жизни был, что я толикое множество военного народа и столько лагерей и полков вдруг и в одном месте увидел, то зрелище сие было для меня очень поразительно, и сердце во мне ровно как поднималось и прыгало при взирании на все сии военные ополчения.

Мы заняли было сперва лагерь под свой полк версты за три не доходя Риги и надеялись, что мы простоим тут, по крайней мере, несколько дней, но надежда нас обманула. Мы не успели расположиться, как принуждены были в тот же еще день опять выходить из своего лагеря, и нам велено было, не знаю для чего, подвинуться ближе к городу и стать лагерем подле самого форштата*.

Тут прислано было тотчас к нам повеление, чтоб мы все ненужные вещи оставляли и колико можно повозки наши облегчали; в противном случае, если усмотрено будет что-либо лишнее, то отнимется и сожжется. Толь строгое и на первой встрече данное повеление наделало между офицерами во всей армии великую тревогу: у всех у нас много было излишних или, по крайней мере, таких вещей, без которых нам можно было обойтиться и кои повозки наши

*Окраина города, пригород.

отягощали. Мы, привыкнув уже к обыкновенным в мирное время прохладным походам, думали, что и тогда дозволено нам будет возить с собою всякую всячину, и потому об оставлении оных на квартирах или в других надежных местах нимало прежде не помышляли; следовательно, тогда не знали, что с ними делать и куда с ними деваться. К вящему несчастию, турили нас тем и понуждали чрезвычайным образом. При таких обстоятельствах горе на нас на всех было превеликое: мы, сошедшись, жаловались друг другу и требовали совета, но все наши жалобы были по-пустому; всякому самому добрый совет был тогда нужен, но подать его было некому, а вообще все только роптали на наших начальников и главных командиров и бранили их за то, что не остерегли они нас в том заблаговременно, а сказали тогда, когда нам с своими излишними вещьми деваться было некуда и когда разве только их бросать принуждено было. Все почитали сие уже первым беспорядком и говорили, что ежели и впредь такие будут порядки, то толк невелик будет. Однако все таковые наши роптания не помогли нам ни на волос, а требовалось скорого только исполнения того, что приказано.

При таких замешательствах рад я уже и тому был, что нашелся один добрый человек, который хотел отослать мои вещи вместе со своими на одну знакомую ему мызу, где, говорил он, они пропасть не могут. Это был поручик г. Вульф, нашего полку и мне хороший приятель. Я с радостью согласился на его предложение, и как мы не знали, долго ли наш поход продолжится и все еще ласкались надеждою, что к зиме опять воротимся, то без дальнего раз-

мышления связал я изрядную кипу всякой всячины и отдал ему. Одним словом, одних моих вещей набралось с целый почти воз, однако они все благополучно пропали. Но мне ничего так не жаль, как некоторых книг: их одних наклал я целый ящик и коих было более трех десятков, ибо я оставил при себе одни только самонужнейшие; кроме сего, было и других вещей более, нежели рублей на тридцать. Кому они все достались и кто ими завладел, того не знаю я и поныне, ибо в походе потерял я и записку о той мызе, а приятель мой г. Вульф переведен был вскоре в другой полк, и я его с того времени не видал и не знаю, жив ли он или нет. Сие случилось со мною, а какое великое множество распропало тогда разных вещей у других, того исчислить не можно: многие принуждены были действительно их кидать, ибо не знали, куда с ними деваться.

Теперь следовало бы мне вам, любезный приятель, рассказывать далее, долго ли мы в сем месте стояли и что последовало далее, но как письмо мое уже велико, а с сего пункта времени начинается описание собственного уже всею армиею похода и нашей войны, то отложил я сие до письма последующего, а между тем, уверив вас о непременной моей дружбе, остаюсь и прочая.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ



Часть четвертая

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРУССКИЕ ПОХОДЫ

НАЧАЛО ПОХОДА

ПИСЬМО 37-е

Любезный приятель! Предпринимая теперь описывать нашу прусскую войну или ту часть оной, которую мне самому видеть случилось, не за излишнее почитаю предпослать наперед краткое историческое о том объяснение, что собственно подало повод к тому, что мы вплелись в сию славную в Европе и так называемую Семилетнюю* войну, которая была столь пагубна человеческому роду и на которой погибло со всех сторон толь великое множество народа.

Пролитию толь многой крови человеческой был наиболее и едва ли не первою и наиглавнейшею причиною умерший за несколько лет до сего король прусский Фридрих II, дядя ныне владеющего короля прусского. Будучи рожден с отменными качествами и дарованиями, воспитан в строгости у отца, его не любившего, и совращен в молодости еще своей учителями и друзьями не весьма хороших характеров с пути истинных добродетелей и препроводив все молодые свои лета почти в неволе, не успел он лишить-

---

*См. примечание 11 после текста.

ся отца своего и в 1740 году вступить по нем на престол прусский, как, нашед у себя прекрасное и многочисленное войско, великое множество наличных денег и все государство свое в цветущем и весьма хорошем состоянии, восхотел воспользоваться сделавшимся тогда по причине смерти императора Карла VI по всей Европе замешательствами и отнять наглым почти и несправедливейшим образом от цесарской державы смежную к себе и весьма знаменитую провинцию Шлезию*. Он напал наискоропостижнейшим образом тогда на сию провинцию и, будучи весьма расторопным, хитрым, к войне отменно способным и в оной счастливым государем, утеснил оставшуюся после помянутого императора дочь Марию-Терезию с своей стороны так, что сия утесненная и гонимая тогда почти целою Европою государыня, для спасения своего и удержания при себе достальных наследственных земель после отца своего и самой императорской короны, принуждена была поневоле уступить ему помянутую провинцию.

Но как лишение оной для цесарского двора слишком было чувствительно и помянутая государыня не могла никак забыть обиды, чрез то ей причиненной, то не успела тогдашняя война окончиться и сия славная и счастливо все напасти преодолевшая государыня утвердиться на цесарском престоле, как начала она помышлять о возвращении себе помянутой провинции и делать к тому издалека сокровеннейшие приуготовления. При помощи министров

---

*Силезию.

своих нашла она средство преклонить на свою сторону многих и сильных европейских государей и приобресть в них себе сильных союзников. Самые те, которые до того с нею воевали и ей недоброхотствовали, сделались ей друзьями и помощниками. Заключены были тайные союзы с саксонским курфюрстом, бывшим тогда вкупе и королем польским, также с королем французским и с самою Швецией; а употреблены были все удобовозможные способы к заключению такового же союза с Россиею и к преклонению и ее к тому, чтоб и она вплелась в сие замышляемое и до нее нимало не касающееся дело. Происки и хитрости тогдашнего саксонского министра Бриля, который наиболее всем сим делом тогда проворил, и имели в том успех вожделенный. Владеющей тогда Россиею императрице Елизавете Петровне, которая, как носилась тогда молва, имела и без того уже некоторую личную на короля прусского досаду и ненавидела оного, внушено было столько худого о короле сем и насказано столько опасностей, предстоящих якобы России от сего прославившегося и столь усилившегося государя, что и неудивительно, что происками цесарских, французских и саксонских министров доведена была наконец и она до того, что решилась заключить таковой же союз и помогать цесареве в замышляемом ею деле всеми силами своего государства. И как все сие производимо было втайне и весьма сокровенным образом, то может бы дело сие и возымело успех вожделенный и король прусский не только б лишился опять Шлезии, но и усмирен был по желанию всех вообще союзников, если б не воспрепятствовало всему тому

одно бездельное обстоятельство и не сделало во всем великой перемены и помешательства.

Корыстолюбие и измена одного бездельника секретаришки, чрез которого производились все дела помянутым саксонским министром графом Брилем, была всему тому причиною и не только разрушила великие намерения столь многих государей, но возжгла и огнь войны, погубившей бесчисленное множество народа и причинившей множайшему количеству смертных неописанные разорения, несчастия и напасти. Сей бездельник, погибнувший потом сам без вести и слуха, подкуплен будучи королем прусским, уведомлял его еженедельно обо всем, что ни происходило секретно в кабинете Брилевом, и сообщал ему даже самые копии с сокровеннейших переписок между дворами. А чрез сие средство и узнал король прежде времени о том, сколь страшная воздвигается на него буря, и, будучи весьма хитр и во всех своих делах и предприятиях весьма скор и крайне расторопен, нашел способ предупредить удар, ему угрожающий, и положить всем предприятиям противников своих возможнейшую преграду. Он, не дав времени союзникам сделать последние военные приуготовления и пользуясь тем временем, покуда они еще не совсем собрались, вошел вдруг и без всякого объявления войны с 60 000 чел. своего войска в саксонское курфюрство, овладел всем оным в один миг, принудил все саксонское и к войне не приготовившееся еще войско отдаться ему в плен, а самого короля — удалиться в его Польшу, а оставшую королеву в Дрездене толико утеснил и огорчил, что она вскоре после того лишилась жизни. Все стара-

ния цесарского двора к отвращению сих наглостей и самое сражение цесарских войск с прусскими, бывшее на границах Богемии, было безуспешно и не могло короля прусского остановить в быстрых его предприятиях и счастливых успехах.

Все сие случилось в конце минувшего 1756 года, и самое сие зажгло огнь войны во всей Европе и подало повод к началу сей войны страшной. Во все новейшие времена не бывало еще никогда столь страшного вооружения и толиких ополчений, какие производились везде в начале сего 1757 года. Целых девять армий выступило весною сего года в разных местах в поле, и король прусский окружаем был со всех сторон неприятелями. С одной стороны готовились нападать на него французы, с другой — так называемые имперские войска со стороны Саксонии, с третьей — цесарцы со стороны Богемии и Шлезии, с четвертой — шведы со стороны Померании, а с пятой велено было иттить и атаковать его нашим войскам со стороны Пруссии. А король прусский готовился между тем не только защищать и оборонять землю свою повсюду, но иттить еще сам и разорять Богемию.

Сия-то причина была тогдашнему сборищу всех наших войск к Риге, о котором упоминал я в моем последнем письме к вам, а теперь, возвращаясь к прерванной тогда материи, скажу, что между тем, как мы помянутым тогда образом стояли лагерем подле самого форштата города Риги и с своими излишними пожитками не знали, что делать, и их разбрасывали, деланы были со всеми полками великие распоряжения. Все они разделены были на разные

дивизии и бригады, из которых к каждой определены были особливые генералы командирами. Каждая бригада составляема была из трех полков и командовал ею обыкновенно какой-нибудь генерал-майор или бригадир. Наш Архангелогородский полк достался в бригаду вместе с третьим гренадерским и Ростовским полком, и в бригадные командиры получили мы себе генерал-майора Вильбоа.

Как намерение наших главных командиров было перевести нас колико можно скорей за Двину, то велено было нам к последующему дню готовиться иттить церемониею чрез город Ригу и переходить по сделанному мосту чрез Двину-реку в отведенные на той стороне реки лагери, ибо в тот день, в который мы пришли, переходила другая бригада, состоявшая из Бутырского, Белозерского и Апшеронского полку. Итак, наутрие, то есть 29-го апреля, отправив наперед обозы, перешла и наша бригада и стала версты за три от города лагерем.

Перехождение через Двину армии помянутым образом, побригадно, было по справедливости зрения достойно, ибо назначенный тогда для предводительства армиею генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин хотел в самое то время видеть все полки, ему в команду порученные и с ним в поход против неприятеля отправляющиеся, и для того при самом всходе на мост разбиты были два великолепных шатра, из которых в одном находился всегда помянутый главный полководец сам со всем прочим генералитетом и знатными и чиновными людьми, а другой наполнен был великим множеством дам и знатных госпож, хотящих также видеть редкую сию

церемонию. Все городские валы поблизости сего места, также дома, кровли и окошки усыпаны были народом обоего пола.

Что касается до полков, то все они должны были иттить наилучшайшим порядком и церемониею и быть в наилучшем убранстве. На всех солдатах воткнуты были в шляпы зеленые древесные ветви, власно как для предвозвестия будущих побед, которые они одержат над неприятелем. Прежде всего маршировали всех полков той бригады собранные фурьеры* с распущенными своими значками, при предводительстве своих квартермистров. Сей нежный строй с разноцветными своими маленькими знаменами составлял первое великолепие всего шествия. Потом шел штат** и ведены были заводные лошади командующего тою бригадою генерала. Ничто так не умножало великолепия, как прекрасные попоны, которыми сии лошади были покрыты; во всей армии у генералов поделаны они были тогда одинакие, и хотя не богатые, но великолепный вид представляющие. Они сделаны были из вощанки, но расписаны и размалеваны разными красками, отчего издали казались быть шелковыми; по бокам на оных изображены были с золотом вензелевые имена и гербы того генерала, что все производило некий величественный и пышный вид. За сими лошадьми везены были пуш-

---

*Название унтер-офицеров, исполнявших обязанности ротных и эскадронных квартирьеров. Они носили значок и даже в пехоте ехали верхом.

**Вероятно, штаб, т. е. офицеры штаба армии.

ки с их ящиками и снарядами, а там следовал сам генерал верхом в провожании своего штата; за оным же следовали полки его бригады обыкновенною церемониею, с распущенными знаменами, с барабанным боем и играющею военною музыкою. Все офицеры и самые знамена должны были салютовать, проходя мимо генерал-фельдмаршала, при котором случае всякий старался как возможно лучше исправлять свою должность. Чистота и опрятность в одеждах и убранствах солдат, зеленые на шляпах их ветви, а того паче кожаные и наподобие древних шишаков сделанные и некоторый род плюмажей на себе имеющие каскеты на всех гренадерах — придавали особливую краску и умножали великолепие.

Не можно довольно изобразить, какие разные чувствия впечатлевало зрение шествия сего не только в кого иного, но в самих нас, имевших в том соучастие. Мысли, что идем на войну и отправляемся из отечества в страны чуждые, отдаленные и вражеские, идем терпеть нужды, проливать кровь и умирать за отечество, воображение, что из всех шествовавших тогда столь многих людей весьма многие назад не возвратятся, но положат свои головы на войне и в походах и в последние тогда расстаются с странами, где родились и воспитаны, неизвестность, кто и кто подвергнется сему несчастному жребию и кому судьба назначила не возвращаться, и прочие тому подобные помышления приводили дух в некоторое уныние и расстроивали всю душу. Напротив того, с другой стороны, всеобщее предубеждение о храбрости и непобедимости наших войск, льстящая надежда, что неприятелю никак против

нас устоять не можно, мечтательное воображение, что мы по множеству нашему замечем* его даже шапками, и бессомненная надеятельность, что мы его победим, сокрушим и возвратимся с славою, покрытые лаврами,· ободряла паки унылое сердце и оное, власно как оживотворив, наполняла огнем военной ревности, толь много помогающей нам охотно и без скуки переносить все военные труды и беспокойства.

Но я удалился уже от моей материи. Теперь возвращаюсь к оной и скажу, что в помянутом новом лагере версты три за Ригою стоял наш полк более недели, в которое время переправлялись за Двину прочие полки и деланы были к походу все нужные распоряжения. Вся армия разделена была на три дивизии, или части, из которых первою командовал сам фельдмаршал, второю, в которой мы находились, генерал-аншеф Василий Абрамович Лопухин, а третьею — генерал-аншеф Вилим Вилимович Фермор. План намерения состоял в том, чтоб обоим первым дивизиям иттить разными дорогами чрез Курляндию в Польшу или, паче сказать, в Самогитию или Жмудию**, и потом, соединившись вместе и дождавшись идущих прямо из Смоленска кавалерий-

---

*Забросаем.

**Самогития — земля самогитов, или самаитов, — народности литовского племени. Жмудская земля — одна из областей Литвы, населенная народностью литовского племени — жмудью. Самогиты и жмудь — родственные народности и живут смешанно на территории уездов Россиенского, Тельшевского и Шавльского бывш. Ковенской губ.

ских полков и легких войск, вступить в Пруссию, а третьей бы дивизии, под командою Фермора, иттить вправо, прямо к первой прусской пограничной крепости Мемелю и, при вспоможении отправленного туда же морем флота, осадить сей город.

По изготовлении всего нужного к походу, воспоследовал наконец мая 3-го дня торжественный выезд генерал-фельдмаршала из Риги. От грома пушек, гремящих тогда со стен городских, стенала только река, и выезд сего полководца был самый пышный и великолепный. Наша бригада случилась тогда стоять на самой дороге, где ему ехать надлежало, чего ради выведены были мы в строй и должны были отдавать ему честь с преклонением знамен как главному повелителю. Ужасная свита всякого рода военных людей окружала его едущего. Зрелище сие представлялось нам тогда еще впервые и было для нас поразительно, ибо пышность сего шествия была так велика, что иной государь не выезжает на войну с таковою. Но, о! когда б возвращение сего генерала в сей город соответствовало сему величественному выезду!

Сим окончу сие мое письмо и, сказав вам, что я есмь ваш друг, остаюсь и прочая*.

КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ

---

*Вся остальная четвертая часть представляет собою изложение прусских походов. Эта часть точно так же, как и отдельные письма следующих частей, опущена.



Часть пятая

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРУССКОЙ ВОЙНЫ

ПРИ АЛЕНБУРГЕ

ПИСЬМО 50-е

Любезный приятель!.. 28 день августа* был последним днем нашей славы, пышности, мужественного духа и лестной надежды увидеть вскоре стены славного города Кенигсберга и развеваемые на них наши знамена, а все королевство прусское покоренное нашему оружию и во власти нашей; а 29 число августа был тот достопамятный и крайне досадный день, в который упали все наши сердца и мы, лишившись всего мужества, покрылись стыдом и бесчестием и принуждены были истребить из себя все прежние толь лестные надежды. Коротко, в сей никогда незабвенный день обратили мы неприятелю свой тыл и поплелись назад в свое отечество, будучи покрыты таким стыдом, что не отваживались взирать друг на друга, а только с несказанным удивлением друг у друга спрашивали, говоря:

«Что это, братцы? Что такое с нами творится и совершается? Куда каковы хороши мы!» — И так далее.

---

*Одержав с большим трудом победу при Грос-Егерсдорфе, армия достигла Аленбурга. 28 августа 1757 г. состоялся военный совет, на котором, ввиду больших потерь в войсках и затруднений в снабжении армии, решено было отступить в пределы России. См. примечание 12 после текста.

Не могу без досады и поныне вспомнить, какое сделалось тогда вдруг по всей армии волнение; истинно не было почти человека, у которого бы на лице не изображалась досада, с стыдом и гневом смешанная. Повсюду слышно было только роптание и тайное ругательство наших главных командиров. Многие въявь почти кричали, что «Измена! И измена очевидная!».

А другие, досадуя и смеючись, говорили: «Что это, государи мои! Или мы затем только в Пруссию приходили, на то столько трудов принимали и на то только кровь свою проливали, чтоб нам здесь карпов половиться и поесть? Что это делается с нами? Где девался ум у наших генералов?» И так далее.

Одним словом, роптание было повсеместное, и сколь ни мило было нам всем свое отечество, но вряд ли кто с охотою тогда в обратный путь к оному шествовал, — столь чувствителен нам был сей неожидаемый случай.

Ежели хотите теперь знать, что такое собственно принудило предводителей наших к сему потерянию всех наших выгод ни за что и к столь постыдному возвращению, то истинно не могу вам ничего подлинного на сие сказать. Будучи тогда таким малым человеком, не можно было мне ничего узнать точного, а все об-

---

* Болотов называет вполне справедливо С. Ф. Апраксина графом, так как его отец Федор Матвеевич, знаменитый сподвижник Петра I, был в 1709 г. возведен в графское достоинство. В тексте «Записок», изданных «Русской Стариной» в 1870 г., рядом со словом «граф» подготовлявшим «Записки» к печати М. И. Семевским, видимо, ошибочно поставлен вопрос.

виняли тогда только фельдмаршала нашего, графа Апраксина, который, как известно, и умер потом от того в несчастии и от печали*. Правда, некоторые говорили, будто имел он тайные какие-то повеления и поступил по оным; но доподлинно никто о том не ведал, а довольно, что он пошел с армиею назад и упустил из рук все выгоды и плоды, приобретенные нашею победою, и сделал весьма славное дело, то есть поступкою своею удивил не только всю нашу армию, но и самого неприятеля и даже всю Европу. Словом, он сделал то, что в истории о сем приключении осталась навек та память, что обратный поход нашей армии удивил всю тогда Европу и что никто на всем свете не мог понять, что бы побудило графа Апраксина выпустить из рук все приобретенные выгоды и, имея уже более большую часть королевства прусского в руках и находясь уже столь близко от столичного города Кенигсберга, вдруг воротиться и выттить из всей Пруссии, чему сначала никто, и даже самые неприятели наши, не хотел верить, покуда не подтвердилось то самым делом. Некоторые иностранные писатели, описывавшие жизнь короля прусского, упоминают, что впоследствии оказалось, что истинною причиною сего возвратного похода было то, что императрице нашей Елизавете Петровне случилось в течение сего лета очень занемочь и что бывший тогда у нас канцлером граф Бестужев, опасаясь ее кончины и замышляя в уме своем произведение некоторых важных при дворе перемен, а особливо в рассуждении самого наследст-

---

* См. примечание 12 после текста.

ва, писал сам от себя и без ведома императрицы к графу Апраксину, который был ему друг, чтоб он с армиею своею возвратился в отечество*.

Но как бы то ни было, но то достоверно, что фельдмаршал наш, вознамерясь иттить назад, созвал для вида военный совет и насказал всем генералам столько об оказавшемся якобы великом недостатке в провианте и фураже в армии и о невозможностях поход свой простирать далее, — по причине, что ушедшая к Кенигсбергу прусская армия сама все места по дороге опустошала, так что нигде верст за двадцать фуража достать никоим образом было не можно, — что убедил почти всех против желания согласиться на его предложение и подписать приговор о восприятии обратного похода на время к тем местам, где находились в заготовлении магазины. Один только прежде упонимаемый генерал-аншеф Сибильский не соглашался никак на сие предложение и, утверждая, что провианта и фуража в армии довольно, что она в том не имеет никакого недостатка, не хотел никак подписывать приговора; но его столь же мало и в сей раз послушали, как после баталии, когда он, советуя учинить погоню, просил себе только трех пехотных полков и хотел ими нанести разбитому неприятелю наичувствительнейший удар, но ему в том было отказано.

---

* Болотов повторяет здесь выдвинутые против Апраксина обвинения и негодует на него, как окрыленный победой офицер. См. примечание 12 после текста.

Но как, несмотря на все сие, легко можно было ожидать, что во всем войске сделается великий ропот, то всходствие всего вышеупомянутого и разглашено было во всей армии, что к такому не ожидаемому никем возвращению принудила нас самая необходимость и, во-первых, то, что поход нам далее продолжать препятствует стоящая будто бы за рекою неприятельская армия, охраняющая проход при Велаве и укрепившая его батареями; во-вторых, и что будто всего важнее, для того, что появился в армии великий недостаток в провианте и что будто надежды не было нигде его достать и получить.

Нашлись многие, которые, сему разглашению поверив, тем и довольствовались, но разумнейшие были совсем иных мыслей. Сим известно уже было, что это одно прикрывало и пустой обман и что прусской армии и в завете уже не было, а провианта находилось довольно еще в армии, а, сверх того, находилось оного великое множество в городе Велаве, который у неприятеля отнять никакого труда не стоило, потому что сей городок был совсем не укрепленный и защищаемый только малым числом войска. А нужно бы его взять, как выгнали б мы пруссаков изо всего королевства прусского, и поелику тогда начиналась уже осень, то могли б везде провианта и фуража столько получить, сколько б хотели, а особливо по сторонам и в тех местах, где ни армии, ни фуражирования еще не было.

...Сей несчастный и постыдный для нас пункт времени был в особливости счастлив для короля прус-

ского; ибо с самого почти сего дня начали пресекаться все его смутные обстоятельства и пошло везде ему особливое счастье, власно так, как бы фельдмаршал наш г. Апраксин проступкою своею проложил к тому путь и дорогу...

...Сим окончу я мое теперешнее письмо. В последующим за сим расскажу вам обратное наше путешествие, а между тем сказав, что я есмь ваш нелицемерный друг, остаюсь и прочая.

ЗАНЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА

ПИСЬМО 54-е

Любезный приятель! Между тем как... в самую глубочайшую осень 1757 года война в прусских, цесарских и саксонских землях горела наижесточайшим образом и целые десятки тысяч людей лишались жизни, а того множайшие попадали в полон, поля же обагрялись человеческою кровью, а бесчисленное множество бедных поселян лишались своих домов и всего своего имения, а того множайшие претерпевали тягость от податей и отнимания у них всех заготовленных ими для своего пропитания съестных припасов и фуража, — отдыхали мы в Польше и в Курляндии от своих трудов и всю сию осень и начало зимы препроводили в мире, тишине и наивожделеннейшем покое. Не зная ничего о всех сих происшествиях, жили мы тут на своих покойных квартирах и только что веселились.

Но сколь спокойны были мы, столь беспокоилось правительство наше худыми успехами нашего первого похода. Неожидаемым и постыдным возвращением армии нашей из Пруссии и всеми поступками нашего фельдмаршала Апраксина была владеющая нами тогда императрица крайне недовольна, и хотя для прикрытия стыда и обнародо-

вано было, что сие возвращение армии нашей произошло по повелению самой императрицы и будто для того, что как цесарцы сами уже вошли в Шлезию, то нам не было нужды иттить далее и продолжать поход свой до Шлезии, и что, сверх того, войска нужны были в своем отечестве по причине болезни императрицыной, — однако всем известно было, что это объявлено было для одного вида, а в самом деле все знали, что учинил он то самопроизвольно. А самое сие и навлекло на него гнев от императрицы, почему не успел он возвратиться в Курляндию, как отозван был в Петербург для отдания в поведении своем отчета. Сие обратное путешествие в столичный город было сему полководцу весьма бедственно и несчастно. Лишась всей своей прежней пышности, принужден он был ехать как посрамленный от всех, почти тихомолком, и слухи об ожидаемых его в Петербурге бедствиях столь его беспокоили, что он на дороге занемог и больной уже привезен в Нарву. Но сего было еще не довольно. Но несчастие встретило его уже и в сем городе, ибо прислано было повеление, чтоб его не допускать и до Петербурга, но, арестовав тут, велеть следовать его нарочно учрежденной для того комиссии. И сие бедняка сего так поразило, что он в немногие дни лишился жизни, о которой никто не жалел, кроме одних его родственников и клиентов, ибо, впрочем, все государство было на него в неудовольствии.

Сим образом погиб сей человек, бывший за короткое пред тем время толико знатным и пышным вельможею, и наказан самою судьбою за его веро-

ломство к отечеству и поступку, произведшую толь многим людям великое несчастие.

Между тем команда над оставшею в Курляндии и Польше армиею поручена была генерал-аншефу графу Фермору. И как сей генерал известен был всем под именем весьма разумного и усердного человека, то переменою сею была вся армия чрезвычайно довольна. Он и не преминул тотчас стараниями своими и разумными новыми распоряжениями оправдать столь хорошее об нем мнение.

Первое и наиглавнейшее попечение сего генерала было о том, как бы удовольствовать всю армию всеми нужными потребностями, а потом овладеть скорее всем королевством прусским, и чрез то сколько, с одной стороны, исправить погрешность, учиненную графом Апраксиным, столько, с другой, исполнить желание нашего двора и императрицы. Ибо, как между тем получено было известие, что король прусский все свое прусское королевство обнажил от войск, употребив оные, как выше упомянуто, для изгнания шведов из Померании, то, дабы не дать ему время опять армию свою туда возвратить, велено было наивозможнейшим образом поспешить и, пользуясь сим случаем, занять и овладеть всем королевством прусским без дальнего кровопролития.

Всходствие чего не успел сей генерал принять команды и получить помянутое повеление, как и начал ко вступлению в Пруссию чинить все нужные приуготовления. И как положено было учинить то, не дожидаясь весны, а тогдашним же еще зимним временем, то с превеликою нетерпеливостию дожидался он, покуда море или паче тот узкий морской залив, который

известен под именем Курского Гафа* — и, будучи от моря отделен узкою и длинною полосою земли, простирается от Мемеля до самого местечка Лабио, — покроется столь толстым льдом, чтоб по оному можно было иттить прямым и кратчайшим путем на Кенигсберг войску со всею нужною артиллериею. Нетерпеливость его была так велика, что с каждым днем приносили ему оттуда лед для суждения по толстоте его, может ли он поднять на себе тягость артиллерии.

Но как сие не прежде воспоследовало, как в самом окончании 1757 года, то самое начало последующего за сим 1758 года и сделалось достопамятно обратным вступлением наших войск в королевство прусское. Граф Фермор еще в последние числа минувшего года переехал из Либавы в Мемель, а тут, изготовив и собрав небольшой корпус и взяв нужное число артиллерии, пошел 5-го числа генваря по заливу прямо к Кенигсбергу, приказав другому корпусу, под командою генерал-майора графа Румянцева, в самое то ж время вступить в Пруссию со стороны из Польши и овладеть городом Тильзитом.

Успех дела и похода сего был наивожделеннейший. Войска графа Фермора в тот же день без дальнего отягощения дошли по льду до острова Руса и овладели находившимся тут амтом**, а войска, вступившие со стороны из Польши, овладели без всякого сопротивления Тильзитом, где граф Румянцев, услышав, что в городе Гумбинах находился еще не-

* Куриш-гаф.

** Немецкое — «присутствие»; здесь: в смысле укреплений.

большой прусский гарнизон, послал было для захвачения оного войска, но они его уже не застали, ибо он, услышав о приближении наших, заблагорассудил удалиться заранее. Итак, вступили наши во все местечки и города без всякого сопротивления и везде жителей приводили к присяге быть в подданстве и верности у нашей императрицы.

Наконец граф Фермор, соединившись со всеми пятью колоннами войска, вступившими в Пруссию с разных сторон, под командою генерал-поручиков Салтыкова, Резанова, графа Румянцева и генерал-майоров князя Любомирского и Леонтьева, пошел прямо и без растахов в город Лабио и, пришед туда 9-го числа, нашел у тамошнего начальства уже повеление от кенигсбергского правительства, чтоб в случае вступления наших войск отпускалось нам все, чтоб ни потребовалось, без всякого сопротивления, и повиноваться всем приказаниям графа Фермора.

Из сего места отправил сей генерал полковника Яковлева с 400 гренадер, с 8-ю пушками и 9-ю эскадронами конницы под командою бригадира Демику и с 3-мя гусарскими полками и чугуевскими казаками под предводительством бригадира Стоянова прямо к Кенигсбергу. А как между тем приехали к нему и депутаты, присланные от кенигсбергского правительства с прошением от всего города и королевства, чтоб принято оное было под покровительство императрицы и оставлено при ее привилегиях, то он, уверив их о милости монаршей, отправился и сам вслед за помянутым передовым войском в помянутый столичный город.

Итак, 11-й день генваря месяца был тот день, в

который вступили наши войска в Кенигсберг, а вскоре за ними прибыл туда и сам главнокомандующий. Въезд его в сей город был пышный и великолепный. Все улицы, окна и кровли домов усеяны были бесчисленным множеством народа. Стечение оного было превеликое, ибо все жадничали* видеть наши войска и самого командира, а как присовокуплялся к тому и звон в колокола во всем городе и играние на всех башнях и колокольнях в трубы и в литавры, продолжавшееся во все время шествия, то все сие придавало оному еще более пышности и великолепия.

Граф стал в королевском замке и в самых тех покоях, где до сего стоял фельдмаршал Левальд**, и тут встречен был всеми членами правительства кенигсбергского, и как дворянством, так и знаменитейшим духовенством, купечеством и прочими лучшими людьми в городе. Все приносили ему поздравления и, подвергаясь покровительству императрицы, просили его о наблюдении хорошей дисциплины, что от него им и обещано.

В последующий день принесено было всевышнему торжественное благодарение, и главнокомандующий, отправив в Петербург графа Брюса с донесением о сем удачном происшествии, трактовал у себя весь генералитет и всех лучших людей обеденным столом***,

---

*Жадно стремились.

**Он был оставлен Фридрихом II для защиты Восточной Пруссии и первый напал на русскую армию при Грос-Егерсдорфе, но потерпел поражение.

***Угощал, потчевал обедом.

а наутрие приводим был весь город к присяге, и главное правление всем королевством прусским началось нашими.

Не успел граф Фермор помянутым образом городом Кенигсбергом овладеть и все правительства получить в свою власть, как наипервейшее его попечение было о расположении вступивших в Пруссию войск на зимние квартиры и о занятии ими всех нужнейших мест как во всем королевстве прусском, так и в польской Пруссии. Итак, иным велел он расположиться квартирами в окрестностях Кенигсберга, другим иттить и занять приморскую крепость Пилау, иным же иттить далее вперед и занять все места по самую реку Вислу и с ними вместе польские вольные города Ельбинг и Мариенбург. Сим последним хотя и не весьма хотелось впустить наши войска, но как обещано было им всякое дружелюбие, то принуждены были на то согласиться. В Кенигсберге же для гарнизона введен четвертый гренадерский полк, также Троицкий пехотный, и комендантом определен бригадир Трейден, а суды поручены полковнику Яковлеву, ибо и сам граф намерен был отправиться далее и главную свою квартиру учредить на Висле, в прусском городке Мариенвердере. Что же касается до оставшихся в Курляндии и Самогитии полков под командою генерала Броуна и князя Голицына, то и сим велено также вступить в Пруссию и, прошед через онную, занять верхнюю часть польской Пруссии с городами Кульмом, Грауденцом и Торунем, и чрез то составить кордон по всей реке Висле.

Как в числе сих оставшихся в Курляндии полков случилось быть и нашему Архангелогородскому по-

лку, то и не имели мы в сем зимнем походе соучастия, но все сие время простояли спокойно на своих квартирах и не прежде обо всем вышеупомянутом узнали, как по вступлении уже наших в Кенигсберг и когда прислано было повеление, чтоб и нам туда же следовать. Я не могу довольно изобразить, какую радость произвело во всех нас сие известие. Все мы радовались и веселились тому власно так, как бы каждому из нас подарено было что-нибудь и мы в завоевании сем имели собственное соучастие. Никогда с толикою охотою и удовольствием не собирались мы в поход, как в сие время, и никогда толикого усердия и поспешения в сборах и приуготовлениях всеми оказываемо не было, как при сем случае.

Нам велено было нимало не медля выступить в поход...

...Со всем тем сколько ни радовались мы сему скорому и нечаянному выступлению и шествию в Пруссию, однако обстоятельство, что тогда была самая середина зимы и что всем надлежало запасаться санями, наводило нам много заботы. Но никто из всей нашей братьи офицеров так много озабочен тогда не был, как я, но тому была довольная причина. У всех офицеров было довольное число лошадей, на которых бы им везть свои повозки и на чем и самим в маленьких санках ехать, ибо верховая езда для зимнего времени была не способна, а у меня было только две лошади, а третьей, для особливых и маленьких санок, не было. На сей третьей лошади... отправил я другого человека моего в деревню, за Москву, и сей человек ко мне еще тогда не возвратился. Итак, не только не было у меня третьей ло-

шади и другого человека, но сверх того имел я и во всем прочем крайнюю нужду и недостаток: не было у меня ни маленьких санок, как у прочих, не было ни большой шубы, ни порядочного тулупа, ни прочего нужного платья, ни запаса и съестных припасов, толико нужных для похода, а что всего паче — не было и денег. Всего того уже за несколько дней дожидался я со всяким днем; а тогда как сказан был нам поход, то ожидание мое сопрягалось с величайшею нетерпеливостью, ибо по счислению времени надобно уже ему было давно быть. Со всем тем сколько я Якова своего ни дожидался, сколько ни смотрел в окна, не едет ли, сколько раз ни высылал смотреть, не видать ли его едущего вдали, — но все наше ожидание и смотрение было напрасно: Якова моего не было и в появе, и я не знал, что наконец о нем и думать. Уже сделаны были все приуготовления к походу; уже назначен был день выступления; уже день сей начал приближаться, — но Яков мой не ехал и не было о нем ни духу, ни слуху, ни послушания. Господи, какое было тогда на меня горе и каким смущением и беспокойством тревожился весь дух мой! Я только и знал, что, ходя взад и вперед по горнице, сам с собою говорил:

«Господи! Что за диковинка, что он так долго не едет? Давно бы пора уже ему быть. Что он со мною теперь наделал и что мне теперь начинать?..»

Пуще всего смущало меня то, что я, в бессомненной надежде, что он вскоре возвратится и привезет мне все нужное, ничем и не запасался и ничего нужного себе и не покупал. К вящему несчастию, не было у меня тогда и денег, ибо, по недостатку оных

по возвращении из похода, жалованье было уже забрано вперед и истрачено. Но все же я мог достать денег на покупку лошади и санок, в которых мне всего более была нужда, если б вышеупомянутая надежда скорого возвращения моего слуги меня не подманула, которого я с часу на час дожидался.

Но наконец наступил уже и тот день, которого я, как некоего медведя, страшился, то есть день выступления нашего в поход. И как Якова моего все еще не было, то не знал я, что делать, и был почти вне себя от смущения. Повозку свою с багажом хотя и совсем я исправил и она была готова, но самому мне как быть, — того не мог я сперва никак ни придумать, ни пригадать. Не имея особой лошади и санок, другого не оставалось, как иттить пешком вместе с солдатами. Но о сем можно ли было и думать, когда известно было мне, что и у последних самобеднейших офицеров были особые лошади и всякий имел свои санки и что я чрез то подвергну себя стыду и осмеянию от всего полка. В сей крайности приходило уже мне на мысль сделать то, чего я никогда не делывал, то есть сказаться нарочно больным, дабы мне, под предлогом болезни, можно было ехать в кибитке и в обозе. Но сие находил я неудобопроизводимым, по причине, что кибитка моя была вся набита всякою рухлядью и мне в ней поместиться было негде. Словом, я находился тогда в таком настроении, в каком я отроду не бывал; и истинно не знаю, что б со мною было, если б не вывел меня наконец капитан мой из моего смущения и несколько меня не успокоил.

Сей, увидев крайнее мое смущение и расстройку мыслей, быв свидетелем всему моему нетерпеливому

ожиданию и ведая причину, для чего я не покупал лошади и саней, спросил меня наконец, как же я о себе думаю?

— Что, батюшка! — ответствовал я на сей вопрос. — Я истинно сам не знаю, что мне делать. Приходится пешком почти иттить, покуда сыщу купить себе лошадь и сани.

— И! — ответствовал он мне. — Зачем, братец, пешком иттить — кстати ли! Поедем лучше вместе в одних со мною санках. Хоть они и тесненьки, но как-нибудь уже поуместимся. По крайней мере, на первый случай и покуда попадется тебе купить лошадь, а между тем, может быть, подъедет и человек твой.

Не могу изобразить, сколь много утешил и обрадовал он меня предложением сим. Я хотя для вида совестился и говорил, что я его утесню и обеспокою, но в самом деле так был рад сему случаю, что если б можно, то расцеловал бы его за оное.

Итак, положено было у нас ехать вместе; но не успели мы кое-как и с великою нуждою доехать до штаба и оттуда всем полком выступить в поход, как я у своей братьи офицеров множество нашел не только просторнейших мест для сидения, но даже несколько пустых и праздно едущих санок. Ибо как во время сего похода не имели мы причины ни к малейшему опасению от неприятеля, то и шли мы как собственно в своем отечестве или в дружеской земле, так сказать, спустя рукава и пользуясь всеми выгодами, какие в мирное время иметь можно. Полк вели у нас обыкновенно одни только очередные и дежурные, а прочие офицеры все ехали где хотели, и сие и причиною тому было, что они, для лучшего

сокращения дороги и для приятнейшего препровождения времени, соединялись в разные кучки и компании и ехали не только гурьбою на многих санях вместе, но присаживались друг к другу на сани для шуток и разговоров, а свои оставляя ехать пустыми; и как они все были мне друзья и приятели, то и мог я присаживаться из них в любые и ехать так долго, как мне хотелось.

Сим образом, перепрыгивая с одних саней на другие и присаживаясь то к тому офицеру, то к другому, и переехал я весь свой первый переход благополучно, и мне удалось смастерить все сие искусно и хорошо, что никому из офицеров и на ум того не приходило, что у меня собственных своих не было и что я делал то поневоле. Однако на всю сию удачу несмотря, беспокоился я во всю дорогу крайне мыслями и того и смотрел, чтоб кто тайны моей не узнал и чтоб не принужден я был вытерпливать превеликого стыда и от всех себе насмешек.

Но как бы то ни было, но мы приехали и расположились ночевать в одном небольшом местечке, на границах уже литовских находящемся, и сделали в сей день великий переход. Тут получил я хотя прекрасную и спокойную квартиру, но вся ее красота меня не прельщала, ибо у меня не то, а другое на уме было. Я заботился беспрерывно о своем путешествии и только сам себе в мыслях говорил и твердил:

«Ну, хорошо! Сегодня-таки мне удалось кое-как промаячить, но как быть завтра? С кем ехать и к кому приставать? Ну как догадаются и узнают, как тогда быть?»

Помышления таковые привели в такую расстрой-

ку мои мысли, что я был власно как в ипохондрии* и в таком углублении мыслей, что самая еда мне на ум не шла. Но вообразите себе, любезный приятель, какая перемена со мною долженствовала произойтить, когда в самое сие время вбежал ко мне почти без души мой малый и запыхавшись сказал:

— Что вы, барин, знаете? Ведь Яков наш приехал!..

— Что ты говоришь! — воскричал я, вспрыгнув из-за стола и позабыв о еде. — Не вправду ли, Абрамушка?

— Ей-ей, сударь, теперь только на двор взъехал, и какие же прекрасные санки!

В единый миг очутился я тогда на крыльце и от радости не знал, что говорить, а только что крестился и твердил:

— Ну слава Богу!

Но радость моя увеличилась еще более, когда услышал я от моего Якова, что он привез ко мне не только множество всякого запаса, но и накопил мне всего и всего, в чем наиболее была нужда. Привез мне прекрасный тулуп, большую шубу лисью, новое седло и множество других вещей; а что всего приятнее было мне, то и множество всяких вареньев и заедок, присланных мне от моей сестры, к которой он заезжал и которая находилась тогда с зятем моим в деревне, ибо сей отпущен был от полковника еще с самого начала зимы и нашел потом способ отбиться

* Предрасположение к задумчивости, мрачным мыслям, черная меланхолия.

совсем от службы в отставку. Но что радость мою еще совершеннейшую сделало, то было уведомление его, что он привез с собою еще более ста рублей денег. Боже мой, как обрадовался я сему последнему! Истинно я не помню, чтоб я когда-нибудь так много обрадован был, как тогда. Таки сам себя почти не помнил и не ходил, а прыгал от радости по комнате и только что твердил:

— Ну, слава Богу, теперь все у меня есть, всего много: и лошадей, и запасу, и платья, и денег, и всего, и всего! Теперь готов хоть куда, и мне ни перед кем не стыдно.

Словом, я мнил тогда, что я неведомо как богат и что наисчастливейший человек был в свете, и тысячу раз благодарил сперва Бога, а потом слугу своего Якова за исправное отправление полученной ему комиссии. Да и подлинно, день сей был достопамятный в моей жизни тем, что сколь великое чувствовал я при начале его огорчение, столь великою, напротив того, радостью объято было мое сердце при окончании оного.

Сим окончу я теперешнее письмо и сказав, что я есмь ваш нелицемерный друг, остаюсь, и прочая.

ПОХОД В КЕНИГСБЕРГ

*ПИСЬМО 57-е**

Любезный приятель! Как вы, надеюсь, очень любопытны узнать, какое бы такое было то известие, которое нас так много обрадовало, то начну теперешнее мое письмо удовольствованием сего вашего любопытства и скажу, что оно было следующее.

Как мы помянутым образом в поход собирались и всякий день ожидали приказа к выступлению в оный и к перехождению через реку Вислу, как заехал к нам из Торуни ездивший туда для своих нужд один из наших офицеров и приятелей. Не успел он к нам войтить в горницу, как с веселым видом нам сказал:

— Знаете ли, государи мои, я привез с собою к вам новые вести, и вести — для нас очень важные!

— Хорошо, — ответствовали мы, — но каковы-то вести? С дурными хотя бы ты к нам и не ездил.

— Нет, — сказал он, — каковы-то вам покажутся, а для меня они не дурны. Словом, нам велено в поход иттить, и мы послезавтра должны выступить.

---

*В опущенных письмах Болотов рассказывает о вторичном походе в Пруссию, об остановке армии у города Торунь и об успехах пруссаков. Бездействие, по словам мемуариста, тяготило армию.

— Ну, что же за диковинка! — сказали мы. — Этого мы давно ждали и готовы хоть завтра выступить.

— Этакие вы, — подхватил он, — вы спросите лучше — куда?

— Это также известное дело, что за реку и против неприятеля, — отвечали мы с хладнокровием.

— Ну того-то вы и не угадали, — сказал он.

— Как! Неужели опять назад и домой? — спросили мы, удивившись.

— Нет! — сказал он. — Не домой, однако и не против неприятеля, там и без нас дело обойдется.

Сии слова привели уже нас в великое любопытство.

— Да куда ж? — говорили мы. — Скажи, братец, пожалуйста.

— Нет! — говорил он. — А умудрись кто-нибудь и угадай сам, а я скажу только, что и вы тому столько же обрадуетесь, сколько и я.

Тогда не имели мы более терпения и до тех (пор) к нему, нас мучившему и сказать не хотящему, с просьбою своею приступали, покуда он наконец сказал:

— В Кенигсберг, государи мои, и туда, где нам всем давно уже побывать хотелось.

— Не вправду ли? — закричали мы все в один голос. — Но можно ли тому статься?

— Конечно, можно, — ответствовал он, — и знать, что льзя,* когда уже о том и повеление нашему полковнику прислано.

---

*Можно, дозволено, не запрещено; у нас с отрицанием — нельзя.

— Но умилосердись! Как это и каким образом? Кенигсберг остался у нас уже далеко позади.

— Конечно! — отвечал он. — Но то-то и диковинка! А со всем тем нам с полком туда иттить и, что того еще лучше, жить там во все нынешнее лето и ничего более не делать, как содержать караулы.

Теперь легко можете заключить, что нас сие до крайности обрадовало, ибо, хотя мы охотно шли в поход против неприятеля, однако, как известно было нам, что неприятели не шутят и что в походе против его не всегда бывает весело, а временем и гораздо дурно, а притом никто не мог о себе с достоверностью знать, возвратится ли он из похода благополучно назад и не останется ли навек там; то сколько мы и не имели усердия и ревности к военной службе, но кому жизнь не мила и кто бы не хотел ею еще хоть один год повеселиться? А потому, кто и не порадовался бы, услышав, что он на целое лето освобождается не только от всех военных опасностей, но и от всех трудов и беспокойств, с походом сопряженных, и кто б не стал благодарить за то Бога и судьбу свою?

Мы и действительно так были тому рады, что не один раз говорили: «Слава, слава Богу!» и благодарили судьбу, что оказала толикое нам благодеяние и дала такое преимущество перед многими другими. С превеликою охотою благословляли мы путь всем прочим, мимо нас идущим полкам и желали им в походе своем приобресть славу и иметь всякое благополучие, а сами и на уме не имели досадовать на то, что не будем иметь счастия быть с ними на сра-

жениях и разделять с ними славу в получаемых ими победах.

Но никто из всего полку, думаю я, так много сим известием обрадован не был, как я. Все прочие радовались наиболее потому, что они не пойдут в поход, а будут на одном месте, в покое и иметь хорошие квартиры и жить в изобильном и таком городе, где иметь они будут случаи предаваться всяким роскошам и распутствам; но моя радость проистекала совсем не из того источника. Мне сколько то было приятно, что я не пойду в поход и не буду подвержен опасностям, а стану жить на одном месте, столько или несравненно более радовался я тому, что целое лето буду жить в большом и славном иностранном немецком городе, о котором я наслышался неведомо сколько доброго и который наполнен учеными людьми, библиотеками и книжными лавками. Умея говорить по-немецки, ласкался я надеждою, что могу со многими тамошними жителями свести знакомство и что мне там будет очень весело и не скучно; могу многому и такому насмотреться, чего не видывал, а книг доставать себе купить сколько угодно. Словом, я восхищался предварительно уже мыслями, воображал себе неведомо сколько удовольствий, и никто, я думаю, с толикою охотою в сей путь не собирался, как я.

Повеление о выступлении в сей поход действительно на другой же день получено было нами, а на третий мы и выступили в оный. Расставаясь с тамошними хозяевами, не могли мы довольно возблагодарить их за все оказанные ласки и благоприятство, и желая им счастливого продолжения их

благополучной жизни; а как и они были нами довольны, то провожали они нас, желая нам счастливого путешествия.

Мы шли самыми теми же местами, где до того шли, до самого Эрмландского бискупства и до столичного их города Гейльсберга*, а от сего места повернули мы уже влево и пошли прямым путем к Кенигсбергу; и как было тогда самое лучшее и первейшее вешнее время и погода стояла хорошая, то могу сказать, что поход сей из всех, в каких случалось мне бывать в жизнь мою, был наивеселейший и приятнейший. Шли мы себе не спеша и прохладно, переходы делали маленькие, останавливались всегда в местечках, а не в лагерях, и во всем имели удовольствие. Полк в походе вели одни только дежурные, а все мы, прочие офицеры, ехали верхами и не при пехоте, а где хотели, и обыкновенно кучками и компаниями по несколько человек вместе, и время свое в дороге препровождали в одних только шутках, смехах и дружеских разговорах. А во время ночевания или дневания в польских местечках или прусских городках, в расхаживании компаниями по оным, в посещениях друг друга на квартирах, в захаживаниях в трактиры и в увеселениях себя в них шутками, играми и в прочем тому подобном.

Впрочем, не помню я, чтоб в продолжение сего похода случилось со мною какое-либо особливое и такое приключение, которое бы достойно было замечено быть, кроме одного, ничего не значащего и

---

*В Восточной Пруссии, на реке Алле.

относящегося до одной смешной проказы, сделанной нами над прежде упоминаемым сотоварищем моим, подпоручиком Бачмановым; и как я всему злу был наиглавнейший заводчик, то и расскажу вам оное единственно для смеха.

Я упоминал уже вам прежде, что человек сей был хотя весьма добрый и всеми нами любимый, но совсем особливого и такого характера, который заставливал нас иногда над ним проказить и смеяться. Будучи новгородцем, был он своенравен, упрям и не любил шуток и издевок над собою. Не успеет кто как-нибудь над ним и хоть нарочно посмеяться и пошутить, как рассерживался и поднимал он за то превеликую брань: а сие, как известно, в полках и подает уже повод, и власно как право, всякому над ним трунить и скалозубить. К вящему несчастию, привыкнувший к новгородскому наречию, не мог он и в службе никак еще отвыкнуть от оного и от называния многих вещей на «о», «по», «ко» и совсем не так, как другие называют; а сие нередко и подавало повод шутить над ним, да и сверх того весь его образ, нрав и характер имел в себе нечто смешное и особливое. К дальнейшему же приумножению его несчастия послал ему Бог и денщика почти точно такого же, каков он сам. Он малый был добрый, но как-то простоват и имел (в) себе много смешного. С сим его Доронею (ибо так называл он его, как уже я упоминал) была у него почти всякий день ссора и лады*. И во время стояния нашего вместе не

---

*Примирение.

проходило дня, в который бы мы над ним не хохотали; а как и фамилия его Бачманов походила много на «бачанов», которым именем называется тот особый род чаплей или аистов, которые вьют гнезда на домах и нередко на трубах и так же, как аисты, питаются всякими гадинами и лягушками, — то и звали мы его обыкновенно Бачаном, с чем и высокий, и тонкий, и сутулистый его рост и длинные ноги несколько сходствовали, и он к сему званию так привык, что почти за то уже и не серживался, если кто назовет его Бачаном.*

Самое сие название и подало нам повод к произведению над ним той шутки, о которой я рассказать намерен. Было то еще во время стояния нашего на квартирах и дней за шесть до выступления нашего в поход, как случилось мне ходить с ним и другим нашим товарищем поутру гулять по садам и небольшим инде рощицам, между дворами деревни нашей находившимся. Тогда, как нарочно, случилось, что кукушка в лесочке неподалеку от нас начала куковать. Мы с г. Головачевым, услышав ее, обрадовались и говорили:

— Вот, вот, и кукушки уже прилетели!

Но г. Бачманов, вместо того, чтобы делать то же, вдруг осердился и начал ругать кукушку всякими своими новогородскими бранями.

— Тьфу, ты проклятая, — говорил он, плюя то и дело, — чорт бы тебя, окаянную, взял! Нелегкая

---

*Другие названия бачана — бусел, черногуз, батян, аист, цапля.

б тебя подавила! На свою бы тебе это голову! — и так далее.

Мы, услышав сие, покатились со смеху.

— Что это, брат Макар, — говорили мы, — за что это на кукушку так гневаешься? Что она тебе сделала?

— Как, братцы, что, — сказал он, — голодного меня, проклятая, закуковала, и я верно теперь уже знаю, что мне сего года не пережить. О, лихая бы ее побрала болезнь и все черти б ее, проклятую, задавили.

— Так, так! — сказали мы, еще пуще захохотав. — Теперь прощай, брат Макар! Не сносить уж тебе своей головки! Уж кукушка предвозвестила, так уже, знать, и быть и приходит уже расставаться со светом.

Сколь ни прост был наш Макар, но приметил, что мы над ним скалозубим, и тогда вдруг, вместо кукушки, поднимись весь его праведный гнев на нас, а сим и подал он нам вновь оружие на себя — мучить и бесить его нашими насмешками: и кукушка сия во весь тот день столько ему насолила, что он не рад был наконец своей жизни и проклинал и нас, и себя, и охоту свою к гулянью.

Однако сим дело еще не окончилось. Как приметили мы, что кукушкою сею, его всего скорее растрогать* и вздурить было можно, чего мы всегда и добивались, то, обрадуясь сему, поступили мы далее, и меня догадало еще сложить на сей случай

*Разозлить, рассердить.

смешную и такую песенку, которая бы могла вмиг его растрогивать. Признаюсь, что была то сущая шалость, и побудило меня к тому не что иное, как, с одной стороны, молодость и легкомысленность, а с другой — присоветование моего капитана, ибо сей, шутя над ним так же, как и мы, не успел о вышеупомянутом закуковании кукушки и обо всем услышать, как тотчас мне сказал:

— Эх, братец! Сложить бы о сем песенку, то-то было бы смеху и проказ! И вдруг бы мы все ее запели, и когда он так кукушку не взлюбил, так и посмотри, что тогда б было.

Сего было довольно к возбуждению во мне охоты испытать, не могу ли я сложить песенку на какой-нибудь знакомый голос*, и как мне голос старинной и всем знакомой песни «Негде в маленьком леску при потоках речки» всех прочих был знакомее, да и самый род сей песни казался к тому наиудобнейшим, то и начал я тотчас вымышлять слова и составлять в первый раз отроду стихи и рифмы.

В работе сей, тайком от нашего друга, препроводил я не более дней двух и имел столь хороший успех, что песенка моя и капитану, и всем прочим крайне полюбилась, и все они положили тотчас ее выучить наизусть, и когда будем уже ее знать, тогда б, окружив его где-нибудь в кружок так, чтоб он не мог выскочить, запеть бы всем в один голос. Итак, тотчас списаны были с ней многие списки, и как учинить дальнейшее было тогда уже некогда, то и

---

*На мотив.

положили мы учинить то во время шествия нашего в Кенигсберг. Сие и произвели мы на походе в действо; ибо, как мы ехали все верхами кучами, то человек с десять из нас, выучивши сию песню и сговорившись еще с несколькими, окружили его однажды на лошадях, так что ему из средины никуда уехать не можно, и вдруг затянули все нашу песенку, которая была следующего содержания:

На зеленом лугу
Сидела лягушка,
На высоком дубу
Кричала кукушка:
Вон Бачан сюда летит,
А Дороня там бежит.
— Что ты делаешь здесь?
Что их не боишься?

Как Бачан вить прилетит,
Тебя он увидит,
А Дороня прибежит,
Вмиг тебя погубит;
Он охотник ведь до вас,
Он бранит за то и нас,
Что голодного его
Мы закуковали.

Между тем начал Бачан
Вправду опускаться.
Захотелося ему
С другом повидаться.

Опустясь, тотчас и сел,
А Доронюшка запел:
— Не хочешь ли, Бачан,
Что-нибудь покушать?

— Когда есть что, так давай,
Упреждай кукушку,
Когда нет, так побегай,
Поймай мне лягушку.
У болота вон сидит,
На тебя прямо глядит.
Побегай поскорей,
Чтоб не ускочила.

Как Дороня побежал
Ловить там лягушку,
А Бачан тогда вскричал,
Увидя кукушку:
— Ах, Доронюшка, мой друг,
Ты схвати скорее вдруг,
Чтоб кукушка на дубу
Не закуковала!

Испугалась на лугу
Бывшая лягушка,
Закричала на дубу
Тотчас и кукушка;
А Дороня-то упал,
А хотя после и встал,
Но лягушка уж давно
Ускочила в воду.

Рассердился наш Бачан
На своего Дороню,
Он вмиг бросился за ним,
Закричав, в погоню:
— О, проклятый сын, дурак,
Болван, бестия, простак!
    Провалился б ты совсем
    И с своим проворством.

Что мне делать, что начать
Наконец с тобою?
Что ты сделал вот теперь,
Дурак, надо мною?
И лягушку упустил,
И меня не накормил,
    А проклятая вон там
    И закуковала.

Теперь должен буду я
В этот год погибнуть
И родных на свете всех
И друзей покинуть.
А беды все от тебя;
Погубил я сам себя,
    Что заставил дурака
    Это дело делать.

Но одно ли уж сие
Ты у меня портил,
Не беды ли по бедам
Всякий день ты строил?

От тебя, болван, дурак,
Разорился я уж так,
Что пришло уже мне
Пропасть и с тобою.

Растерял мое добро
Почти без остатку,
Помнишь ты, как потерял
Гребень и рубашку?
Как гомзелю* тебе дам,
Так увидишь ты и сам,
Что я вправду с тобой
Шутить не намерен.

Дурак, знаешь ведь, что я
Мужик не богатый;
Воши съели уж всего,
О, глупец проклятый!
А ты гребень потерял,
Без чего уж я пропал.
Ах ты, бедный Бачан,
Где тебе деваться?

Вот таким вздором наполнена была сия песенка. Теперь судите сами, каково было господину Бач-

---

*Гамза, гамзуля, гомза — кошель, деньги. Здесь иносказательно — «оплеуху, подзатыльника тебе дам». Как сии слова, так и прочие брани, присловицы, и попреки, и речи были точно такие, какие г. Бачманов употреблял почти ежедневно, бранясь с деньщиком своим Доронею. *Бол.*

манову, когда он, услышав ее, догадался, что она нарочно сочинена на него и что мы над ним проказили. Он вздурился даже до беспамятства и сперва начал нас всех ругать без всякого милосердия, а потом, как безумный, на нас, а особливо на меня, метаться, стегать плетью и стараться из круга нашего вырваться и ехать прочь. Однако мы схватились все руками и составили такой крепкий круг, что ему до самого конца песни никак уехать было не можно. Боже мой! Сколько претерпели мы от него тогда брани, сколько ругательства и сколько смеялись и хохотали! Наконец вырвался он у нас и поскакал, но куда ж? Прямо к полковнику жаловаться и просить на нас. Но из сего вышла только новая комедия. Мы, предвидя сие, постарались заблаговременно предварить все могущие произойтить от того какие-либо досадные для нас следствия. Мы заманили в заговор и в шайку свою самого господина Зеллера, того любимца и фаворита полковничьего, который служил ему переводчиком. И как он сам был в сей шутке соучастником, то и надеялись мы, что он перескажет полковнику все дело с хорошей стороны, а сие так и воспоследовало. Господин Бачманов, прискакав к полковнику, начал в пыхах* своих приносить ему тысячу на нас жалоб. Но сей, не разумея ни одного слова по-русски и того, что он ему говорит, спрашивал только:

— Вас ист дас?** Вас ист дас?

И как никто ему не мог растолковать, то отыскан

---

*Впопыхах.

**Немецкое: что такое?

был г. Зеллер, и сей пересказал ему все дело с такой смешной и шуточной стороны, что полковник сам надседался со смеха и только, смеючись, говорил Бачманову:

— Ну, что ж? Добре... бачан... кукушк... лягушк... петь... песнь... ничего... смех... — И так далее.

Словом, г. Бачманов наш не мог добиться от него никакого толку и только то сделал, что весь полк о том узнал, и кому б не смеяться, так все смеяться и кукушкою его дразнить и сердить начали. И как наконец до того дошло, что и самые солдаты, о том отчасти узнав и иногда завидев его, либо куковать, либо про лягушку между собою говорить начинали, то бедняку нашему Макару нигде житья не стало, и он до того наконец доведен был, что решился было проситься в другой полк и бежать из полка нашего, и нам немалого труда стоило его уговорить и опять успокоить.

Но не одну сию, но производили мы над ним во время сего похода и многие другие проказы, но как они не стоят упоминания, яко происходившие от единой нашей легкомысленности и резвости, то я, умолчав о них, скажу только, что сей человек увеселял всех нас во все время нашего путешествия и редкий день прохаживал, чтоб мы над ним чего не предпринимали и, рассердив его до бесконечности, паки* с ним не примирялись.

Впрочем, памятно мне и то, что никогда я столь много в ловлении рыбы какулею не упражнялся, как

---

*Опять, снова.

во время сего похода. Везде, куда ни прихаживали мы ночевать, находили мы либо речки, либо озера; и как какулей было у нас множество, то и не упускали мы почти ни одного случая, чтоб сею ловлею не повеселиться.

В прежде упоминаемом эрмляндском столичном городе Гейльсберге случилось нам не только дневать, но и для исправления некоторых надобностей пробыть целых два дня. В сие время были мы опять у бискупа с полковником, и сей маленький владелец старался опять нас угощать, и мы время свое препроводили весело. Мне случилось в сей раз стоять квартирою у одного из его придворных, отправляющего должность камер-юнкера или камергера, который, однако, не многим чем отменнее был от прочих мещан, и я ласкою хозяина, так и хозяйки был очень доволен.

Через несколько дней после того, не имев на пути своем никаких особенных приключений, дошли мы наконец до славного нашего Кенигсберга* и тем окончили сей наш поход благополучно.

Сим окончу я сие письмо и сказав вам, что я есмь ваш друг, и прочая.

---

* См. примечание 13 после текста.

В КЕНИГСБЕРГЕ

ПИСЬМО 59-е

Любезный приятель! Квартиру, которую мне вновь* отвели, была хотя неподалеку от прежней, но находилась уже в порядочной и веселой улице, простирающейся вдоль подле берега реки Прегеля и неподалеку от пристани, где приставали и выгружались с моря суда; а что того лучше, то дом сей был наугольный, подле одного водяного и нарочитой ширины канала, через который пред окнами моими был мост. А как я получил для себя нижний и самый лучший наугольный и порядочно прибранный покой с четырьмя большими окнами, то был он очень весел и светел, чем я в особливости был доволен. Впрочем, принадлежал он одной старушке, вдове одного корабельщика, которая жила в другом покое чрез сени, а в верхнем этаже жили ее дети. Для людей же моих отведен был особливый задний покой, и как хозяйка моя была старушка тихая и добрая, то лучшей и покойнейшей квартиры не мог я для себя требовать; а если что меня иногда обеспокоивало, то было то, что в другом покое, чрез сени, содержала

---

* В опущенном 58-м письме Болотов описывает свою первую квартиру, отведенную ему тотчас же по приходе в Кенигсберг.

хозяйка некоторый род шинка, в который всякий день собирались голландцы, шкиперы и другие мореплаватели и препровождали время свое в разговорах, в курении табаку и распивании пива. Итак, шум, производимый иногда ими, мне наскучивал, однако, по крайней мере, не делали они никаких беспутств и бесчиний, а все было у них порядочно и хорошо. Сверх того, взамен сего беспокойства имел я всякий день удовольствие слушать изрядную и приятную игру на скрипицах, производимую живущими надо мною хозяйскими детьми. Наконец, и то было мне приятно, что квартира моя была прямо через улицу напротив капитанской, также что в самой той же улице, через несколько дворов, стояли и некоторые из лучших моих приятелей, а особливо прежде бывший мой компаньон господин Непейицин, и я мог со всеми ими часто видеться.

Не успел я на сей новой квартире осмотреться и получить свободное время, как пустился опять в путешествие и осматривание тех мест и улиц в городе, в котором мне быть еще не случилось. Несколько дней сряду рыскал я по городу и препровождал их в таковых путешествиях, и прихаживал домой уставши до полусмерти, а тут принимался я тотчас за свои картины и за раскрашивание оных; а как и сооружение и самого ящика не выходило у меня из ума, то принялся я за делание оного. Обстоятельство, что большой и такого сорта ящик, какой видел я в Торуне, неудобен был для возки его с собою в походах, поелику он один в состоянии был занимать очень много места в кибитке, было причиною тому, что я принужден был сделаться в первый раз отроду

и поневоле инвентором* и выдумывать особливый род устроения сего ящика, а именно, чтоб расположить и сделать его так, чтоб он мог совсем разбираться и складываться и, будучи разобран, мог занимать в сундуке очень малое место. Признаюсь, что как я никогда еще в выдумках сего рода не упражнялся, то сначала дело сие меня очень озабочивало; но чего не может преодолеть нетерпеливое желание и любопытство? Через немногие дни удалось мне выдумать и смастерить такой, что и поныне еще дивлюсь, как я мог тогда такой сделать, ибо мне на сей раз принуждено было быть и столяром, и шлесарем**, и клеильщиком, и лакировальщиком, потому что все бока и стенки оного сделал я из толстой политурной бумаги. А дабы они не могли коробиться, а притом складывались, то края все укрепил тоненькими деревянными брусочками; для соединения же всех боков наделано было множество крючков, петелек и пробойчиков. Наконец всю наружность оного раскрасил я разными красками, и улепив по оным маленькими, вырезанными из картинок купидончиками, птичками и цветками, и наконец покрыл лаком. Словом, я сделал ящичек не только самый походный и уютный, но и не постыдный для показания всякому. Все офицеры не могли надивиться моей выдумке и искусству и схаживались ко мне толпами смотреть картинки и любоваться ими. А как и сии не только были сами по себе довольно изрядные и

---

*Французское — выдумщик, изобретатель.

**Слесарем.

изображали виды всех лучших мест и улиц в городе Венеции и многих других знатнейших европейских городов, но и были разрисованы мною под натуру, — то не могли они довольно их насмотреться, а мне довольно приписать похвал за мою выдумку и искусство.

Словом, сей первый опыт способности моей к выдумкам и изобретениям приобрел мне в полку много чести. Все стали почитать меня превеликим хитрецом и выдумщиком, а сие и ласкало неведомо как моему честолюбию и, производя мне неописанное удовольствие, побуждало час от часу еще больше упражняться в делах, сему подобных. А чтоб меня еще более тем занять, то судьба, власно как нарочно, преподала мне вскоре после того еще случай увидеть и узнать еще многое такое, чего я никогда не видывал и что в состоянии было не только увеселить меня чрезвычайно, но встревожить вновь мое любопытство и возбудить охоту к дальнейшим выдумкам и узнаванию вещей, до того относящихся.

На самой той улице, где я стоял, и неподалеку от нас, случилось жить одному ученому и такому человеку, который упражнялся в шлифовании стекол и в делании всякого рода оптических машин и других физических инструментов. К сему человеку завел меня один из моих знакомцев, и я не знаю, на земле ли я или инде был в те минуты, в которые показывал он мне разные свои и мною никогда еще не виданные вещи и инструменты. Прекрасные его разные микроскопы, о которых я до того времени и понятия не имел, приводили меня в восхищение. Я не мог устать целый час смотреть в них на все ма-

ленькие показываемые им мне вещицы, а особливо на чрезвычайно малых животных, которых я видел тут в одной капельке воды, бегающих и ворочающихся тут в бесчисленном множестве и гоняющихся друг за другом. А не успел я сими насытить свое любопытное зрение, как хрустальные призмы и другие оптические инструменты и делаемые ими эксперименты приводили меня в новые восторги и в удивление; но восхищение, в какое приведен я был его камерою-обскурою*, не в состоянии я уж никак описать. Я истинно вне себя был от радости и удовольствия, когда увидел, как хорошо и каким неподражаемым искусством умеет сама натура рисовать на бумаге наипрекраснейшие картины, и, что всего удивительнее для меня было, наиживейшими красками. Я долго не понимал, откуда брались сии разные колера, покуда не растолковал мне отчасти помянутый художник, который, приметив особливое мое и с великим примечанием сопряженное любопытство, не оставил показать мне все, что у него ни было, и многое изъяснить примерами для удобнейшего мне понятия. Словом, я вовек не позабуду тех приятных и восхитительных часов, которые препроводил я тогда у него в доме, и был человеку сему весьма много обязан, ибо он власно как отворил мне чрез то дверь в храм наук и заохотил иттить в оный и находить в науках тысячу удовольствий и увесе-

---

* Оптический прибор для получения изображения предметов на плоскости. Известен еще арабским ученым конца первого тысячелетия нашей эры.

лений, и которые помогли мне потом иметь толь многие блаженные минуты в течение моей жизни.

Впрочем, упражняясь в сем рассматривании, я сколько, с одной стороны, веселился всеми сими невиданными до того зрелищами, столько, с другой стороны, досадовал на то, для чего у меня денег было мало и я не так богат был, чтоб мог закупить себе все оные вещи. Однако, сколь я ни беден был тогда деньгами, не мог расстаться с одним маленьким ящичком, составляющим камеру-обскуру, посредством которого можно было с великою удобностью срисовывать все натуральные виды домов, улиц, местоположений и всяких других предметов. Я купил его у сего человека, но за употребленные за то два червонца с лихвою заплачен был неописанным и многим удовольствием, какое в состоянии был производить мне сей ящик. Я всегда не мог довольно налюбоваться тем, как хорошо на шероховатом стекле изображались и рисовались сами собою все предметы, на которые наведешь выдвижною трубкою сего ящика, и не преминул тотчас, пользуясь сим инструментом, срисовать вид той улицы, которая видна была у меня из окон. Сия прошпективическая картина цела у меня еще и поныне, и я храню ее, как некакой памятник тогдашнего времени. Впрочем, ящичек сей произвел мне не одно сие удовольствие, но еще и другое, а именно: он подал мне повод к новой выдумке, а именно, чтоб заставить и самый мой прошпективический ящик отправлять в случае пожелания должность камеры-обскуры; ибо как скоро я узнал, от чего и каким образом камера-обскура устроена и как все ее действия происходят, то нетрудно мне было до-

браться и до того, как производить самое то ж мог бы и самый мой ящик, с учинением только некоторой с ним перемены.

Между тем как я помянутым образом стоял на карауле, а потом беспрерывно занят был вышеописанными, увеселяющими меня, упражнениями, все прочие офицеры нашего полку, не только молодые, но и пожилые, занимались совсем иными делами и заботами. Всех их почти вообще усердное желание быть в Кенигсберге проистекало совсем из другого источника, нежели мое. Они наслышались довольно, что Кенигсберг есть такой город, который преисполнен всем тем, что страсти молодых и в роскоши и распутствах жизнь свою провождающих удовлетворять и насыщать может, а именно, что было в оном превеликое множество трактиров и биллиардов и других увеселительных мест; что все, что угодно, в нем доставать можно, а всего паче, что женский пол в оном слишком любострастию подвержен и что находятся в оном превеликое множество молодых женщин, упражняющихся в бесчестном рукоделии и продающих честь и целомудрие свое за деньги. Сей последний слух в особливости для многих был весьма прелстителен, и они заблаговременно тому радовались, что иметь будут вожделеннейший случай к насыщению необузданных страстей своих; а многие с тем и шли в Кенигсберг, чтоб тотчас по пришествии туда приискать себе хороших любовниц или, по крайней мере, побрать к себе молодых девок на содержание. Все сие они и не преминули действительно исполнить. Не успело и двух недель еще пройтить, как, к превеликому удивлению моему, услышал я, что не осталось в го-

роде ни одного трактира, ни одного винного погреба, ни одного биллиарда, ни одного непотребного дома, который бы господам нашим офицерам был уже неизвестен, но что не только все они у них на перечете, но весьма многие свели уже отчасти с хозяйками своими, отчасти с другими тамошними жительницами тесное знакомство; а некоторые побрали уже к себе и на содержание их, и все вообще уже утопали во всех роскошах и распутствах.

Удивление мое при услышании о сем было неизреченное и тем вящее, что услышал я то же самое и о самых почтенных и таких людях, которых почитал я совсем к таковой развратной жизни неспособными. А что того более меня удивило, то от самых сих людей не слыхал я тогда никаких уже порядочных и разумных разговоров, а все речи и слова и все лучшие шутки и разговоры их были об одних играх, гуляньях и о женщинах, и сие доходило даже до того, что они, забыв весь стыд, нимало уже не стыдились хвастать и величаться друг перед другом своими бесчинствами и распутством, и без малейшего зазрения совести врали и мололи такой гнусный вздор, которого разумному человеку без отвращения слышать было не можно. Но сего было еще не довольно, но они делали еще того хуже и, погрязнув сами по уши в беззаконии, прилагали наивозможнейшее старание втащить и других в сети таковой же мерзкой жизни, и не только поднимали на смех всех тех, кто не следовал их примеру, но ими почти ругались и презирали оных.

Извините меня, любезный приятель, что я между делом рассказываю вам теперь такой гнусный вздор.

Я сделал сие для того, чтобы изобразить тем, в какой опасности находился я тогда, живучи в таком городе и между людьми такового сорта. Находясь в таких точно летах, в которые наиболее человеки подвержены бывают всей пылкости вожделений любострастных и далеко еще не в состоянии владычествовать над страстями своими и повиноваться предписаниям здравого разума; имея случай всякий день слышать бесстыднейшие и любострастные разговоры, видеть наисоблазнительнейшие примеры, могущие развратить и наидобродетельнейшего человека, а что того еще паче, претерпевать самые насмешки и шпыняньяᵒ от всех друзей и товарищей своих за то, для чего я им во всех их распутствах несотовариществую, — при таких обстоятельствах, говорю, не легко ли мог и я с пути добродетели сбиться и ввалиться в бездну пороков? Ах! Я и действительно был так от того недалек, что малого и очень малого недоставало к тому, чтоб сделаться и мне таким же шалуном и распутным человеком, и единая невидимая рука Господня спасла и не допустила меня в таковой же тине мерзостей и беззаконий погрязнуть, в которую погрузили себя все почти наши офицеры.

И подлинно, любезный приятель, когда приходят ко мне на мысль тогдашние времена, то и поныне не могу довольно надивиться тому, каким образом я тогда от сего зла свободился. Целому стечению многих и разных особливых обстоятельств надлежало быть к тому, чтоб избавить меня от тех опасно-

---

*Уколы, упреки, насмешки.

стей, которыми я окружен был, и руке Господней, или паче промыслу его, пекущемуся обо мне, принуждено было насильно исторгнуть меня из средины общества людей, толико развращенных и опасных, и, учинив со мною то, чего мне никогда и на ум не приходило, доставить такое место и вплесть в такие обстоятельства, которые долженствовали сами собою поспешествовать к моему спасению.

Но как все сие для вас не весьма понятно, то объясню вам дело сие короче и расскажу обстоятельнее о сей весьма важной эпохе моей жизни и обо всем том, что к спасению моему тогда поспешествовало.

Наипервейшим обстоятельством, помогавшим мне много в тогдашнее время, была та прежде упоминаемая, врожденная в меня натуральная застенчивость и стыдливость, которой подвержен я был с малолетства и которая и тогда так еще была велика, что для меня всегда превеликая комиссия* была, если случалось иногда бывать с незнакомыми женщинами вместе и упражняться с ними в разговорах. Самое сие и предохраняло меня от той дерзости, наянства** и отваги, каковую другие мои братья имели и при помощи которой могли они тотчас сводить с ними лады и знакомство и которая вводила их во все беспутства. Что касается до меня, то был я в таковых случаях сущею красною девкою, и мне совестно и стыдно было и наималейшие производить с ними

---

*Собственно — поручение, наряд; здесь: затруднение, смущение.

**Нахальство, наглость, назойливость, бесстыдство.

шутки и издевки, а того меньше начинать с ними какие-нибудь вольности. К сему весьма много поспешествовало и то, что как с малолетства имел я случай читать некоторые поэмы и любовные истории, в коих любовь изображена была нежная, чистая и непорочная, а не грубая и распутная, то, напоившись сими мыслями, имел я об ней самые нежные, романтические понятия, и потому такое обхождение с женщинами, какое видал я у других, казалось мне слишком грубым, гнусным и подлым, и я никак не мог себя приучить к вольному и к такому наглому и бесстыдному обхождению с ними, как другие. Но для меня превеликая комиссия была и начинать говорить с ними, а особливо с незнакомыми, и самого сего не мог я никогда учинить, не закрасневшись и не сделав себе превеликого насилия, — черта характера хотя сама по себе смешная, но обращавшаяся мне во всю мою жизнь в превеликую пользу.

Другим весьма многим помогавшим мне обстоятельством была та счастливая случайность, что на обеих моих квартирах не было ни одной молодой женщины и девки, могущей привлечь к себе внимание молодого человека, а если и были женщины, то все старые и дурные. Чрез сие избавился я случайным образом не только сам от поводов к искушению, могущих, как известно, всего более действовать и доводить человека до всего худого, но вкупе и от частого посещения своих товарищей, ибо у них-то в обыкновение уже вошло, чтоб к тому из своей братьи и ходить и того чаще и навещать, у кого на квартире были хорошие хозяйские девки, и у таковых были у них обыкновенно сборища. А поелику у

меня на квартире не было ничего для них привлекательного, то и не имели они охоты часто меня посещать и просиживать долго, а буде когда и захаживали, так наиболее для подзывания с собою иттить гулять.

Третьим обстоятельством, удерживавшим меня от распутной жизни, было то, что не успел я смениться с караула, как на другой день после того случилось мне видеть погребение одного молодого офицера стоявшего тут до нас другого полка и умершего наижалостнейшим образом от венерической болезни, нажитой им во время стояния в сем городе. Сие зрелище, также всеобщая молва и удостоверения от многих, что никто почти из офицеров, упражнявшихся в таком же рукомесле, целым не оставался, но все какой-нибудь из гнусных болезней сих сделались подверженными, впечатлело в сердце моем такой страх и отвращение, что я тогда же еще сам в себе положил наивозможнейшим образом от всех тамошних женщин убегать и от них, как от некоего яда и заразы, страшиться и остерегаться. А сие много мне и помогало в тогдашнее опасное время, и причиною тому было, что я никак не соглашался делать подзывающим нередко меня товарищам своим компанию и ходить вместе с ними в сумнительные и подозрительные дома, но охотнее сидел и упражнялся в своих работах.

Но все сии обстоятельства, и ниже самая охота моя к книгам и ко всяким любопытным упражнениям, не в состоянии б была спасти меня от них и от всех соблазнов и искушений, каким почти ежедневно подвержен я был от сих моих товарищей и друзей,

употребляющих даже самые хитрости и обманы для запутания меня в сети, если б не вступила в посредство самая судьба и невидимою рукою не отвлекла меня от пропасти, на краю которой я находился. Она учинила сие, произведя вдруг совсем неожидаемую в обстоятельствах моих и такую перемену, которая отлучила меня от прежних товарищей моих, толико мне опасных, и положила препону к частому с ними свиданию, и произвела сие следующим образом.

Как правление всем королевством прусским зависело тогда от нас, но для управления оным не определено еще было никакого особого человека, а носился только слух, что прислан будет особый губернатор, то до того времени управлял всеми делами, относящимися до внутреннего управления сим государством, а особливо до собирания податей и доходов, некто из наших бригадиров, по имени Нумерс. У сего человека были тогда в ведомстве все прусские правления, коллегии и канцелярии; но как все они наполнены были тамошними судьями и канцелярскими служителями, наших же никого с ними не было, то хотелось ему давно иметь в тамошней каморе, имеющей в ведомстве своем все государственные доходы, кого-нибудь из своих офицеров, разумеющего немецкий язык и могущего записывать все вступающие приходы и расходы и вносить в особливые, данные от него книги. Такового человека давно он уже мекал*, но как в полках, стоявших

*Собственно — думать, полагать, считать, угадывать; здесь: искать.

тут до нас, не было никого к тому способного, то по пришествии нашего полку начал он расспрашивать и распроведывать, нет ли у нас такового.

Так случилось, что поговорить ему о том вздумалось с самим моим капитаном, господином Гневушевым, отправлявшим тогда должность плац-майора в городе, и судьбе было угодно, чтоб сему человеку не с другого слова рекомендовать к тому меня. Он, любя меня, насказал столько обо мне и о способностях моих помянутому бригадиру, что он на другой же день от полку меня истребовал и тотчас препоручил мне вышеупомянутую комиссию.

Нельзя довольно изобразить, как удивился я, получив от полку вдруг и против всякого чаяния моего, приказание, чтоб явиться к бригадиру Нумерсу, а в полку чтоб числить меня в отлучке. Я не знал тогда, что это значило и зачем меня к нему посылали. Но как во все продолжение моей службы я за правило себе поставлял, чтоб, не ведая, где можно найтить и где потерять, никогда самому собою ни в какую команду не набиваться, а куда станут посылать, не отбиваться, то без прекословия повиновался я сему повелению и на другой же день явился к моему новому командиру.

Господин Нумерс принял меня очень ласково и, поговорив со мною несколько по-немецки, приказал мне, чтоб я что-нибудь написал; и как я понемецки писал нарочито хорошо, то, сколько казалось, рукою моею был он очень доволен. Он в тот же час поехал со мною в камору и отдал меня на руки одному старичку-советнику, по имени Бруно, приказав ему препоручить мне то дело, о ко-

тором он с ним давно уже говорил, и иметь за мною смотрение.

Старичок сей показался мне весьма тихим и добреньким человечком. Он, обласкав меня, отвел тотчас в особливую и в побочную подле себя комнату и ассигновал мне для сидения место. И как книги белые были у них уже готовы, то и показал мне, как и что мне в них писать, и дал все нужные наставления, почему и должен я был тогда же начинать свою работу и списывать с них по-немецки, что было предписано.

Таким образом сделался я вдруг из военного человека приказным, или, по крайней мере, должен был иметь дело уже не с ружьем, а с пером и чернилами. Перемена сия была мне тогда не весьма приятна. Комиссия моя была хотя и не трудная и состояла только в переписывании тетрадей со счетами, даваемых мне от помянутого старичка, в белые шнуровые книги, но обстоятельство, что я принужден был ходить в камору всякий день и сидеть в ней не только все утро до обеда, но и после обеда, до самого почти вечера, и ничего иного не делать, как писать и переписывать такое, что не лезло совсем в мою голову и было для меня непонятно, а что того хуже — сидеть один и в сущем уединении, в превеликой, скучной и темной палате, освещаемой только двумя закоптевшими окнами с железными решетками, и притом еще не под окнами, а в удалении от оных, следовательно, сидеть как птичка взаперти, и препровождать наилучшее вешнее время в году не только в беспрерывных трудах и работе, но и в прескучном уединении, не имея никого, с кем бы мог промолвить слово, — сие об-

стоятельство, говорю, было мне, а особливо сначала, когда дела было очень много, очень и очень неприятно и заставливало не один раз тужить о потерянной вольности, которою пользовался я до того времени, и коею тогда мог уже наслаждаться только в одни праздничные и воскресные дни, да в немногие часы в полдни и перед вечером.

Со всем тем была перемена сия в обстоятельствах моих мне существительно полезна, и я и поныне не могу еще довольно возблагодарить судьбу, что она со мною тогда сие учинила, ибо я избавился чрез то от всех прежних моих опасностей, ибо как меня никогда не было дома, то все прежние мои друзья и товарищи мало-помалу и отлучились приходить ко мне то и дело для посещения и подзывания меня с собою в трактиры и другие увеселительные места для гулянья. А составив уже между собою общества и ватаги, упражнялись они в своих забавах и утехах, меня же, как некоторым образом от полку отлученного и к обществу их не принадлежащего, оставили с покоем и к ватагам своим не приобщали, чем я весьма был и доволен.

Другая и наиважнейшая польза проистекала от сей перемены та, что сим пребыванием моим в каморе власно как проложен был мне путь к другой, последующей затем и гораздо еще важнейшей перемене, которая обратилась мне в бесконечную пользу, как о том упомяну я впредь в своем месте.

Таким образом, сделавшись против всякого чаяния оторванным и независимым от полку, начал я провождать совсем новый и для меня необыкновенный род жизни, которая сначала хотя показалась

мне весьма скучною, но как ко всему привыкнуть можно, то в короткое время сделалась мне нарочито сносною, и я нимало уже на нее не жаловался, но, привыкнув мало-помалу к тихой и уединенной жизни, стал находить в оной несколько и удовольствия. Все тогдашнее мое время препровождаемо было следующим образом. В каждый день поутру, вставши и напившись чаю и одевшись, отправлялся я в путь к своей каморе. Расстояние от ней до моей квартиры было хотя и немалое и простиралось более нежели на полторы версты, однако хаживал я обыкновенно один и пешечком, и как, по счастию, кратчайший путь туда лежал по хорошим улицам и мостовым, то путешествия сии никогда мне не наскучивали, но хождение сие поспешествовало еще много моему здоровью. Пришед в камору, садился я обыкновенно за свой стол и, не сходя с места, проработывал до самого первого часа. В сие время надоедало мне только несколько мое уединение, ибо главные покои сей каморы, где было множество писцов, были от того места, где я сидел, несколько удалены, а тут находились только три комнаты, из коих в одной сидел помянутый старичок-советник, у которого был я под надзиранием, в другой я, а в третьей, маленькой, главный приходчик или приниматель собираемых доходов. Но как в немецких канцеляриях совсем не такие обыкновения, как у нас, и всеми канцелярскими служителями не предпринимаются никакие вольности в разговорах и не препровождается время в смехах и балагуреньях, то всякий из них сидит, как вкопанный, на своем месте и занимается своим делом наиприлежнейшим образом, и у них не только

нет никогда шума и сумятицы, но наблюдается во всем благопристойность, тихость и совершенный порядок, — то и помянутые оба соседа мои занимались всегда и столь прилежно своими делами, что мне в целые сутки не удавалось иногда промолвить с ними единого слова; о вступлении ж в какие-нибудь разговоры и помыслить было не можно. Сверх того, не только сии господа, но и все лучшие жители города Кенигсберга вообще имели как-то некоторое отвращение от всех нас, русских, и власно как умышленно старались всячески от нас и от поверенного, откровенного и дружелюбного обхождения с нами убегать и удаляться, почему и неудивительно, что хотя я немалое время при сей должности в каморе пробыл и хотя, оказывая обоим моим соседям возможнейшее учтивство, всячески старался с ними сколько-нибудь поближе познакомиться, однако все мои старания были тщетны. Они соответствовали мне таковыми ж только учтивостями, но более сего не мог я ничего от них добиться, ибо хотя я и ежедневно ожидал, чтоб который нибудь пригласил меня из них когда не обедать, так, по крайней мере, на чашку кофея или чая, однако не мог я сего от них никогда дождаться; самому же понаяниться* и к ним без зову ходить казалось мне непристойно. Словом, они казались мне сущими бирюками. Но таковых же бирюков нашел я в присутствующих при тамошней рентереи** и соляной конторе, в которые через не-

---

* Проявить себя нахалом, стать назойливым.

** Казначейство.

сколько дней должен я был ходить и по несколько часов просиживать в таковом же деле, то есть в записывании тамошних рентерейных и соляных доходов в особые книги. В обоих сих присутственных местах, находившихся в том же замке, где была и камора, делами управляли два стариченца, но оба они еще нелюдимее и несловоохотнее были моих соседей, так что я от сих мог ожидать еще меньше, нежели от прежних, ласки и дружелюбия.

Все сие сначала меня крайне удивляло, и я не однажды сам в себе с досадою помышлял и говорил:

«Что это за бирюки и за черти здесь сидят? Ни к кому из них нет приступу и ни от кого не добьешься никакого дружелюбия и ласки!»

Но после, как узнал короче весь прусский народ и кенигсбергских жителей, то перестал тому дивиться и приписывал уже сие не столько их нелюдимости, сколько общему их нерасположению ко всем россиянам, к которым хотя наружно оказывали они всякое почтение, но внутренне почитали их себе неприятелями и потому от дружелюбного и откровенного с ними обхождения удалялись; а сверх того, умеренный и воздержный род их жизни, удаленной от всяких роскошей и излишеств, имел в том великое соучастие.

Но я удалился уже от порядка моего повествования, и теперь, возвращаясь к оному, скажу, что, препроводив помянутым образом все утро в беспрерывном и скучном писании, по пробитии двенадцати часов выхаживал я вместе с прочими из каморы и возвращался на квартиру. Тут находил я всегда солдатский свой обед, изготовленный людьми моими,

уже готовым, который хотя не таков был сладок, как мнимый* прусский, но я никогда голодным не вставал из-за стола. Потом принимался я тотчас за рисованье и, препроводив в оном и в других любопытных упражнениях с час и более времени, по пробитии двух часов отправлялся опять в путь в свою камору и просиживал там до самого почти вечера. По выходе же из оной и возвратившись домой, хаживал прогуливаться на корабельную пристань и в другие близ находящиеся места, а особливо по берегу реки Прегеля, и сматривал на плавающие по реке суда и на множество народа, упражняющегося на берегах в нагруживании и выгрузке судов. Когда же случался день воскресный или праздничный, в который в каморе не было заседания, тогда весь день употреблял я либо на рисованье, либо на разгуливанье по всему городу и по всем лучшим частям оного. Хаживал иногда к старичку своему полковнику, который унимал иногда меня у себя обедать и брал с собою вместе гулять в наилучший и славный тамошний Сатургусов сад, о котором упомяну я подробнее в своем месте. А как и кроме сего были в сем городе другие сады, в которых всякому гулять было можно, то, отыскивая оные, хаживал иногда и в оные гулять. В трактиры же очень редко захаживал, и то разве для того, чтоб напиться чаю и кофея и почитать газет иностранных; и как газеты тогдашнего времени были весьма любопытны и я узнал, что издавались они и тут в городе, то не пре-

---

*Призрачный, воображаемый, предполагаемый.

минул я взять и для себя оные и насыщать ими свое любопытство.

Сим образом, привыкнув к сему новому и уединенному роду жизни, препроводил я несколько недель в наиспокойнейшем состоянии и жил, прямо можно сказать, в мире и тишине и был состоянием своим доволен. От прежних же своих товарищей сделался я так удален, что и сведения не имел, что у них между собою происходило, да и узнать то всего меньше старался.

Но теперь время мне письмо свое кончать и сказать вам, что я есмь, и прочая.

ОПИСАНИЕ КЕНИГСБЕРГА В КЕНИГСБЕРГЕ

ПИСЬМО 60-е

Любезный приятель! Как в течение тех недель, которые, находясь при каморе, препроводил я вышеупомянутым образом в мире, тишине и спокойствии, имел я довольно времени и случаев осмотреть и узнать Кенигсберг, то постараюсь я теперь исполнить то, что упустил в предследующих письмах, и описать вам сей столичный прусский город, дабы вы получили о нем некоторое ближайшее понятие.

Город сей лежит посреди всего королевства прусского и может почесться приморским, ибо хотя стоит он не подле самого моря и открытое Балтийское море от него не ближе семидесяти верст, но как между оным морем и находится узкий и предлинный залив, называемый Фрижским Гафом*, и в сей залив впадает река Прегель, от устья которой неподалеку Кенигсберг на брегах оной воздвигнут, река же сия довольно глубока, то и пользуется он тою выгодою, что все морские купеческие суда и галиоты** доходят по-

---

*Фриш-гаф.

**Небольшое купеческое судно, галера.

мянутым гафом и рекою до самого оного и тут производят свою коммерцию или торговлю.

Помянутая река протекает сквозь самый сей город, и как она в самом том месте, где он построен, разделившись на многие рукава, произвела несколько обширных и больших островов, то сии служат сему городу в особливую выгоду. Некоторые из сих ровных и низменных островов, перерытых многими каналами, покрыты наипрекраснейшими сенокосными лугами, производящими наигустейшую едкую* и хорошую траву, которая в особливости достопамятна тем, что жители кенигсбергские приуготовляют из нее особенного рода крупу, известную у них под именем «шваденгриц»**. Они в летнее время, когда вырастают на траве сей волоти, похожие на наши костеревые или роженчиковы***, обсекают оные ситами и решетами и потом, высушив, обрушивают из них крупу, имеющую наиприятнейший вкус в каше. Осенью покрыты сии места несколькими тысячами пасомого на них скота и лошадей. Самые же ближние к городу острова заняты разными городскими строениями, и из них в особливости замечания достоин обширный и посреди самого города находящийся круглый остров, потому что весь он

---

*Вкусную, сытную.

**Буквально — шведская крупа.

***Волоть — здесь: стебель, колос; костерь — растение из семейства злаков, с крупными колосками — кормовая трава; роженчиковы — стручковые растения; рожок — стручок.

застроен сплошным и превысоким каменным строением и составляет особую и наилучшую часть города.

Впрочем, город сей довольно обширен, имеет в себе великое число жителей и обнесен вокруг земляным валом с бастионами, а в стороне к морю, по левую сторону реки Прегеля, сделана небольшая регулярная четвероугольная крепость или цитадель, называемая Фридрихсбургом, с установленными вокруг пушками. Но все сии укрепления не составляют дальнейшей важности, ибо как по великой обширности города содержание всех валов в хорошем порядке сопряжено б было с великим коштом*, то и с многочисленным гарнизоном не может сей город порядочной и долговременной осады вытерпеть, и потому почесться может он более открытым купеческим и торговым городом, нежели крепостью. Со всем тем, везде при въездах поделаны были порядочные городские ворота и при оных содержались строгие караулы.

Что касается до внутренности сего города, то она разделяется сперва на самый город и на несколько обширных форштатов, кои, однако, не отделены от города никакою особою стеною, но совокупно с ним окружены вышеупомянутым земляным валом, а отличны от города только тем, что в них строения не таковы хороши и не таковы высоки, как в городе, а притом наиболее состоят из фахверков или кирпичных мазанок, как, напротив того, в самом городе находятся уже все сплошные и о несколько этажей

---

*Расходами.

каменные дома, сплющенные между собою наитеснейшим образом.

Впрочем, сей внутренний и лучший город имеет в себе три главные отделения, или части, известные у них под именем «Альтштата», или старого города, «Кнейпгофа», которая часть находится на вышеупомянутом острову, и «Лебенихта». Каждая из сих частей составляет некоторым образом особый город, ибо каждая имеет особую свою ратушу, особую соборную церковь, особые свои публичные здания, особую торговую площадь и особое городское начальство. Что касается до так называемых форштатов, то сии состоят из предлинных и довольно широких улиц, простирающихся от помянутых главных частей города в разные стороны. Главнейшие из них называются: Розгартен, Трагтейм, Секгейм, Штейндам, Габерберг и некоторые иные. Все сии форштаты, кроме нескольких дворянских домов, рассеянных по оным, состоят из посредственных и только в два этажа построенных домов.

Наизнаменитейшим из всех в Кенигсберге находящихся зданий можно почесть так называемый замок, или дворец прежних герцогов прусских. Огромное сие и, по древности своей, пышное здание воздвигнуто на высочайшем бугре или холме, посреди самого города находящегося. Оно сделано четвероугольное, превысокое и имеет внутри себя четверостороннюю, нарочито просторную площадь и придает всему городу собою украшение, и тем паче, что оно со многих сторон, а особливо из-за реки, сверх всех домов видимо. В одном из четырех его боков, или фасов, во втором этаже находятся ста-

ринные герцогские покои, состоящие во многих залах и пространных комнатах, которые и в нашу бытность обиты были теми старинными ткаными обоями, которые находились еще в то время, когда в оных приниман был государь Петр I, когда он путешествовал с Лефортом по разным землям в посольской свите, и в коих покоях имеют пребывание свое прусские короли, когда они, по вступлении на престол, приезжают в Кенигсберг для принимания присяги, которая пышная церемония производится на помянутой, внутри сего замка находящейся площади*. А в прочее время живали в сих покоях главные правители и командиры над войсками, в сем королевстве находившимися, как и пред вступлением нашим жил в оных фельдмаршал их Левальд. Со всем тем, во всех сих покоях не только нет никакого дальнего в убранствах великолепия, но они низковаты, темны и крайне невеселы, что, может быть, и подало повод прежним государям прусским один и лучший угол сего замка переделать и прибавить еще вверх два огромных этажа. Но неизвестно, для чего оба сии этажа остались как-то не отделанными совсем, а только отработанными вчерне, и уже мы в последующие годы постарались сами один из сих этажей отделать и убрать так, что непостыдно было никому, и даже самим королям, в нем жить. В нижнем этаже сего фаса находились кладовые, кухни, караульни и, наконец, на углу самая та камора, в которую я хаживал.

*Кенигсберг был местом коронования прусских королей.

Оба другие и боковые фасы содержали в себе множество покоев, стоящих отчасти впусте, отчасти занятых разными гражданскими главными правительствами и присутственными местами, а иные покои служили вместо магазинов для разных поклаж.

Что ж касается до последнего и четвертого фаса, лежащего насупротив герцогских покоев, то вся внутренность его занята одною преогромной величины киркою, или придворною церковью, в которой на каждое воскресенье отправлялась два раза божественная служба и собиралось великое множество народа.

Наконец, на одном углу сего фасада воздвигнута превысочайшая и претолстая четвероугольная башня, не имеющая никакого шпица и купола; на плоском ее верхе выставлялось только большое знамя или флаг. Тут, под самым верхом, сделаны небольшие покойцы, и в них имеют всегдашнее жительство несколько человек трубачей и других музыкантов. Должность их состоит в том, чтоб содержать наверху сей башни беспрерывный караул и смотреть, не сделается ли где пожара, который как скоро они усмотрят, то с того момента начинают играть на своих трубах особливые пожарные и набатные штуки. И дабы народ издали мог видеть и знать, в которой стороне пожар, то днем в ту сторону наклоняют помянутое знамя, а в ночное время высовывают в ту сторону шест с висящим на нем большим фонарем, чрез что народ и узнает, в которую сторону должно ему бежать для погашения пожара. Сие случалось самим нам видеть при бывших при нас несколько раз пожарах, и признаться надобно, что учреждение сие у них похвально и хорошо.

Кроме сего, примечания достойно, что под сею башнею и в самом сем угле находится у них публичная и старинная библиотека, занимающая несколько просторных палат и наполненная несколькими тысячами книг. Книги сии по большей части старинные и отчасти рукописные, и мне случалось видеть очень редкие, писанные древними монахами весьма чистым и опрятным полууставным* письмом, украшенным разными фигурами и украшениями из живейших красок. А что того удивительнее, то многие из них прикованы к полкам на длинных железных цепочках на тот конец, дабы всякому можно было их с полки снять и по желанию рассматривать и читать, а похитить и с собою унесть было б не можно. Библиотека сия в летнее время в каждую неделю, в некоторые дни, отворялась, и всякому вольно было в нее приходить и хотя целый день в ней сидеть и читать любую книгу, а наблюдали только, чтоб кто с собою не унес которой-нибудь из оных. И дабы чтением сим можно б было удобнее всякому пользоваться, то поставлены были посреди палаты длинные столы с скамейками вокруг, и многие, а особливо ученые люди и студенты, действительно пользовались сим дозволением, и мне случалось находить их тут человек по десяти и по двадцати, упражняющихся в чтении.

Кроме книг, показываются в библиотеке сей некоторые и иные редкости, но весьма немногие; и наидостойнейшие замечания были портреты Мартина

---

*См. примечание 14 после текста.

Лютера и жены его Катерины Деворы, о которых уверяли, якобы они писаны с живых оных.

Наконец, входов и въездов в сей замок только два: один с переднего фаса, большой, наподобие городских ворот, темный, под палатами, а другой под киркою, маленький и равно как потаенный. А сверх того было в камору наружное крыльцо с портиком для прямейшего входа в оную.

Впрочем, перед замком находилась небольшая площадь, с которой в разные стороны простирались три больших и несколько маленьких и кривых улиц. Одна из больших шла в сторону, кругом замка, к Штейндамскому форштату и знаменита тем, что на оной стоят наилучшие и огромнейшие каменные дома, принадлежащие наизнаменитейшим прусским вельможам и нескольким принцам и графам; а другая, ведущая к Розгартенскому предместью, называлась Французскою и достопамятна отчасти тем, что жили в ней все французы и имели под домами своими наилучшие французские лавки со всякими товарами, отчасти же тем, что построена была на преширокой плотине одного предлинного и преширокого пруда посреди города, неподалеку от города находящегося, и на одной небольшой речке, впадающей со стороны в Прегель, запруженной. Улица сия была весьма хороша и так построена, что никак узнать было не можно, что она находилась на плотине, ибо за сплошным каменным строением воды вовсе не видать было. Что ж касается до третьей большой, то сия шла под гору в ту часть города, которая называлась Альтштатом.

Что принадлежит до сих главных частей города, то первая, называемая Альтштатом, или Старым го-

родом, находилась под горою между замком и рекою Прегелем и состояла вся из превысоких узких и сплошь друг против друга в несколько этажей построенных каменных домов, разделяющихся на несколько кварталов узкими, темными и на большую часть кривыми улицами, какие везде в старинных европейских городах были в обыкновении. Посредине же в сей части находилась нарочито просторная четвероугольная продолговатая площадь, окруженная вокруг такими же сплошными высокими домами. Площадь сия достопамятна тем, что в конце оной находятся наилучшие ряды или лавки с разными товарами, а на самой площади в каждую неделю, по субботам, проводились торги мясными и другими съестными припасами. И в сии дни площадь сию никак узнать не можно, ибо вся она в один час застраивалась множеством маленьких деревянных, но порядочных разборных лавочек, которые все под вечер паки разбирались, и площадь к воскресенью очищалась так, что на ней не было ни одной соринки. Сие обыкновение показалось нам сначала очень странно, но после не могли мы тем довольно налюбоваться.

К знаменитейшим публичным зданиям, в сей части находящимся, можно почесть, во-первых, соборную их церковь, или кирку, которая была хотя старинная, построенная в готическом вкусе с превысоким шпицем, но имела в себе пребогатые органы, стоящие несколько десятков тысяч и достойные зрения; во-вторых, главнейшая городская ратуша*, составляю-

---

*Дом городского самоуправления.

щая довольно великое и порядочное здание, воздвигнутое подле самой площади. Для содержания подле оной караула было у них несколько десятков человек городских престарелых солдат, которых особливому и смешному мундиру мы довольно насмеяться не могли. В-третьих, подле той же площади находился у них так называемый общественный городской дом, имеющий в себе несколько покоев и одну преогромную залу, в которой отправлялись у них общественные совещания и торжества, также свадебные балы, как о том упомянется впредь, когда я о сих свадьбах в особливости пересказывать буду.

Что касается до второй части, называемой Кнейпгофом, то сия уже многим знаменитее и лучше вышеупомянутой первой. Она находится, как уже прежде упоминаемо было, совсем на острове, окружена вокруг водою и отделяется от Альтштата одним только узким рукавом реки Прегеля. Строение в оной хотя также сплошное каменное, с узкими улицами, но улицы сии уже несколько прямее; а поелику живут в ней все наибогатейшие купцы, то есть и домов хороших множество. Но ни которая улица не достойна такого замечания, как так называемая длинная Кнейпгофская, которую наши прозвали Миллионною. Она пересекает всю сию часть вдоль и имеет сообщение с обоими мостами, которыми связан остров с Альтштатом и Габербергским форштатом и из коих один глухой, а другой подъемный, для пропуска судов. Название улицы сей и не неприлично, потому что из купцов, живущих на ней, есть многие миллионщики и улицу сию можно почесть наилучшею и богатейшую во всем городе; но

дома и на ней все сплошные, староманерные, превысокие, этажей в пять или в шесть и чрезвычайно узкие, а единая ширина и прямизна придают ей наилучшую краску.

Главная церковь в сей части находится посредине острова и достопамятна тем, что в ней погребались прежние прусские герцоги и наизнаменитейшие люди и что она украшена многими прекрасными мавзолеями и надгробиями, также увешана многими трофеями и знаменами. В переднем конце оной, за алтарем, сделана решетчатая железная перегородка и за оною, посреди пространного ниша, воздвигнута высокая и широкая четвероугольная гробница, наверху которой — некто из старинных прусских владетелей, лежащий в полном росте вместе со своею женою. Но сей мавзолей далеко не так хорош, как другой, находящийся в самой церкви, подле стены. Тут, за вызолоченною решеткой, лежал над могилою своею некто из древнейших прусских вельмож, бывший государственным канцлером, высеченный с преудивительным искусством в полном росте из наибелейшего мрамора. Он изображен лежащим, как живой, на боку, и в такой одежде, какую тогда нашивали, и, подпершись одною рукою, находился власно как в глубоких размышлениях. Все сие изображено так искусно, что не можно довольно тем налюбоваться; на стене же, против сего места, вставлена черная мраморная доска с золотою латинской епитафиею. Впрочем, кирка сия была хотя огромная, но самая старинная, построенная в готическом вкусе.

Неподалеку от сей церкви находился славный

кенигсбергский университет и, поблизости его, дома тамошних профессоров и других ученых людей. Но университет сей ни наружностью, ни внутренностью своей не мог приводить в удивление, ибо здание оного было самое простое и старинное, и самая аудитория не составляла никакой важности. Со всем тем, по существу своему был сей университет не из последних и училось в нем великое множество всякого звания людей, и в том числе много и знатных.

Ратуша сей части города, также и общественный дом не составляли дальней важности, а более их примечания достойна была биржа, построенная на берегу подле зеленого подъемного моста. Она составляла превеликую залу с сплошными почти окнами вокруг, и в ней сходятся все купцы для разговаривания между собою о торговле.

Что принадлежит до третьей главной части города, носящей на себе название Лебенихта, то сия находится рядом с Альтштатом и всех прочих (менее) примечания достойна. Я не нашел в ней ничего особливого, кроме католицкого монастыря и церкви, довольно великой и гораздо боле украшенной, нежели лютеранские.

Рассказав сим образом о главных частях города, упомяну теперь нечто о форштатах и о том, что в них есть примечания достойного. Наилучшим и величайшим из них можно почесть Габербергский, то есть, который находится за рекою, потому что он составляет целую часть города, имеет в себе широкую и предлинную улицу, которая около Петрова дня наполнена бывает бесчисленным множеством

народа, потому что в сие время бывает тут годовая ярмонка, о которой иметь я буду случай поговорить в другом месте. Сверх того находится в сем форштате и жидовская синагога, составляющая нарочито изрядное каменное здание.

Штейндамский ничего в себе особливого не имеет, кроме своей кирки, которая достопамятна тем, что она наидревнейшая и нами обращена была потом в нашу российскую церковь.

Сакгеймский форштат сам по себе ничем не достопамятен, но между ним и Трагтеймским форштатом находилось парадное место, которое достойно некоторого замечания. Оно составляет нарочито просторное, ровное и луговою травою порослое место, весьма способное для обучения и экзерцирования войск, почему и наши войска обыкновенно тут учивались. Кроме сего, достопамятна она тем, что на оном построена прекрасная каменная лошадиная мельница о множестве поставов*, и работают в ней беспрерывно по шестнадцати лошадей.

Трагтеймский форштат достопамятен, во-первых, тем, что имеет в себе множество господских и нарочито изрядных и больших домов; во-вторых, выгодным своим положением, подле вышеупомянутого большого пруда, между ним и Розгартенским форштатом находящимся. Верхняя часть сего прекрасного и более на маленькое длинное озеро походящего пруда окружена сплошными садами, позади домов обоих сих форштатов находящимися, а нижняя —

*Постав — пара жерновов.

сплошными, каменными вплоть по воду построенными домами; посредине же, для сообщения обоих сих форштатов, сделан предлинный, узенький и только для пеших мост.

Что касается до помянутого Розгартенского форштата, то он достоин примечания как величиною своею, так и садами, а не менее и многими дворянскими домами, в нем находящимися, каковых также множество и по улице, идущей в сторону к Гумбинам, где, между прочим, находится и королевский дворец, но который составлял тогда очень небольшой и такой каменный домик, каких у нас в Москве несколько сот найтить можно, и стоял порожний. На конце ж сей длинной улицы находится сиротский дом, составляющий изрядное, но не очень большое каменное здание.

Кроме всех сих и некоторых других форштатов, достоин также некоторого замечания тот, который простирается вдоль по берегу реки Прегеля и лежит против крепости, и был самый тот, где имел я свою квартиру, ибо полк наш расположен был весь по вышеупомянутым форштатам. Сей достопамятен как находящеюся в нем судовою пристанью, так и корабельною верфию, а не менее вышеупоминаемыми шпиклерами*, или магазинами для хлеба, соли и других крупных товаров, сгружаемых с барок. Впрочем, как весь сей форштат лежит под горою и на низком и ровном положении места, то разрезан он многими и довольно широкими каналами, коих вода

*Немецкое — складочное помещение, амбар.

имеет совокупление с рекою Прегелем. Кварталы между сими каналами заселены в иных местах домами, в иных засажены садами, а в иных осажены только деревьями и содержат в себе наилучшие луга: но ни который из них так не достопамятен, как тот, на котором находится сад одного наибогатейшего купца, по имени Сатургус. Сад сей хотя не очень обширен, но почесться может наилучшим во всем Кенигсберге, ибо он не только расположен регулярно, но и украшен всеми возможнейшими украшениями. Хозяин, будучи любопытный, ученый и богатый человек, наполнил оный многими редкими вещами. Есть у него тут богатая оранжерея, набитая разными иностранными произрастаниями; есть менажерия, или птичник и зверинец, в котором содержится множество редких иностранных птиц и зверьков; есть многие прекрасные домики и беседки. В одном из оных находится маленькая кунсткамера, или довольно полный натуральный кабинет. И как мне еще впервые случалось тут таковой видеть, то не мог я довольно налюбоваться зрением на множество редких и никогда мною не виданных вещей, а особливо на преогромное собрание разных руд, окаменелостей, камней, разных раковин, разных птичьих яиц, разных птичьих чучел, а паче на превеликое собрание янтарных штучек с находящимися внутри их мушками и козявочками, которыми навешан у него целый комод и коих число до нескольких тысяч простирается. Другой домик, в котором обыкновенно угощал он своих гостей, вместо обоев украшен картинами, в коих налеплены за стеклом натуральные бабочки и коих видел я тут несметное множе-

ство. Что же касается до самого сада, то наполнен он бесчисленным множеством цветов и хорошими плодоносными деревьями, а стены прикрыты превысокими персиковыми и абрикосовыми шпалерами. Есть также тут множество разными фигурами обстриженных деревьев, а площади все украшены множеством изрядных фонтанов. Вода для сих фонтанов втягивается насосами из канала, подле сада находящегося, в большой свинцовый басень, сокрытый в построенной нарочно для сего на углу сада прекрасной башне, внизу которой сделана изрядная беседка и в ней колокольная игра, производимая тою же водою. Все сии зрелища были до того мною невиданные, и потому всякий раз, когда ни случалось мне в саду сем бывать, производили мне много удовольствия.

Впрочем, можно сказать, что город сей во всем имеет изобилие, и жители оного живут довольно хорошо, однако умеренно и без всяких почти излишеств. Не приметно между ними никакого дальнего мотовства и непомерности. Все наилучшие люди ведут жизнь степенную и более уединенную, нежели сколько надобно, карет и богатых экипажей у них чрезвычайно мало, а все ходят наиболее пешком. В домах прислуга у них очень малая. Есть варят у них обыкновенно женщины, которые сами и закупают к столу все нужное, а вкупе и отправляют должность лакеев; когда госпожам их вздумается иттить в церковь, или куда в гости, или куда в летнее время прогуливаться, они провожают их и ходят вслед за ними, что для нас было сперва очень удивительно. Единое только мне не полюби-

лось, что дома у них, а особливо в лучших частях города, очень тесны и беспокойны; редкий из них занимает сажен пять в ширину, а большая часть не более сажен двух или трех шириною, и притом все покои в них имеют окна в одну только сторону, и очень немногие освещены тремя окнами, а по большей части в них по два окна, ибо обе боковые стены, по причине сплошного строения, у них обыкновенно глухие.

Недостаток сей заменяется у них высотою здания и множеством этажей, из которых один другого ниже. Но сие приносит с собою ту неудобность, что всходить в верхние этажи должно всегда темною и самою беспокойною круглою лестницею, ощупью; ибо как у них в каждом этаже только по два покоя, из которых один окнами на улицу, а другой назад, то между ими находятся темные сенцы, где идет сия лестница и вкупе находятся очажки, где варят они себе есть. Дворы есть у весьма редких домов, да и те очень тесные, а у прочих хотя и есть, но наитеснейшие, да и в те вход только сквозь дома, а ворот порядочных нет; да и служат они более для поклажи только дров. Входы же в дома поделаны везде с улицы, и двери в сени всегда разрезные, надвое, но не вдоль, а поперек, дабы верхняя половина могла быть днем отворена для произведения света в сенях, а нижняя затворена для воспрепятствования входа всякому. Впрочем, примечания достойно, что в наилучший их Кнейпгофской, или Миллионной, улице и в лучшие дома крыльца поделаны везде деревянные, но никогда почти не гниющие, а имеющие вид чугунных, так что и узнать никак не можно, что они деревянные.

Сие производят они повторяемым чрез каждые два или три года вымазыванием их разваренною смолою и усыпанием потом железною окалиною* из кузниц, чрез что производится на них власно как чугунная корка, не допускающая их согнивать от дождя и ненастья. Число всех домов в городе простирается до 3800, а жителей — 40 тысяч**.

Ходьба и езда по городу довольно спокойная, потому что все улицы вымощены диким камнем и мостовая сия содержится всегда в хорошем состоянии; в ночное же время, а особливо осенью и зимою, освещаемы бывают все улицы фонарями. Однако в тесных городских улицах досадная неудобность бывает та, что по ночам всякую нечисть и сор выкидывают из домов на улицы, которая хотя ежедневно особыми и нарочно к тому определенными людьми счищается и свозится долой, но нередко бывает от того дурной запах и духота, заражающая воздух, и от того нижние покои обыкновенно бывают очень скучны и от узкости улиц темны.

Церквей в Кенигсберге всех 18, из коих 14 лютеранских, 3 кальвинских и 1 римско-католическая. Большая часть оных построена в готическом вкусе, с предлинными шпицами на колокольнях; однако есть и без оных и воздвигнуты во вкусе новой архитектуры, однако немногие.

---

* Мелкие осколки, осыпающиеся при ковке железа.

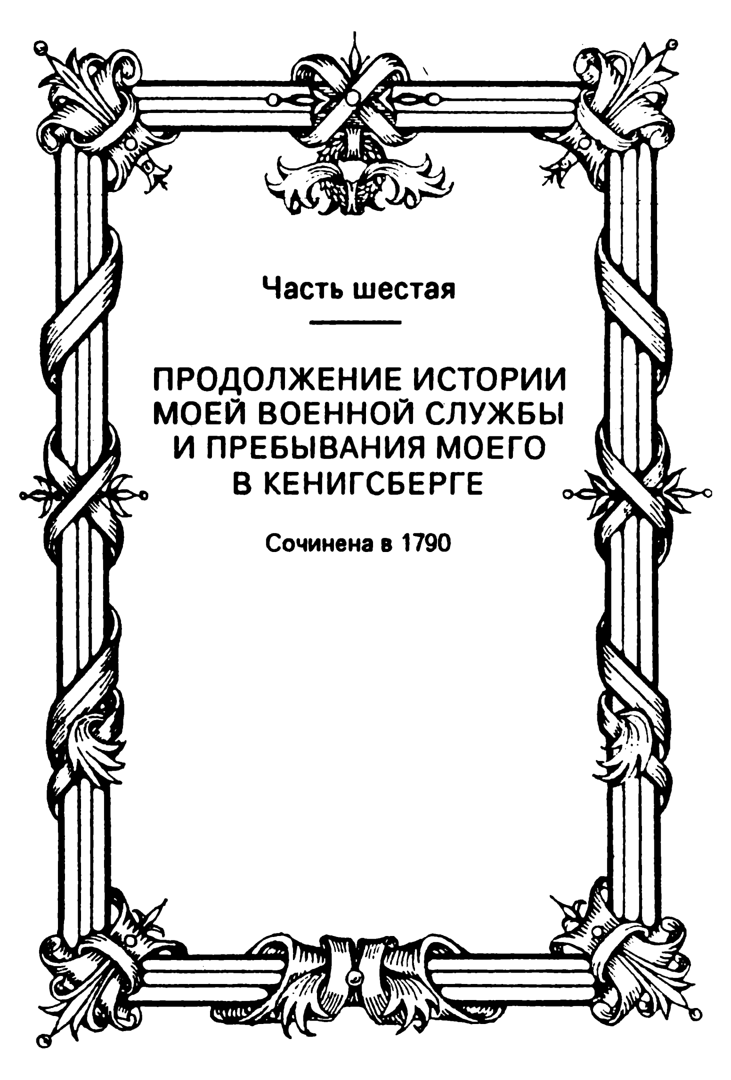
** Для сравнения интересна цифра жителей Кенигсберга в 1911 г. — 246 тысяч.

Водою снабжен сей городок довольно, ибо, кроме реки Прегеля и помянутого пруда, поделаны по всем улицам множество колодезей, над которыми построены власно как маленькие карауленки и башенки и вставлены насосы, и вода получается качанием сбоку из оных.

Кроме сего, есть в сем городе несколько больших ветряных мельниц, довольно хорошо устроенных, а сверх того и прекрасная водяная о множестве поставов, построенная на той речке, на которой пруд пониже плотины, и скрытая так, что ее вовсе неприметно.

Сего довольно будет на сей раз во известие о сем городе, ибо о прочем упомянуто будет подробнее впредь, при других случаях. В будущем моем письме возвращусь я к прерванной нити моего повествования и буду рассказывать вам, что со мною в сем городе случилось далее и что подало повод ко второй и той перемене в обстоятельствах моих, от которых проистекли последствия, имевшие на все благоденствие жизни моей наивеличайшее влияние. А поелику теперешнее письмо мое уже слишком увеличилось, то дозвольте мне оное сим кончить и, уверив о непременной моей к вам дружбе, сказать вам, что я есмь навсегда ваш, и прочая.

КОНЕЦ ПЯТОЙ ЧАСТИ



Часть шестая

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В КЕНИГСБЕРГЕ

Сочинена в 1790

ПРЕБЫВАНИЕ В КЕНИГСБЕРГЕ

ПИСЬМО 61-е

Любезный приятель! Рассказывая вам в предследующих письмах о том, что происходило со мною во время пребывания моего в Кенигсберге, остановился я на том, как я жил при тамошней каморе и упражнялся в письменных делах. Теперь, продолжая повествование мое далее, скажу, что колико жизнь сия была мне сначала трудновата и скучна, толико сделалась потом приятна и весела. Вышеупомянутым образом и до обеда, и после обеда в камору ходить и беспрестанно писать принужден я был только сначала и не более двух недель, ибо в сие время надлежало мне вносить в книгу все приходы и расходы бывшие, с начала вступления нашего в Пруссию до моего определения в камору. Но как я сию трудную работу совершил, то письма мне было гораздо меньше и, наконец, сделалось столь мало, что мне и в целый день недоставалось написать по странице. Следовательно, небольшую сию работу мог я в полчаса оканчивать, и мне не только уже не было нужды ходить после обеда в камору, но я и по утрам иногда совсем дела не имел и мог, с дозволения старичка моего советника, отлучаться, а иногда и целый день оставаться дома.

Сие обстоятельство, доставлявшее мне более досуга и свободного времени, было мне сколько, с одной стороны, приятно тем, что я множайшее время мог посвящать на собственные мои упражнения и жить по своему произволу, не заботясь ни о чем и не опасаясь, чтоб послали меня куда в команду или в караул, столько, с другой, предосудительно и вредно тем, что нечувствительно начало меня опять сближать с прежними моими друзьями и знакомцами. Все они завидовали моей спокойной и праздной почти жизни, и многие не преминули начать опять меня почасту навещать, как скоро узнали, что я получил более свободного времени и послеобеденные часы провожаю дома. Таковые посещения их были мне хотя и не противны, но вредны тем, что, в соответствие оным, должен был и я иногда ходить к оным и терять время в упражнениях совсем пустых и нимало склонностям моим не соответствующих. Они занимались наиболее либо игрою в карты, либо в разговорах не только ничего не значащих, но иногда прямо соблазнительных и негодных, а во всем том не находил я вкуса, но принужден был только смотреть и слушать. Из всех их не было ни одного, который бы имел сколько-нибудь склонности, подобные моим, и с которым мог бы я с удовольствием заниматься в разговорах о делах, мне более увеселение приносящих. Но и самые те, которые были сколько-нибудь других получше и поумнее, в немногие недели пребывания своего в сем городе так развратились, что не похожи уже были сами на себя и не можно было уже от них ни одного почти степенного слова и порядочного разговора слышать. Со

всем тем, по необходимости должен я был иметь с ними частые свидания, и когда не брать во всех их делах и упражнениях действительного соучастия, по крайней мере, с ними обходиться и нередко вместе препровождать время, а особливо в гуляньях.

Все сие подвергало меня опять великой опасности, чтоб мало-помалу не заразиться таким же ядом распутства, каким все они заражены были.

Но никогда я столь в великой опасности от них не был, как во время бывшей около сего времени в Кенигсберге превеликой ярмонки. Ярмонка сия бывает тут однажды в году и, начавшись недели за две до Петрова дня, продолжается до самого оного, и как съезд на оную бывает не только из всей Пруссии, но и из всего королевства польского, то стечение народа было тогда преужасное. Весь город находился в движении, и все наизнатнейшие улицы кипели обоего пола народом. Для меня, не видавшего еще никогда таких больших ярмонок, было зрелище сие колико ново и удивительно, толико же и приятно. Паче всего обращали внимание мое на себя польские жиды, которых съезжалось на ярмонку сюда до нескольких тысяч. Странное их черное и по борту испещренное одеяние, смешные их скуфейки и весь образ их имел в себе столь много странного и необыкновенного, что мы не могли довольно на них насмотреться. А как и сверх того ходило по улицам множество и других разных народов, в различных одеждах и нарядах, то представлялись всякий день глазам новые и до того невиданные предметы. В особливости же наполнена была преужасным множеством народа вся заречная часть го-

рода, носящая на себе имя Габерберга. Тут одна длинная и широкая улица вмещала в себе оного до нескольких тысяч, потому что она была главным центром всей ярмонки, и на ней не только производилась наиглавнейшая торговля, но и все обыкновенные в немецких землях ярмоночные увеселения.

К сим в особливости принадлежал народный театр, сделанный посреди улицы и совсем открытый. Однако не думайте, чтобы театр сей составлял какую важность. Нет, любезный приятель, сии ярмоночные театры не имеют почти и тени театров, а носят только одно звание оных. На сделанном из досок на нескольких козлах и аршина на три от земли возвышенном помосте устанавливаются с боков и с задней стороны кой-как размазанные кулисы, из-за которых выходит одетый в пестрое платье усатый гарлекин и, при вспоможении человек двух или трех комедиантов или комедианток, старается разными своими кривляниями, коверканиями, глупыми и грубыми шутками и враньем, составляющим сущий вздор, смешить и увеселять глупую чернь, смотрящую на него с разинутыми ртами и удивлением. Не бывает тут никакого порядка и никакой связи в представлениях, а все действия и вранье сих представляющих лиц было столь нелепо и несвязно, что без чувствования некоего отвращения на них смотреть и вздор говоренный ими слушать было не можно, а надлежало разве быть столь же глупу, каков был глуп народ, буде хотеть зрелищем сим увеселяться. Несмотря на то, театр сей окружен был всегда бесчисленным множеством зрителей, и весьма многие из них изъявляли превеликое удовольствие; а се-

го уже и довольно было для комедиантов, имеющих обыкновенно при том свои особливые виды. Ибо надобно знать, что люди, увеселяющие сим образом народ своими глупыми комедиями, не получают от оного себе за то никакой зарплаты, а употребляются к тому из найма содержателем театра, который обыкновенно бывает так называемый «марк-шрейер» (торговый крикун), или продаватель обманных лекарств, и средство сие употребляют единственно для привлечения народа к своему театру как к месту, с которого он продавал свои лекарства.

К сей продаже приступал он несколько раз в день и всякий день после сыграния комедиантами какой-нибудь штучки. Не успеет она окончиться, как выступает он на театр с своими ларчиками и аптечками и начинает, вынимая из оных каждое лекарство поодиночке, показывать народу и с превеликим криком рассказывать и выхвалять удивительные его действия и силы. Смешно было всякий раз смотреть на сии действия и на усерднейшие старания его обманывать народ и уверять каждого о мнимой достоверности его лекарств, а того смешнее, что народ и давал себя обманывать и покупал у него оные с превеликою охотою. Не успеет он показать какое лекарство, рассказать о его силах и действиях и объявить оному цену, как в тот же миг полетят к нему из народа множество платков, бросаемых к нему от желающих оное купить, с завязанным в них толиким числом денег, какое было от него объявлено. И тогда начинает он при вспоможении двух или трех мальчиков обирать сии деньги и, завязывая в те платки лекарства, подавать оные с театра их хозя-

евам. По удовольствовании всех одним лекарством вынимает он другое, а потом и третье, и так продолжает со всеми и препровождает в том несколько часов времени и до тех пор, покуда толпа народа еще велика. А как скоро народ поразойдется, тогда он уходит за кулисы, а на место его выходят опять комедианты и начнут сзывать опять народ для слушания и смотрения новой комедии; и как довольно оного соберется, то начинается опять комедия и опять после ей расхваливание и продажа лекарства.

Способ сей выманивать у глупого народа деньги показался нам по необыкновенности весьма странным и удивительным. Однако обманщик сей не только не оставался никогда внакладе, но выманивал от народа премножество денег, хотя в самом деле все лекарства его состояли из сущих безделиц и ничего не стоящих вещей, как, например, порошков, пилюль, пластырьков, корешков и других тому подобных вещиц, которые все далеко таких действий не производили, какие им проповедуемы были. Впрочем, как на ярмонку сию съезжались из разных немецких и лучших городов множество купцов с разными товарами и оные действительно можно было дешевле доставать купить, нежели в другое время, то оттого действительно весь город сей был в движении, и не оставалось дома, из которого жители обоего пола, а особливо в красные и хорошие дни, не выезжали и не выходили на ярмонку, и когда не для покупания, так для смотрения и гуляния по оной. Одним словом, все помянутые две недели, в которые продолжалась сия ярмонка, можно было почитать беспрерывным для сего города торжеством

и праздником, и в красные дни можно было всех жителей оного видеть на улицах в наилучшем их убранстве и одеждах.

Все сии обстоятельства, а особливо последнее и побуждало всех наших господ офицеров посещать ярмонку сию ежедневно. Мы хаживали на оную каждый день, собираясь толпами и компаниями, и препровождали большую часть времени своего в разгуливании по оной и по всему городу, и делали сие не столько для покупания товаров, как для смотрения на народ и на всех жителей Кенигсберга и узнавания оных. Многие из нашей братии, а особливо проворнейшие из прочих, дожидались случая сего уже давно с нетерпеливостию как такого, при котором удобнее можно было им спознакомиться с теми из жителей кенигсбергских, с которыми желали они в особливости свести знакомство и получить вход в такие дома, в которых находили они что-нибудь для себя привлекательное. И некоторым из сих и удавалось достигать до искомого ими. Другие, напротив того, искали случаев к сведению вновь знакомства с приезжими из Польши, а особливо с тамошними дворянками, и употребляли разные хитрости и обманы к обольщению оных. Иные с такими же мыслями шатались всюду и искали себе знакомиц из молодых тутошних жительниц. У множайших же на уме были одни только игры, мотовство и самое распутство, а иные делали того хуже. Они упражнялись в разных забиячествах и непростительных шалостях, а иногда и самых непотребствах. Словом, ярмонка сия была для всех прямо соблазнительным временем, и было б слишком пространно, если б хотеть опи-

сывать мне все то, что тогда офицеры наши делали и предпринимали и к каким шалостям и беспутствам ярмонка сия многим подала повод.

Теперь вообразите, любезный приятель, какой опасности подвержен был тогда я, живучи посреди такого общества и принужден будучи всякий день бывать с такими людьми вместе и совокупно с ними повсюду ходить по всему городу и делать им компанию. Ибо при таком всеобщем движении народа и по бывшей тогда наипрекраснейшей погоде не можно было никак усидеть одному дома; да хотя бы я и хотел, так товарищи мои меня до того никак не допускали и, заходя ко мне, неволею вытаскивали. И я истинно не знаю, что б со мной и было и как бы мне сохраниться от всех зол и соблазнов, которым я мог подвержен быть при сем случае, если б продолжалось сие так долго. Единое средство, употребляемое мною к спасению моему, было только то, что я удалялся, сколь мог, от ватаг самых негоднейших из нашей братии, а прилеплялся наиболее к таким, которые были сколько-нибудь прочих постепеннее. Однако, как и сии не совсем от яда тогдашних распутств освобождены были, то никак бы мне не можно было уцелеть и от повреждения сохраниться, если б паки не помог мне особливо и всего меньше мною ожидаемый случай и невидимая рука Господня не отвлекла меня паки силою от бездны, по краю которой я тогда бродил и шатался. Ибо случилось же так, что в самое то время, когда проклятая ярмонка сия были в наивеличайшем своем движении, когда товарищи мои к гулянию с собою так меня приучили, что я уже охотно с ними начинал ходить

и приглашениям их последовать, и когда некоторые из них, как я после узнал, составили против меня тайный скоп* и заговор и, приготовив для меня сущую пасть** и такой соблазн, от которого было б мне весьма трудно освободиться, пришли нарочно за мною, чтоб, меня подозвав, вести с собою, власно как невинную жертву на погубление, — в самое то время, когда я, ни о чем о том не зная, не только иттить с ними соглашался, но уже с крыльца квартиры сошел... прибежал ко мне, почти без души, нарочный от командира моего, бригадира моего Нумерса, с повелением, чтоб я не шел, а бежал тотчас к нему и не медлил бы ни единые минуты дома, ибо-де есть до меня крайняя надобность.

Я удивился и не знал, что думать о сем нечаянном и столь поспешном призыве. Дело сие было совсем для меня необыкновенное. До того не случалось еще ни однажды, чтоб командир сей присылал за мною и на что-нибудь спрашивал, и я имел столь мало до него дела, что иногда в целую неделю не случалось мне с ним не только говорить, но его и видеть.

Уж не просьба ли какая от кого на меня? — думал я сам в себе. — И не к ответу ли какому меня спрашивают?»

Известно было мне, что нередко такие жалобы приносимы были начальникам на офицеров полку нашего, а особливо на тех, кои склоннее были прочих к буянствам и всякого рода шалостям, и что не-

---

*Группа, общество; современное — действовать скопом.

**Провал, пропасть, ловушка, западня.

которые за то и наказываемы были. К вящему усугублению смятения моего, вспомнилось мне, что одна такая шайка оных в самый предследующий перед тем день произвела на ярмонке буянством своим превеликий шум и смятение и что мне нечаянным образом при том быть случилось, и я знал, что на них просить тогда собирались.

«Ах, — думал я, — уж не на сих ли друзей просьба* и не замешали ль просители и меня в свое дело?»

Сердце у меня затрепетало при напоминании сего происшествия, и вся кровь во мне взволновалась. Я хотя никак не замешан был в это дело, но случившись нечаянно при том, старался еще их унимать и уговаривать; но дело само по себе было очень дурно и скверно. Некоторым из наших молодцов самых беспутнейших офицеров случилось увидеть целую компанию молодых девушек, гулявших по ярмонке. Они, прельстясь красотою оных, подольнули к ним, как смола, и старались нахальнейшим образом с ними познакомиться. Сперва подступили они к ним с разными ласками, учтивствами и приветствиями, и как сие им удалось, то некоторые из них, бывшие, к несчастию, тогда подгулявшими, поступили далее и стали предпринимать уже с ними некоторые оскорбительные вольности и, между прочим, подзывать их в гости, на квартиру одного из них, подле самого того места бывшую, и один даже до того позабылся, что восхотел одну из них насильно поцеловать. Девушкам сие не полюбилось, все они были

---

*Вместо — прошение, жалоба.

не самого подлого состояния, но, как думать надобно, дочери средственного состояния тамошних мещан, и не на такую руку, чтоб могли желаньям господ сих соответствовать. Они тотчас начали кричать и звать к себе своих матерей и родных, покупавших тогда товары в другой лавке, и жаловаться им на делаемое оным оскорбление. Сии вступились за них, и один мужчина начал им выговаривать. Господам нашим показалось сие досадно. Они соответствовали ему грубостями и презрением. Тот, случилось также, был неуступчивым. Он отвечал им тем же. Они начали браниться, и сие произвело между ними ссору и такой шум и крик, что сбежалось к месту сему множество народа. Мне случилось в самое то время иттить с одним из моих приятелей по самой сей улице и увидеть сию превеликую кучу народа и услышать крик сей. Из единого любопытства восхотели мы подойти ближе и узнать тому причину. Но как удивились мы, увидев целую шайку наших офицеров, шумящих и бранящихся с пруссаками, и одного даже до того разъярившегося, что он ударил одного из них в рожу и, схватя за волосы, хотел таскать и бить палкою. Мы бросились оба и, не допустив его до сего глупого предприятия, старались развести ссору. Нам сие и удалось, хотя не без труда, исполнить, ибо что касается до наших, то сих мы скоро уговорили перестать дурачиться; но не таково легко было успокоить раздосадованных пруссаков, а особливо разъярившегося родственника обиженных. И единое знание мое немецкого языка помогло мне уговорить сего немца и взвалить всю вину сего происшествия на то обстоятельство, что обидевший его родствен-

ниц и самого его офицер был подгулявши и не в полном тогда уме и разуме. Сим прекратилась тогда сия ссора, однако немец сей пошел, угрожая не оставить этого дела втуне, а употребить где надлежит просьбу.

Сие досадное происшествие пришло мне тогда на память, и я не сомневался почти, что сей немец произвел просьбу, и догадывался, что, конечно, уж те офицеры сысканы и меня спрашивают для свидетельства и объяснения всего происходившего. Я расспрашивал у присланного унтер-офицера, не знает ли он, зачем меня призывают и нет ли от кого какой просьбы и жалобы.

— Не знаю, — ответствовал он, — только людей у губернатора много, и мужчин и женщин, и многие из немцев подавали ему бумаги.

— Как? У губернатора? — спросил я удивившись. — Разве ты от губернатора послан?

— Нет, — говорил он, — но я у губернатора при ординарцах, а послал меня господин бригадир Нумерс. Они вышли от губернатора с обер-комендантом и плац-майором и приказали мне бежать скорее к вам и сказать, чтоб вы изволили тотчас притти к ним в замок.

Сие привело меня еще в пущее смущение. Я не сомневался уже, что послано за мною по приказанию губернатора, и не понимал, какая б нужда была до меня губернатору, которого мы еще и не видали, потому что он накануне того дня только приехал. Все товарищи мои так же тому дивились и не знали, что думать. Но как медлить мне было не можно, а надлежало иттить, то распрощались они со мною,

изъявляя сожаление свое о том, что не будут они иметь меня в тот день с собою и что я не буду иметь соучастия в том увеселении, которое они приготовили. Я не знал тогда, что слова сии значили, и не о том тогда думал, чтоб расспрашивать их о чем; но после узнал, что имели они самое гнуснейшее намерение и что меня сим нечаянным оторванием от их шайки сама пекущаяся о благе моем судьба похотела спасти от превеликого соблазна и искушения.

По отходе их не стал я и медлить, но, узнав, что мне надобно иттить в квартиру самого губернатора, спешил только надеть скорее иной мундир и, поправив волосы, пустился в путь свой, имея сердце свое далеко не на своем месте и углубившись в различные размышления, так что не видал почти дороги, по которой шел.

Что было всему тому причиной и зачем меня призывали, о том услышите вы, любезный приятель, впредь*; а теперь дозвольте мне, на сем остановившись, письмо мое кончить и сказать вам, что я есмь ваш, и прочая.

---

*Болотова вызвали для того, чтобы убедиться в его знании немецкого языка и назначить переводчиком в канцелярию генерал-губернатора.

ХАРАКТЕР КОРФА

ПИСЬМО 64-е

Любезный приятель! В первые дни или недели пребывания моего при губернаторе произошло со мною столь мало особливого и замечания достойного, что я не помню ничего такого, о чем стоило бы вам рассказать, а все состояло только в том, что дел у нас такое было множество, что мы с утра до вечера принуждены были беспрерывно работать, и меня утренняя заря выгоняла из квартиры, а вечерняя или паче самая ночь вгоняла опять в оную. И как я все дни безвыходно находился в канцелярии, то чрез сие и познакомился я скоро со всеми вышеупомянутыми сотоварищами своими, а сверх того имел случай узнать несколько ближе и главного нашего командира. И как я характер вам его еще не изображал, то надобно мне теперь сие исполнить и единожды навсегда пересказать вам, каков был сей славный тогда правитель прусского королевства.

Он был человек добрый, но имел в характере своем весьма многие недостатки. Относительно до его разума можно сказать, что был он от природы довольно хорош, но, как думать надобно, недовольно изощрен при воспитании в малолетстве, и потому все знания сего вельможи простирались не слишком да-

леко, но весьма и весьма были умеренны, и если он что знал, так все то приобрел по единой навычке, живучи при дворе и в большом свете, и потому не столько был он способен к гражданскому правлению и знающ в делах, к оному относящихся, сколько сведущ во всем том, что принадлежало до придворной и светской жизни. В сем пункте был он довольно совершенен, но что касается до дел, принадлежащих до правления, а особливо письменных, то к оным по непривычке своей был он весьма не способен, и ему недоставало весьма много к тому, чтоб мог он быть при тогдашних обстоятельствах хорошим губернатором и правителем сего завоеванного королевства. И я не знаю, как бы ему во всем успевать было можно, если б не помогали ему советники, а паче всех тот секретарь Чонжин, о котором упоминал я вам в прежних моих письмах и который был у нас потом уже и асессором. Говорить и читать по-русски хотя он и умел довольно хорошо, но сего далеко еще не было достаточно, но ему нужно было давать ежедневно на многие дела свои решительные резолюции, и, к несчастию, на дела по большей части важные и не терпящие ни малейшего времени и отлагательства, потому что от них не только правление всем королевством и все внутреннее в оном благоустройство, но и снабжение всей заграничной и в походе против неприятеля находящейся армии всеми нужными потребностями зависело. А к сему и недоставало в нем и быстроты разума, и решительности скорой и безошибочной, и потому принужден он был полагаться по большей части на то, что скажут, присоветуют и напишут наши секретари и советники.

Со всем тем, честолюбие его и высокое мнение о себе было так велико, что он старался скрывать колико можно сей недостаток и наблюдать вид, будто бы все дела решит он сам собою. А сие натурально и подавало часто повод не только к нередким замешательствам в делах, но и ко многим ошибкам, и тем паче, что и коварный секретарь, пользуясь сею слабостью, нередко для собственных своих интересов вводил его в превеликие погрешности и дела, нимало с тогдашнею важною должностью его не сообразные. К вящему несчастию, по совершенному неумению своему по-русски писать, он не мог ничего сам не только сочинять, но и написанное переправлять, а сие подавало наивожделеннейший случай сему хитрому человеку его, по своей воле, обманывать и проводить. Нередко случалось на самых глазах наших то, что он явно усматривал, что написано было не так, и серживался за то и бранился, а иногда несколько раз бумагу раздирал и переписывать приказывал, но как бы инако написать, того хорошенько истолковать и приказать далеко был не в состоянии; и потому всем тем не достигал он до желаемого, но принужден был наконец подписывать то же, но только другими словами написанное. Сие единое может уже доказать вам, любезный приятель, каков был губернатор наш со стороны разума, а теперь послушайте, каков был он со стороны сердца и нрава.

Слух, носившийся у нас еще до прибытия его, что он был вспыльчивого и горячего нрава человек, был не только справедлив, но далеко еще недостаточен. Практика доказала нам несравненно еще больше, и я не знаю, как и какими словами изобразить мне

вам нравственный характер сего человека, а коротко только скажу, что теперь, когда я сие пишу, идет мне уже шестидесятый год моей жизни и я в течение сих лет хотя многих людей видывал, но не случалось мне еще ни одного видеть и найтить ему подобного и такого, который бы так много к гневу и бранчивости был склонен, как был сей человек. Истинно можно, по пословице, сказать, что в сем пункте в рассуждении его уж черед помешался. За все про все, и не только за дела, но и за самые иногда безделицы он серживался и распалялся чрезвычайным гневом и осыпал всех, кто б то ни был, слуга ли его или подчиненный, жестокими бранью и ругательствами. С слугами и с домашними своими жил он в беспрерывной войне и драке, а для всех подчиненных был он столь несносен, что из всех, имеющих до него дело, не оставался ни один без огорчения от него. И сие было столь часто, что истинно не проходило ни одного дня, в который бы не поднимал он несколько раз с ними превеликой войны и ссоры и не осыпал бы их тысячами клятв и браней, а нередко и на одном часу сие несколько раз от него повторяемо и возобновляемо было. Словом, всякая безделица и ничего не значащая проступка в состоянии была его раздражить и воспалить наивеличайшим гневом. С сей стороны, при всей своей славе, величии, богатстве, чести и знатности, был он несчастливейшим человеком в свете, потому что дух его был в беспрерывном почти беспокойстве и досаде, и все почти часы и минуты его жизни заражены были ядом неудовольствия, и от самого того наилучшие его забавы и увеселения были несовершенны.

Довольно, он до того досерживался, что действительно от того занемогал и ложился даже в постелю. И не один раз было то, что он всех своих подчиненных умильнейшим образом просил и умолял, чтобы они его не сердили; но у них всего менее на уме было умышленно его рассерживать, но всякий, для собственного своего спокойствия, сам от того наивозможнейшим образом убегал и остерегался.

Теперь судите, каково нам было жить с таким беспутно вспыльчивым и сердитым командиром! Не должен ли он был всем нам казаться сущим зверем и извергом? Не должно ли было нам всем его ненавидеть и от него, как от некоего чудовища, бегать и его страшиться? Ах, любезный приятель! Он таковым и действительно сначала нам показался, а особливо мне, и я не успел сего ремесла его увидеть, как тысячу раз тужил о том, что попался ему под команду, и желал лучше бы за тысячу верст быть от него в отдалении, нежели жить при нем и обидами его пользоваться. Но, ах, привычка к чему не может нас приучить и от чего не может нам сделать сносным! В сей истине удостоверились все мы с избытком собственною практикою и узнали, что человек столь же удобно и к худому привыкнуть может, как и к хорошему, и что самое и дурное может ему далеко не таково чувствительно быть, как скоро он к тому несколько попривыкнет.

Итак, скажу вам, что трудно нам было жить и привыкать терпеть брани и гнев нашего генерала только сначала, а впоследствии мы так уже к ним привыкли, что ни во что их себе не ставили, и вместо того, чтоб его ненавидеть, мы все его любили.

Вы удивитесь сему, но вы перестанете удивляться, когда, для растолкования сей загадки, скажу вам далее, что генерал наш сколько с сей стороны был дурен и дурен до чрезвычайности, сколько с другой хорош тем, что был вовсе не злопамятен и от природы имел самое доброе сердце. Не успеет таковая его блажь и дурь пройтить (и, по счастию, продолжалась она обыкновенно самое короткое только время), как становился он уже смирнее агнца и делался наиласковейшим и дружелюбнейшим человеком в свете, и можно было с ним что хочешь говорить. А сие и было причиною, что мы более об нем сожалели, нежели на него досадовали, и охотно ему брани его и ругательства прощали, ибо удостоверены были в том, что не произойдет от того никаких следствий и что не пременится чрез то нимало прежнее и хорошее расположение его ко всякому. И как он, сверх того, имел то в себе хорошее, что он никому действительного зла не делал, но более к благодетельству был склонен, то мы за то его и любили.

Описав сим образом часть нравственного его характера, пойду теперь далее и расскажу, что мне в прочем было об нем известно. Колико ни велик в нем был помянутый порок и недостаток, однако он умел весьма счастливо заглушать его блеском наружной своей пышной и великолепной жизни и приятным своим и дружелюбным со всеми жителями сего города обхождением. Будучи сам по себе довольно богат, а при том получая превеликое жалованье, а сверх того еще по 6000 рублей ежегодно на стол, что тогда было очень велико, и, будучи бездетен и не имея кому имение свое прочить, жил он во всю

бытность его в Кенигсберге прямо славно и великолепно и не так, как бы генерал-поручику, но как бы какому-нибудь владетельному князю или по, крайней мере, вице-рою* жить было надобно. Словом, он проживал тут не только все свое жалованье, но и все свои собственные многочисленные доходы. Платье, экипажи, ливрея, лошади, прислуга, стол и все прочее было у него столь на пышной и великолепной ноге, что обратил он внимание всех прусских жителей к себе; а как присовокупил он ко всему тому современем и весьма частые угощения у себя всех наизнаменитейших жителей кенигсбергских и старался доставлять всякого рода увеселения, как о том упомяну я впредь в своем месте, то чрез то власно как оживотворился весь город, и сан его сделался у всех так важен, как бы действительно какого-нибудь владетельного герцога и государя, и он приобрел любовь от всего прусского королевства.

Вот какого мы имели тогда губернатора! Теперь скажу вам, что не успел он осмотреться, как первое его старание было спознакомиться со всеми живущими в городе знатнейшими прусскими дворянскими фамилиями. Тут находилось около сего времени довольно оных, и в числе их были некоторые графы и бароны, как, например, граф Станиславский, граф Кейзерлинг, граф Финк и некоторые другие, а из госпож были не только графини и баронессы, но и самые принцессы, как, например, принцесса Гольштейн-Бекская; из дворянских же фамилий, а

---

* Вице-король.

особливо госпож, было множество. Он объездил все тотчас наизнатнейшие дома сам, а чтоб и со всеми прочими ознакомиться, то, через несколько времени после своего приезда, сделал для всех превеликий пир, а потом дал бал, на который званы были все благородные обоего пола.

При сем случае впервые увидели мы все прусское тут находившееся дворянство, и как для звания оного употреблен был его адъютант и по множеству домов один сего дела исправить не мог, то употреблен был на вспоможение ему при сем случае я.

Для меня дело сие было совсем новое и необыкновенное. Мне дали верховую лошадь, и я должен был, по данному мне реестру*, все дворянские дома в городе отыскивать, господ и госпож тамошних звать и потом вместе с адъютантом их в замке принимать и во время стола и бала всячески угащивать стараться. Во всех таких делах я никогда еще не обращался, однако из послушания и в угодность генералу старался свою должность как можно лучше исправить. Приятель мой, адъютант, помогал мне своими советами и примером, и при помощи его исправил я все так хорошо, что генерал мой был мною доволен. Впрочем, за труд мой с лихвою награжден я был тем удовольствием, которое имел я при присутствии на сем пиру и торжестве. Гостей обоего пола, а особливо дам и девиц, было превеликое множество; и как до того времени мне никогда еще не случалось бывать на собраниях толь многочисленных и знатных, то как са-

* Списку, перечню.

мое собрание, так и танцы и музыка пленяли все мои чувства и мысли, и я не мог всему насмотреться и надивиться. А сие и было причиною, что я и в последующее время, когда случались у нас таковые ж праздники, охотно для смотрения оных хаживал и безотговорочно принимал на себя труды и комиссии, буде когда какие мне от генерала поручались, несмотря хотя по выше изображенному его обычаю и доставалось иногда мне такие же словца два-три не очень гладких, какими он нередко и почти всякий день щедро осыпал бедного своего адъютанта.

Сим образом начал я вести новый и совсем от прежней отменный род жизни и мало-помалу привыкать к новой моей должности. И как труды мои услаждались тем удовольствием, что я был всегда на людях, мог слышать, видеть и узнавать все, происходившее как тут в городе, так и в самой армии, которая находилась в походе и из которой получаемые известия становились с часу на час интересней, любопытней и важнее, а при всем том имел всегда и хороший стол, то и привык я к ней очень скоро, и она мне не только сделалась сноснее, но я начал и находить в ней уже и удовольствие и скоро перестал совсем скучать ею.

Одно только меня отягощало, а именно дальняя ходьба на мою квартиру, а особливо поздно по вечерам и в ненастье, но и от этого отягощения я скоро избавился ибо не успел я изъявить оное сотоварищам моим в канцелярии, как все стали советовать мне переменить свою квартиру и сыскать другую, и где-нибудь поближе к замку. О сем я сам давно уже помышлял, но сперва не хотелось мне долго расстаться

с прекрасною своею и веселою квартирою, но как ежедневная ходьба мне наконец слишком надоела и я увидел, что квартирою своею я вовсе почти уж не пользовался, ибо доводилось мне в ней только что ночевать, а весь день с утра до вечера провождал я в замке, то рад был наконец какой-нибудь, но только поближе и стал действительно себе просить и искать другой квартиры. Но, по несчастию, так случилось, что дома в ближних улицах были тогда все отчасти заняты постоем, отчасти по разным причинам освобождены были от оного, и я не мог иной найтить, как с полверсты от замка, в доме одного мясника. Квартирка сия была хотя и не такова весела, как прежняя, но как было в ней два покоя и я мог в ней свободно с людьми моими уместиться, то, уступая нужде, выпросил я себе оную и без дальнего отлагательства на нее со всем своим скарбом перебрался.

Теперь, не ходя далее, опишу я вам сию мою новую квартиру. Была она в одной части Штейндамского форштата, на улице, идущей от замка мимо театра и неподалеку от штейндамской кирки, бывшей потом нашею церковью. Дом был небольшой, о двух только этажах, из которых в нижнем жил хозяин, а верхний, состоящий в двух покоях и одних сенцах, опростан был весь для меня. Из сих в одном и переднем поместил я своих людей, а другой и задний ассигновал для себя. Вход в наш этаж был с улицы узенькою лестницей вверх и совсем особливый, так что мы с хозяином не имели никакого сообщения. А вид из покоев моих простирался на самый тот просторный луг, о котором прежде упоминал я под именем парадного места и который был внутри города,

между Штейндамским, Закгеймским и Траггеймским форштатом; из другого же покоя окна были на улицу. Итак, квартирка моя была не слишком весела, но я по крайней мере доволен был тем, что она, по низкости покоев, была довольно тепла и спокойна и что мне ходить было гораздо ближе.

Что касается до моего хозяина, то был он, как выше упомянуто, мясник, следовательно, человек, заслуживающий от меня столь малое уважение, что я его почти и в лицо не знал; а все, чем я от него пользовался, состояло единственно в том, что я покупал у него за деньги ежедневно прекрасные сосиски или сырые колбасы, которые так были вкусны и сытны, что одной изжаренной на сковороде с хорошею пшеничною булкою довольно было для моего ужина. И я так к ним привык, что мне жаривали их ежедневно, и в том одном состояли обыкновенно мои ужины во все время стояния моего на сей квартире, ибо обеды наши у генерала были столь сытны, что могли мы по нужде и без ужина оставаться, и я за излишнее почитал для себя готовить оные, кроме колбасов их.

Впрочем, как чрез переезд на сию квартиру удалился я уже далеко от полку и от тех мест, где оный расположен был по квартирам, то сие и отлучило меня от всех прежних моих друзей и полковых сотоварищей и разорвало совершенно всю бывшую у меня с ними и столь для меня опасную связь, так что я с того времени их почти уже и не видывал, а о том, что между ими происходило и делалось, не имел уже никакого и сведения, ибо в такую даль не хотелось никому из них ко мне приходить, а хотя бы и вздумали, так знали они, что никогда не застанут меня дома.

Таким образом освободился я от пагубного с ними сообщества и могу сказать, что сей пункт времени был особливого примечания достоин в моей жизни; ибо сколько могу сам себя упомнить, то с самого оного начал я, — несмотря на всю тогдашнюю мою еще молодость, ибо шел мне только двадцатый год, — становиться час от часу степеннее и обстоятельнее в моих мыслях и прилежать более к чтению книг и к наукам, которые потом в толикую мне пользу обратились.

Однако надобно сказать, что ко всему тому весьма много поспешествовали и разные другие причины и случайности. Из сих первым, наиглавнейшим и прямо спасительным для меня обстоятельством почитаю я то, что я привязан был тогда так крепко к канцелярии, что я не мог из ней никуда и никак отлучиться, и чрез сие наложена была на меня власно, как самою судьбою, узда, весьма нужная для молодого человека; ибо по молодости своей хотя бы и вздумалось иногда кое-куда пойтить и погулять, но тогда, а особливо в первые недели, и подумать о том было мне не можно, но я принужден был сидеть безвыходно в канцелярии и не только работать, но и всякую минуту ожидать, чтоб меня не спросили и не дали вновь какого дела. А чрез такое беспрерывное пребывание в замке и предохранился я от всех искушений, которым бы легко мог подвергнуться, имея более свободы.

Вторым и не менее счастливым для меня обстоятельством почитаю то, что из всего нашего канцелярского общества и генеральского штата, кроме вышеупомянутого адъютанта, не было никого одинаковых со мною лет и такого, который бы мог мне быть компаньоном и меня подзывать и водить

куда-нибудь с собою, но все были гораздо меня старее, и таких свойств и характеров, которые не сходствовали нимало с моими тогдашними. Из сих господ хотя и отлучались иногда иные из канцелярии попеременно и хаживали в трактиры и другие надобные места, а нередко у них между собою бывали и сходбищи и компании, и господа сии хотя все меня любили и ко мне ласкались, но никому из них не приходило никогда в голову подзывать меня и брать с собою к себе на квартиры или в те места, куда они хаживали. И я не знаю, молодость ли моя была тому причиной, что они не хотели удостаивать меня своих компаний, или то, что я был посторонний человек и не принадлежал собственно к их шайке, или благодетельной моей судьбе, пекущейся обо мне, было то в особливости угодно, но как бы то ни было, но то достоверно, что я, живучи между их и имея всякий день близкое с ними обхождение, но в самом деле был от всех их весьма удален и, пребывая во всегдашнем людстве, жил особняком и власно как в совершенном уединении. Ибо, как они к себе меня никогда не приглашали, сам же я не был наянчив и насильно на то не набивался, то и не хаживал я к ним никогда, но знал только свою квартиру и канцелярию. А сие и обратилось мне потом в великую пользу, ибо после увидел, что господа сии были таких свойств, что, ходючи к ним или с ними во все места, не многому б добру мог я от них научиться, а скорей мог бы себя повредить и испортить.

Что ж касается до сверстника моего адъютанта, то сей бедняк был еще более моего связан и по рукам и по ногам и не мог сам от генерала ни пяди

отлучаться; следовательно, и его знакомство не могло мне быть вредно.

Третьим и счастливым для меня обстоятельством было то, что как, по прошествии нескольких первых недель, письменные дела мои начинали не только уменьшаться, но нередко и совсем перемежаться, так что иногда по несколько часов сиживал я совсем без дела, то по привычке моей с малолетства к всегдашним упражнениям и стали праздные часы сии мне уже и скучными становиться, так что я, не занимаясь ничем, иногда даже тосковал оттого. Сие обстоятельство причиною тому было, что я вздумал в запас на такие случаи приносить с собой с квартиры кой-какие книжки и в праздное время занимался чтением оных, ибо иного ничего делать было тут не можно. А от сего и произошли для меня многие пользы, ибо, во-первых, занимался в праздные часы полезным для себя упражнением и снискивал час от часу более себе знаниев; во-вторых, избавлялся от скуки; в-третьих, препятствовал мыслям своим заниматься от праздности другими предметами, могущими обратиться мне во вред и в предосуждение, а в-четвертых, наконец, самым тем подал повод приятелю моему, адъютанту, расхвалить мне одну знакомую ему книжку, а именно: «Нравоучительные размышления графа Оксенштирна»*. Он расхвалил мне ее до небес и тем так меня поджег, что я непременно положил ее себе купить, и

* «Мнения» (нравоучительные) на разные случаи, с правилами и рассуждениями графа Оксенштирна», пер. с французского Кудрявцева. Второе издание «Размышления и нравоучительные правила графа Оксенштирна», пер. с французского И. Нечаева.

сыскав свободный час, побежал искать книжной лавки и ее спрашивать.

День, в который я сие учинил, был для меня по истине блаженным и крайне достопамятным, ибо в самый оный судьбе угодно было отворить мне, так сказать, впервые дверь во храм наук и показать мне прелестности оного. Не могу довольно изобразить, каким восхищением поразился я, вошед в тамошнюю книжную лавку, в которой до того не случалось еще бывать мне ни однажды. Один из товарищей моих немцев взялся проводить меня в оную и указать тот глухой и неизвестный мне переулок, в котором она находилась. Не бывав никогда в порядочных и больших книжных лавках, поразился я воззрением на преужасное множество непереплетенных книг, лежащих не только в стопах по полкам, но и разложенных по всем столам и прилавкам так, что их титлы и заглавия можно было единым взором обозревать и видеть. Я не знал, куда мне и на какую из них обращать мои взоры и какую рассматривать прежде и какую после. Несколько минут препроводил я власно как в исступлении и не пересматривал, а пожирал глазами все оные. Если б можно было, то все бы я их себе заграбил, — так прельщался я сим необыкновенным для меня зрелищем. Но удовольствие мое было еще больше, когда, спросив об «Оксенштирне», услышал, что она не только есть, но, несмотря на величину свою, так была дешева, что из бывших со мною денег еще большая половина осталась и я мог купить на них и еще несколько книг, которых мне титулы полюбились.

С превеликим удовольствием побежал я оттуда к

переплетчику, чтоб отдать их переплесть, а между тем с особливым вниманием замечал все улицы и переулки, по которым бы ходить мне впредь в сию лавку. Она и подлинно нередко удостаивалась моего посещения и принесла мне в последующее время неоцененные пользы.

Получив на другой день от переплетчика моего «Оксенштирна», приступил я того же часа к чтению оной. Несколько дней читал я ее не уставая, и хотя была она не из самолучших, но для меня послужила тогда в превеликую пользу. Сочинитель говорил в ней обо всем на свете, и о своей человеческой жизни, вперил в меня множественно весьма хороших и таких мыслей, которые послужили мне великим побуждением к порядочной жизни и к возможнейшему удалению от пороков; а что всего лучше, заохотил меня и к дальнейшему чтению книг сему подобных. Словом, я книге сей весьма много обязан и так ее полюбил, что некоторые статьи из ней даже в праздное время переводить вздумал; а и поныне не могу на нее взглянуть без некоторого чувствия благодарности к ней.

Таковое-то стечение разных обстоятельств было причиною и поспешествованием помянутой сделавшейся тогда во мне первоначальной перемены в мыслях и поведениях, и с того времени, при помощи благодетельных ко мне небес, или, собственнее сказать, пекущегося обо мне промысла божеского, пошел я час от часу далее и власно как по лестнице. Но о сем буду я рассказывать впредь и в свое время; а теперь, поелику письмо мое уже слишком увеличилось, то позвольте мне на сем месте остановиться и сказать вам, что я есмь ваш непременный друг, и прочая.

ПОКУПКА КНИГ

*ПИСЬМО 68-е**

Любезный приятель! Оставшись преждеупомянутым образом в Кенигсберге и отлучившись через то уже существеннее от полку и ласкаясь надеждою, что и впредь к оному нескоро отпущен буду, начал я уже помышлять о расположении жизни моей сообразно с тогдашними моими обстоятельствами. Мое первое старание было о том, чтоб мне сжить с рук своих лошадей. Как они мне уже совсем были не надобны и я ими никогда не пользовался, то не хотелось мне кормить их по-пустому и тратить на то множество денег. До сего времени содержание их ничего не стоило: ходили они вместе с прочими в полковом табуне, и мне не было до них нужды. Но как полк ушел и между тем наступила уже осень, то мне девать их было уже некуда, и я должен был содержать их на квартире и покупать на них дорогой в тамошних местах корм. Сие наскучило мне очень скоро, и потому

---

*В опущенных письмах Болотов рассказывает о своих сослуживцах и излагает дальнейшие военные события. Полк, в котором состоял Болотов ушел из Кенигсберга, а Болотову, несмотря на вызов его в полк, удалось остаться при Корфе.

положил я лучше их продать и получаемые на них двойные тогда рационные деньги* употреблять на лучшее и со склонностями моими сообразнейшее дело. Сие я и учинил вскоре после отшествия полку и вырученные на них деньги сохранил, дабы, в случае востребования меня в полк, можно было на них купить новых.

По сокращении сей стороны моих расходов уменьшил я вскоре после того оные и еще одним обстоятельством. Слуга мой Яков предложил мне, чтоб постарался я о том, чтоб не отняли у меня той другой квартиры, которая отведена мне была для лошадей моих; ибо как в той, где я стоял, не было никакого двора, где б я мог поместить свою повозку и лошадей, то имел я другую, худшую, где жил сей слуга с лошадьми моими. Я удивился предложению его и спрашивал, на что б она была нам надобна?

— А вот на что, сударь, — сказал он. — Уже за несколько времени получил я охоту промышлять менею лошадей. Я покупаю их у приезжающих сюда наших русских извощиков дешевою ценою и потом либо променивaю, либо продаю их здешним прусским мужикам и на том получаю иногда изрядный барышок. Итак, когда б у нас квартира другая по-прежнему осталась, то мог бы я, стоючи на ней, продолжать мой промысел, а притом и чеботарничать** на свободе; а вам бы то от того была бы выгода, что вам не для чего б было терять деньги на про-

---

*Здесь: деньги, полагающиеся на прокорм лошадей.

**Сапожничать, от украинского — чеботы.

питание и содержание меня, но я мог бы уже сам себя кормить и одевать.

— Это очень хорошо, мой друг, — сказал я, — и квартиру за собою удержать мне ничего не стоит.

И в самом деле, мне стоило только сказать о том одно слово нашему плац-майору, как дело было и кончено, и с того времени слуга мой жил беспрестанно уже на сей другой квартире и отчасти сапожническим своим рукомеслом, отчасти вышеупомянутым лошадиным промыслом не только сам себя кормил и одевал, но накопил себе довольно денег, которые самому мне пригодились после весьма кстати, как о том упомяну я впредь в своем месте. Что же касается до другого моего слуги, то сей жил на моей квартире и кормился получаемым на денщика мне следуемым провиантом. Итак, содержание обоих моих слуг с того времени мне ничего не стоило.

Избавившись от сих двух расходов, стал я, колико можно, сокращать и прочие ненужные расходы, пожиравшие до того у меня множество денег. На содержание себя пищею не было почти нужды ничего тратить: обеденный стол был у меня всякий день готовый у генерала, а ужины мои, как я прежде упоминал, были у меня столь легкие и так мало стоящие, что терял я на то мало денег. Самое лакомство, переводившее до того у меня множество денег, — по причине, что я был с малолетства до оного охотник, а тогда по великому множеству продаваемых плодов и овощей, а особливо разного рода вишен, слив, яблок, груш и бергамотов, был тогда к тому наивожделеннейший случай, — положил я также поуменьшить и употреблять те деньги лучше на

надобное. Играть я ни в какие азартные игры не играл, да и не имел к тому и времени; а буде захаживал кой-когда в трактиры, на дороге стоящие, так не для чего иного, как разве для читания газет или чтоб напиться кофею или чаю или поиграть с кем-нибудь в биллиард, да и то не в деньги, а на одни только партии. Наконец, и самым платьем положил я не щеголять, а иметь только не гнусное и не постыдное. Компаний и пирушек у меня никаких не было, да и делать их было некогда и не с кем; следовательно, и на сие деньги терять не было нужды. Словом, я расположил весь род тогдашней жизни моей на степенной и уединенной ноге и так, что за всеми моими необходимыми расходами оставалось у меня от жалованья и рационов более половины.

Однако не подумайте, любезный приятель, чтоб я при упомянутом сокращении моих расходов сделался скрягою и скупцом и все оставшиеся от них деньги собирал в скоп и прятал. Ах, нет! Я был от этого слишком удален, а признаюсь вам, что истрачивал их все почти до копейки.

Теперь, ежели полюбопытствуете знать, куда ж бы я оные употреблял, так не обинуяся скажу, что истрачивал я все их на то, к чему стремилось наиболее мое сердце и все мои склонности, то есть на покупку книг, красок, картинок и на делание кой-каких инструментов и любопытных вещей. Охота моя ко всему тому не только не уменьшалась, но становилась час от часу больше. До того времени все-таки воздерживался я от того сколько-нибудь: отчасти неимение излишних денег, отчасти всегдашнее мнение, что мы пойдем опять в поход, удержи-

вало меня от отягощения себя многими книгами и другими вещами. Случившийся со мною при Риге пример, откуда мы все лишние вещи принуждены были бросать, был мне всегда памятен и наводил на меня всегдашнее опасение. Но как скоро полк наш ушел и я удостоверился уже в том, что меня не отпустят в армию и не имею причины опасаться похода, то дал стремлениям сердца своего уже более воли и пустился прямо уже в вожделенную столь уже издавна покупку книг и других вещей.

Не могу без смеха и поныне вспомнить, с каким удовольствием спустя несколько дней после отшествия полку побежал я, улучив свободное время, в прежде уже упомянутую мною книжную лавку и с каким восхищением несколько часов пересматривал и перебирал я там книги. Целый кошелек, набитый до верху деньгами, принес я в оную, а не вынес из ней ни копейки, но все, сколько их ни было со мною, употребил я на покупку разных книг и сочинений. И, о Боже! Какое удовольствие ощущал я тогда, как, связав их целую кипу, понес я ее с собою.

«Ну! — говорил я сам себе. — Теперь-то есть что почитать и есть чем заниматься; теперь не говори, что тебе скучно: есть чем уже прогнать оную, а была бы только охота. Теперь читай себе, пожалуй, любую и забавляйся, сколько душе угодно!»

Сим образом говоря, притащил я кипу мою прямо в канцелярию. Все удивились великому множеству купленных книг, а особливо как я начал их раскладывать и вновь все пересматривать. Никому поступок мой таков удивителен не показался, как господам немцам, моим товарищам.

— Э! э! э! — закричали они оба в один голос. — Да на что это вы такую пропасть накупили?

— Как на что? — отвечал я им. — Читать, государи мои. Мне нечего в праздное время делать, а вы знаете, что я охотник и люблю читать.

— Хорошо это! — сказали они далее. — Да неужели вы хотите для чтения себе книги покупать все и терять на то деньги?

— Да как же? — отвечал я.

Усмехнулись тогда оба мои немца, и один из них, который более был обо всем сведущ, мне сказал:

— Нет, господин подпоручик: это слишком для вас будет убыточно. Для покупки стольких книг, сколько для чтения вашего надобно, скоро не достанет у вас денег, и вы истратите только ваши деньги, а пользы дальней не получите!

— Почему это? — спросил я его, удивившись.

— Потому, — отвечал он, — что книг у нас в лавках преужасное множество, но между ними не столько хороших, сколько дурных и ни к чему не годных. Всех их вам никак не перекупить, а покупать вы будете их по выбору. Выбор же между ими очень труден, и всегда скорее в нем ошибиться и таких накупить можно, которые ничего не стоят и кои после бросить должно, как то верно и теперь с вами случилось. Пожалуйте-ка, дозво́льте мне их пересмотреть.

— Очень хорошо, изволь, братец, — сказал я и дал ему перебрать их, как он хочет.

Немец мой, усевшись, начал тотчас их перебирать и пересматривать по-своему. Он не только прочитывал надписи, но у незнакомых ему самые

предисловия и по нескольку страниц материи* и все раскладывал на разные кучки. Я смотрел на него, не спуская глаз, и ждал с нетерпеливостию, что он наконец скажет. Но, как смутился я духом, когда он, перебрав все и взяв самомалейшую кучку, мне сказал:

— Вот эти изрядные, и деньги за них не потеряны, а сии, — говорил он, показывая мне на другую кучку, — ни то, ни се и не стоят больше того, как один раз прочесть. Вот сии, — сказал он, подавая третью кучку, — мне незнакомы, и хоть прямо не могу о них судить, однако не сомневаюсь и не думаю, чтоб и в них много хорошего было. Но что касается до сих, — сказал он мне, указывая на самую большую стопу, — до сих всех хоть бы вовсе не покупать: все они не стоят ничего, и деньги за них прямо потеряны.

— Нет, правду ли, — спросил я, удивившись, — что вы говорите?

— Конечно, так! — отвечал он. — Мне все они знакомы, и я обманывать вас не стану.

— Эх, какая беда, и что ж это я сделал! — возопил я взгоревавшись.

— Да! — сказал мой немец. — Немножко поспешить изволили; а надлежало бы быть поосторожнее и не вдруг спешить покупать такое множество. Успеть бы можно и тогда купить, когда бы вы такую книгу прочли или действительно узнали, что она хороша.

---

*В смысле — содержания, самого сочинения.

— Да, умилосердись, братец, — сказал я, — как их узнаешь и когда их тут читать? Их такая тьма, что я и не знал, на которую и смотреть из них, и едва успевал и одни титулы* прочитывать.

— А сии-то титулы, — отвечал мне немец, — вас, сударь, и обманули. По ним всего труднее узнавать хорошие книги, и на них-то и не надлежит никогда полагаться.

— Но как же быть лучше, — спросил я, — и через что можно б было избежать ошибки?

— Через предварительное прочитывание, — отвечал он, — так, как я прежде говорил; однако есть к тому и другой способ. В числе продажных книг есть некоторые особливые книжки, содержащие в себе советы для молодых людей, желающих заводить библиотеки, в которых сообщается краткая и разумная критика о книгах всякого рода и предлагаются советы, какие бы из какого класса лучше избирать и каких, напротив того, обегать должно. Таковою-то бы книжкою надлежало бы вам себя наперед снабдить и через нее, спознакомившись хотя вскользь с наилучшими авторами и сочинениями, поступать уже власно как по писаному и такие выбирать, какие более рекомендуются учеными сочинителями сих книжек.

— Эх, жаль же мне, — сказал я, — что я этого не знал и что вы мне того прежде не сказали. Не купил бы я вправду такого вздора, а теперь что мне с таким множеством делать?..

---

*Титульные листы — первые листы, где стоит автор и название книги.

Потужив и погоревав о своей неосторожности, спросил я наконец своего немца, не может ли он мне достать такую книжку, о какой он теперь говорил.

— Пожалуй, — отвечал он, — и ежели вам угодно, то я сейчас схожу в лавку и спрошу, нет ли той, которая мне в особливости знакома.

— Куда бы как вы меня одолжили, — сказал я, — и я был бы вам за то неведомо как благодарен.

— Зачем дело стало? — подхватил мой немец. — Я в сию минуту схожу. Но постойте, г. подпоручик, — продолжал он, схватив шляпу, — не постараться ли мне вам оказать и другую еще услугу? Книги эти, — говорил он, указывая на большую стопу, — в самом деле для вас нимало не годятся. Не дозволите ли вы мне их взять с собою? Я испытаю, не удастся ли мне их опять втереть в руки книгопродавцу и получить за них либо обратно ваши деньги, либо уверить его, что вы вместо их купите у него после другие, и он бы до того времени остался бы вам должен. Согласны ли вы на это?

— Ах, друг мой! — возопил я. — Возможно ль, чтоб не быть согласным, и вы бы меня тем до бесконечности одолжили.

— Хорошо, г. подпоручик, поглядим и употребим все, что только можно.

Сказав сие, подхватил он мою стопу книг и побежал в лавку.

Радость моя тогда была превеликая, а нетерпеливость, с какою я дожидался его возвращения, еще того больше. Я не отходил почти от окошка, но то и дело посматривал, не идет ли он назад и не несет ли с собою опять всех книг моих. Но возвращением

своим как-то он позамедлился. Сие меня удивило и увеличило еще более мою нетерпеливость.

«Что за диковинка, — говорил я, — давно бы ему пора возвратиться: лавка недалече. Разве книгопродавца дома нет или он его уговаривает и уговорить не может. Разве зашел куда?»

Но прошел уже час и начался другой, но его все еще не видно было.

«Господи, помилуй! — думал я. — Это уже совсем непонятное дело, и конечно, что-нибудь заняло его особливое».

Но в самое то время, когда я, сим образом сам с собою рассуждая, в окошко смотрел, погляжу — он в двери.

— Ба, ба, ба! — закричал я. — Откуда вы взялись? И как это пришли, что я не мог усмотреть вас? Я все смотрел на ту улицу, откуда вам иттить надлежало.

— Я заходил на часок в другое место, — сказал он, — и пришел уже с другой стороны.

— Ну, что же, мой друг, — подхватил я и начал его расспрашивать, — достали ль вы ту книжку?

— Вот она, — отвечал он, вынимая ее из кармана и мне подавая.

— А мои-то книги?

— Видите, что их нет со мною.

— Конечно, и их с рук сбыли?

— Точно так.

— Что книгопродавец? Небось он закорячился и не хотел их назад брать?

— Не без того-то; однако я его уговорил, умаслил. Человек он у нас добрый и сговорчивый. Я на-

сказал ему несколько об вас и об охоте вашей к книгам, что он наконец согласился.

— Ах, друг ты мой, как ты меня одолжил! Но что ж, на чем у вас осталось и что положено: в долгу ли, что ль, он у меня остался?

— Никак, но он так был снисходителен, что и деньги отдал.

— Не вправду ли?

— Точно, вот и деньги ваши.

— Ну, спасибо, право спасибо! — сказал я, принимая от него подаваемые деньги и радуясь неведомо как, что он выручил назад оные.

— Однако не прогневаетесь ли вы на меня, — подхватил он, — что я взял смелость и из ваших денег талера три на свою нужду истратил? Я возвращу вам их как скоро вам угодно будет.

— Батюшка ты мой, — отвечал я ему, — хоть бы ты и все их истратил, так бы я слова не сказал! Вы и не то для меня сделали, а вам можно поверить хоть и более.

И подлинно, я так был им доволен, что готов бы был ему и последние отдать, если б он у меня тогда потребовал оных. Однако ему не было в них нужды, но он, поблагодарив меня за мою доверенность к нему, сказал далее:

— Когда вы так ко мне благосклонны, то надобно ж мне вам сказать за то еще что-нибудь хорошенькое.

— Что такое, любезный друг? — спросил я, удивившись.

— А вот что, — сказал он, — как я шел из лавки обратно сюда, то пришло мне нечто особливое в голову. Книги ведь вы, думал я, покупаете не для того,

чтоб собирать вам библиотеку большую, — ибо куда вам с нею деваться? — но для того, чтоб читать только их.

— Конечно, — отвечал я.

— Итак, не избавить ли мне вас совсем от покупки их или, по крайней мере, от растери на них множества денег, а совсем тем охоту вашу к чтению удовольствовать?

— Да как это можно? — спросил я, удивившись.

— Возможность к тому, действительно, есть, но будет ли только на то ваша воля. У нас здесь есть один дом, которого хозяин держит у себя превеликое множество всякого рода наилучших книг и дает их всякому читать, кто хочет, и такие, какие кому угодно, а сам берет только за то с читателей самый маленький платеж.

— Что вы говорите? — возопил я. — Не вправду ли?

— Точно так, — отвечал он, — да и платеж-то невелик, не более как по одному нашему грошу, а по-вашему по одной копейке на день. Так не вздумаете ли вы сим средством пользоваться? У нас весьма многие сим образом читают.

— Батюшка ты мой! Да я бы готов не только по одной, но хотя бы по три копейки платить на день, если б только мог пользоваться такою выгодою, но ходить-то к нему для сего чтения, как сами вы знаете, некогда.

— И того-таки не надобно, — отвечал он.— Но он дает всякому книги на дом; а в предосторожность, чтоб не могли распропасть, берет только при самом начале в заклад несколько талеров денег, но

которые он после возвращает назад, как скоро кто читать перестанет.

— Это еще и того лучше, — возопил я с превеликим удовольствием, — и куда бы я рад был, если б мог с человеком сим познакомиться.

— Зачем дело стало? — отвечал он. — Мы вас тотчас с ним познакомим. Я знаю, где он живет.

— Батюшка ты мой! — возопил я, сделав ему пренизкий поклон. — Я бы готов тебе в ножки поклониться, если б ты мне сие одолжение сделал: ты навек бы меня тем одолжил. Не можно ль бы хоть теперь мне с вами туда сходить?

Удивился он моей нетерпеливости и, засмеявшись, мне сказал:

— Добро, добро, г. подпоручик, когда так вам сего хочется, так незачем же вам и трудиться и ходить туда. Я вас и от того избавлю: дело уже сделано. Я, не сомневаясь, что вам будет сие угодно, там теперь уже и побывал и все дело кончил.

— Как? — спросил я, вспрыгнув даже от радости. — Возможно ли?

— Точно так, — отвечал он, — и в доказательство тому, вот вам и расписка от него в полученных им в заклад помянутых денег. Три-то талера я не на себя, а на сие употребил.

— Не вправду ли? И ах, как вы меня одолжили! — сказал я, отвесив ему пренизкий поклон.

— А вот, — продолжал он, вынимая из-за пазухи тетрадку, — и печатный реестр всем его книгам: и вам стоит только любые из него замечать и с запискою посылать за книгами к нему, так он и будет присылать. Я за первый месяц 30 грошей и заплатил уже ему.

Боже мой, как я обрадовался тогда всему тому! Я так доволен был поступком моего немца, что, бросившись к нему на шею, расцеловал даже его и не мог довольно слов найти к изъявлению ему своей благодарности. Истинно, если б кто меня подарил тогда чем-нибудь важным, так бы радость моя и благодарность не была так велика, как в то время. И как случилось сие нечаянным образом в самый день рождения моего, то сей день был мне долго памятен, и я не помню, чтоб я когда-нибудь препроводил оный с таким удовольствием, как в сие время. Но чему и дивиться не можно: ибо удовольствована была тогда во мне одна из наивеличайших моих склонностей, да и не одним еще, а многим, ибо и книг купленных осталось у меня еще множество, и случай неожиданным образом получил я такой, какого могло только желать мое сердце. Словом, я не могу изобразить вам, как доволен я был всем сим происшествием и в каком удовольствии препроводил тот вечер и большую часть ночи, читая и пересматривая мои книги и полученный реестр, пришедши на квартиру.

Но я заговорился уж так, что и позабыл, что мне давно время письмо кончать и сказать вам, что я есмь ваш, и прочая.

ЗАБАВЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПИСЬМО 69-е

Любезный приятель! Вы, я думаю, предугадывали уже наперед, что я письмо сие начну повествованием о том, как я упомянутую в последнем письме нечаянною выгодою начал пользоваться. Вы и не ошиблись в том, и я действительно за нужное нахожу вам о том пересказать. Пункт сей времени был особливого примечания достоин в моей жизни. Мне пошел тогда двадцать первый год от рождения, и с самого сего времени началось прямо мое читание книг, которое после обратилось мне в толикую пользу. До сего времени хотя я и читывал книги, но все мое читание было ущипками и урывками только по временам, а с сего времени присел я, так сказать, вплотную и принялся читать почти уже беспрерывно и не сходя с места. Тогдашнее осеннее и скучное время, начавшиеся длинные вечера, сидение всякий день в канцелярии часу до десятого вечера, множество остающегося от дел и переводов праздного времени, обстоятельство, что я хотя немногие, но платил за книги деньги, нехотение терять их по-пустому, но, напротив того, желание воспользоваться сколько можно более сим вожделенным случаем и успеть множайшие про-

честь книги, а наконец и самые любопытные и приятные материи тех книг, которые читал я сначала, — были тому причиною, что я не терял почти ни минуты праздного времени, но все оное употреблял на чтение.

Теперь расскажу вам, какого рода книги читал я тогда наиболее. Чрез посредство упомянутой купленной мне товарищем моим книжки хотя и узнал я о всех наилучших книгах и сочинениях во всех частях немецкой литературы и хотя, прочитывая свой каталог, к особливому удовольствию своему находил, что многие из них были и у того кенигсбергского жителя, у которого я на другой день же начал брать книги для читания, — однако при том одном я не остался, но просил того же немца, моего товарища, который мне сей случай доставил и который взял на себя труд проводить туда одного из наших канцелярских солдат, которого я положил посылать всегда за книгами, чтоб и он мне, с своей стороны, присоветовал, какие мне сначала читать лучше, и те бы означил в каталоге. Он охотно сие и учинил и, означив все, которые ему были знакомы и лучше прочих, и пересказав мнение свое о доброте оных, советовал мне начало учинить читанием наилучших немецких романистов. Он говорил, что через то не только я научусь читать книги их проворнее и узнаю язык их совершеннее, но и всего способнее заохочусь и к дальнейшему чтению. А сверх того и веселее могу провождать тогдашнее скучное время, а особливо по вечерам, ибо как они любопытны, то могут удобнее занимать все мое внимание и не давать чувствовать скуки, нежели другого рода книги.

На предложение сие я тем охотнее согласился, что оно сообразно было и с самыми склонностями моими. «Клевеланд» мой и некоторые другие, читанные мною до того, романы, вперили уже давно в меня вкус к оным, и я всегда с особливым удовольствием читывал книги, содержащие в себе что-нибудь историческое.

И как романов было у того пруссака превеликое множество, и в том числе были и все наилучшие и славнейшие, то пустился я в чтение оных и упражнялся в том с такою прилежностью и усердием, что не знал даже усталости. Солдат мой принужден был то и дело ходить за книгами, и скоро дошло до того, что не только немцы, мои товарищи, но и сам хозяин книг не мог довольно надивиться скорому прочитыванию мною оных и так наконец в меня вверился, что не опасался присылать ко мне и по целому уже десятку вдруг, и гораздо более, нежели чего весь мой заклад стоил. Но надобно сказать, что и сам я старался всегда сохранять кредит и не только возвращал ему книги его всегда в целости и исправно, но и берег их власно как свои собственные, чтоб не могли они как затеряться, а сие и было ему в особливости приятно... Я же получил из того ту выгоду, что из множества присылаемых мог делать выбор и читать те, которые были лучше прочих и мне более нравились, и оставлять прочие, которые казались мне не таковы хороши и чтения моего недостойны.

В таковом беспрерывном чтении одних романов препроводил я не только всю тогдашнюю осень, но и всю зиму и даже большую часть последующего

лета, и материя их не только мне не наскучивала, но и делалась с каждым днем еще приятнейшею, в самом деле заохочивала меня от часу более к чтению. Я прочел их тогда превеликое множество, и из всех лучших и славнейших тогда романов не осталось почти ни одного, который бы не побывал у меня в руках и мною с начала до конца прочитан не был.

По обыкновенному обвинению романов, что чтение их не столько пользы, сколько вреда производит, и что они нередко ядом и отравою молодым людям почесться могут, подумать бы можно было, что и надо мною произвели они подобное тому действие; однако я торжественно о себе скажу, что мне не сделали они ничего худого. Сколько я их ни читал, но от всего чтения оных не приметил я ни тогда, ни после никаких худых и предосудительных для себя следствий, не развратились ими мысли мои и не испортилось сердце, не соблазнен я ими был ни к каким худым делам и не вовлечен в пороки и распутную жизнь; но чтение оных, напротив того, произвело для меня бесчисленные выгоды и пользы. Ум мой преисполнился множеством новых и таких знаний, каких он до того не имел, а сердце нежными и благородными чувствованиями, способными не преклонять, а отвращать меня от пороков и худых дел, которым легко бы я мог сделаться подверженным. Словом, я никак не могу пожаловаться на оные и обвинять их с своей стороны вредными следствиями, но паче за многое хорошее им весьма обязан.

Может быть, произошло сие от того, что по

особливому счастию с самого начала попались мне в руки романы наилучшего рода, писанные хорошими и славными сочинителями, со вкусом, и такие, в которых изящность добродетелей и хорошего поведения, а гнусность пороков и дурной жизни изображена была живейшими и пленяющими красками; ибо как, сначала начитавшись оных, научился я хорошему вкусу в романах, то в состоянии уже был делать между дурными и хорошими выбор и тем меньше мог после развращен быть дурными, попадающимися мне кой-когда в руки, но оные удобнее мог презирать и не удостаивать своего чтения. И много, может быть, поспешествовало к тому и предварительное расположение и состояние моего сердца, имеющего с малолетства более наклонности к хорошему, нежели к дурному, и уже хорошее основание к люблению добродетели.

Но как бы то ни было, но помянутое чтение романов произвело мне многоразличные пользы. Наиглавнейшею из них можно почесть ту, что я через многое чтение сделался в немецком языке несравненное знающее и совершеннее. Не только целые тысячи слов и речений, которых я до того никак не знал, сделались мне тут известными и вразумительными, мимоходом и без всякого затверживания их наизусть, но я научился вкусу отчасти и в самом слоге сочинений немецких и узнал приятность и красоту оного и через все то приготовил себя нечувствительно к удобнейшему разумению и охотнейшему чтению других и полезнейших сочинений. Второю и не менее важною пользою, по-

лученною мною от сего чтения, можно почесть ту, что я, читая описываемые происшествия во всех государствах и во всех краях света, нечувствительно спознакомился гораздо ближе со всеми оными, а особливо с знатнейшими в свете городами. Я узнал и получил довольное понятие о разных нравах и обыкновениях народов и обо всем том, что во всех государствах есть хорошего и худого, и как люди в том и другом государстве живут, и что у них там водится. Сие заменило мне весьма много особливое чтение географических книг и сделало меня с сей стороны гораздо более знающим. Не меньшее ж понятие получил я и о роде жизни разного состояния людей, начиная от владык земных, даже до людей самого низкого состояния. Самая житейская, светская жизнь во всех ее разных видах и состояниях и вообще весь свет сделался мне гораздо знакомее перед прежним, и я о многом таком получил яснейшее понятие, о чем до того имел только слабое и несовершенное. Что касается до моего сердца, то от многого чтения преисполнилось оно столь нежными и особыми чувствованиями, что я приметно ощущал в себе великую перемену и совсем себя власно как переродившимся. Я начинал смотреть на все происшествия в свете не какими иными, а благонравнейшими глазами, а все сие и вперяло в меня некое отвращение от грубого и гнусного обхождения и сообщества с порочными людьми и отвлекало от часу более от сообщества с ними. Наконец, проистекала от того та польза, что как все праздное время по большей части занято у меня было одним

чтением, то чрез сие не только не был я никогда в праздности, но и не занимался, кроме дел по должности, никакими другими прочими делами, которые легко могли б меня отвлечь от моих полезных упражнений и завесть в какие-нибудь заблуждения. Что ж касается до увеселения, производимого мне сим чтением романов, то я не знаю уже, с чем бы оное сравнить и как бы изобразить вам оное. А довольно, когда скажу, что оное было беспрерывное и так велико, что я и поныне еще не могу позабыть тогдашнего времени и того, сколь оно было для меня приятно и увеселительно. Мне и поныне еще памятно, как увеселялся я не только во времени чтения, просиживая без всякой скуки длинные вечера, но голова моя так наполнена была читанными повестями и приключениями, что и во время самого скучного хождения по ночам из канцелярии на квартиру они не выходили у меня из памяти, и я ими и в сии скучные путешествия не менее занимался мыслями и веселился, как и во время чтения, и чрез то не чувствовал трудов и досады, с шествием по грязной и скользкой мостовой сопряженной.

Но сего довольно о тогдашнем моем чтении, а надобно рассказать мне вам и о другом упражнении, в котором я временно упражнялся и которое имело хотя предметом у себя единое увеселение, однако также невинное и позволенное. Оно состояло не в чем ином, как в танцовании, или паче в учении сему искусству. Вы удивитесь сему бессомненно и почтете сие делом, нимало с прочим тогдашним расположением моим не сообразным,

однако сие действительно так было, и я побужден был к тому отчасти склонностью моею с малолетства к сему упражнению, отчасти бывающими у генерала нашего кой-когда балами и на них танцами. Всякий раз, когда ни случалось мне их видать, всматривал я в них с восхищением и всякий раз внутренно досадовал, для чего не мог я сам брать в том соучастия. Но низкость чина моего, природная застенчивость и несмелость, а паче всего самое неумение мое танцовать не позволяли мне и мыслить о том, чтоб я мог когда-нибудь в увеселении сем соучаствовать; ибо хотя, будучи ребенком, я и танцовывал, но как искусству сему никогда не учился, то все тогдашние танцы мои ничего не значили. Поелику же мне с того времени уже никогда более танцовать не случалось, то тогда я считал себя к тому совсем неспособным, почему и довольствовался я единым только зрением, как другие танцуют и примечанием всех их движений и оборотов, дабы, пришед на квартиру, можно мне было хоть самоучкою сколь-нибудь сему искусству понаучиться. Сие и действительно я в праздные часы иногда делывал и, тананакая минуеты*, учился делать па и другие обороты. И как искусство сие не так было мудрено, чтоб не можно было перенять, то через несколько времени и затвердил я оное так, что мог бы по нужде отважиться танцовать и в публике, и недоставало мне к тому только удобного случая.

---

*Напевая менуэты.

Не успел я до того дойти, как нечаянным образом явился к тому и вожделенный случай. Тот же немец, который спознакомил меня с книгам, доставил мне и сей случай. Некогда, пришед в канцелярию к нам, сказывал он, что в соседстве у него будет в тот день жидовская свадьба, и предлагал мне, не хочу ли я полюбопытствовать и посмотреть оную.

— Очень бы хорошо, — сказал я, — я никогда еще их не видывал. Но как бы можно было это сделать?

— Ежели вам угодно, — отвечал мой немец, — то пойдем вместе. Я вас ужо ввечеру провожу туда; а надобно только сколь-нибудь получше одеться, ибо свадьба будет хорошая и порядочная.

— Хорошо, — сказал я, — но не дурно ли будет, что мы пойдем без всякого приглашения, а сами собою?

— И, нет, господин подпоручик! У нас обыкновение такое, что как скоро кто затеет свадьбу отправлять публичную и сколько-нибудь получше, то вольно приходить туда всякому порядочному человеку, а особливо вам, гг. офицерам: вы имеете к тому особливое право. Всякий хозяин не только не скажет вам ни единого слова, но еще за честь себе поставлять будет; а нужно только самому себя вести порядочно и не начинать никаких наглостей, шума, забиячества и других неблагопристойных поступков.

— О, что касается до этого, — сказал я, — то от меня ничего такого воспоследовать не может.

— Это я знаю и уверен, — отвечал он, — а потому-то я вам и предлагаю.

— Ну, так хорошо ж! — сказал я. — Сводите ж, пожалуйте, меня тогда и удовольствуйте мое любопытство.

Сим образом условившись и сходив на квартиру, чтоб поправить на себе волосы и поприодеться получше, зашел я за ним в назначенный час, и как он меня уже дожидался, то пошли мы тотчас с ним на сию свадьбу. Ночь уже была тогда совершенная, но он говорил, что у них обыкновение такое, что свадьбы бывают всегда по ночам. Но как я удивился, когда привел он меня к превеликому каменному дому, освещенному множеством огней!

— Уж не здесь ли свадьба-то? — спросил я.

— Точно тут, — отвечал он.

— Что ты говоришь! — подхватил я, запинаясь. — Уж не дурно ли, что мы незваные придем; свадьба, видно, огромная?

— И, нет! — сказал он. — Ступайте смело и не опасайтесь ничего. Вот я пойду наперед и буду служить вам проводником.

Сказав сие, пошел он прямо в сени; я последовал за ним. Не успели мы войти в сени, как звук преогромной музыки поразил мои уши.

— Ба, ба, ба! — сказал я. — Здесь ажно и музыка есть.

— А как бы вы думали? — отвечал он. — Без музыки у нас одни только подлые свадьбы бывают; а если мало-мало получше, то всегда музыка.

В самое то время отворились двери, и он потащил меня за собою. Зала была превеликая, освещенная множеством свеч и наполненная великим множеством людей обоего пола.

Я удивился, увидев, что между всеми ими не было ни одного человека из самой подлости, но все люди были порядочно одеты и наблюдавшие всю благопристойность. Иные из них сидели возле стен на стульях, иные расхаживали и разговаривали между собою; другие же и множайшие стояли кучами и смотрели на танцующих посреди залы в несколько пар и порядочно минует. Все, встречающиеся с нами, давали нам дорогу и оказывали нам всякую вежливость и учтивость. Все сие по нечаянности своей поразило меня до бесконечности.

— Что ты это, братец, — говорил я тихо своему товарищу, — куда ты меня это завел? Это и не походит на свадьбу, это сущий бал!

— А как бы вы думали? — сказал он. — У нас и всегда так бывает.

— Да умилосердись, — продолжал я его спрашивать, — скажи ж ты мне, где же жених и невеста, когда они будут венчаться и происходить у них свадебная церемония?

— И, господин подпоручик, — отвечал он, — да они уже давно и еще давеча, в полдне и в другом месте, обвенчаны, и нам до того какая нужда, а здесь только свадебный бал. Венчаются они на домах своих, и при том бывают одни только родные.

— А этот дом разве не хозяйский? — спросил я, удивившись.

— Ах, нет, — отвечал он, — этот дом городской и публичный, и желающие отправлять свадебные балы его только нанимают на вечер и платят за то в ратушу самую почти безделку.

— Вот, сударь, — сказал я, удивляясь от часу больше, — это обыкновение у вас очень хорошо, и поэтому свадьбы хозяину немногого стоят.

— Конечно, немного, — отвечал он, — ибо весь убыток состоит в покупке свеч и в заплате небольшого количества денег музыкантам, а то, впрочем, не бывает тут ни ужинов, ни потчиваниев, да за играние музыки платят более сами танцующие.

— Как это? — спросил я, удивившись еще более.

— А вот, — сказал он, — это увидите вы сами. Дай окончиться минуету и тогда, если кому захочется в особливости что танцовать, то он велит музыкантам то играть и за сие преимущество дает им безделицу, несколько грошей денег, так они и заревут и играют до тех пор, покуда ему хочется.

— Вот какая диковинка! — сказал я. — Но, пожалуйста, скажите мне, какие же это танцуют люди, да и все вот здесь находящиеся?

— Всякого чина и состояния, — отвечал он, — кроме только самой подлости: есть тут мещане, есть хорошие ремесленники, есть духовные, есть и хорошие купцы со своими женами и дочерьми; а из молодых и сих танцующих мужчин есть множество и штудирующих в здешнем университете штудентов, и в том числе хороших дворянских детей. А в прежние времена хаживало сюда и множество наших гг. офицеров, и они бывали лучшие танцовщики. Словом, здесь есть всякого сорта люди, ибо всякому дозволено посещать сии пиры, да еще и с тем, что буде кто не хочет быть знаком,

так может приходить себе в маске и в маскарадном платье.

— Да умилосердись! — продолжал я его спрашивать. — Когда бывают тут люди всякого сорта, и знакомые и незнакомые, то не легко ли могут происходить тут всякая всячина, например, ссоры, шумы, бесчиния и тому подобное?

— Ах, нет! — отвечал он. — У нас сего никогда не бывает, да и быть не может. Наша полиция наблюдает весьма строго то, чтоб ничего подобного тому на сих съездах не происходило. Сохрани Господи, если кому вздумается что-нибудь непристойное и неприличное предприять, тотчас под руки, и выведут со стыдом вон и вытолкают в двери, кто б он таков ни был.

— Это, право, очень хорошо! — сказал я. — Но, пожалуйте, сказали вы мне, что это свадьба жидовская; но что же я жидов здесь не вижу?

— И, как не видать, — отвечал он, — разве вы их не заприметили? Их, правда, немного, однако они есть: вон приметьте, у которых бороды не чисто все выбриты, а оставлена узенькая полоска на челюстях, подстриженная ножницами: это все жиды, и их по одному только сему распознать можно; а впрочем, они так же одеты, как и прочие, ибо бывают тут из них одни лучшие и богатейшие.

— А женщины-то их? — спросил я далее.

— А сих, — сказал он, — ничем уже с прочими различить не можно: они так же хорошо одеваются, как и прочие. Вот смотрите, узнаете ли в числе сих танцующих самую невесту?

— Нет, — сказал я, пересмотрев всех прочих, —

все они, кажется, одеты единоравно и все изряднехонько.

— Вот она, — сказал он, указывая на невесту, — ее потому только можно отличить, что она вся в белом платье и что голова ее убрана цветами. А вот это — ее жених, — сказал он, указывая на молодого и изрядного молодца.

Я смотрел тогда с особливым любопытством на сих новобрачных и не мог довольно надивиться всему поведению их, которое было столь порядочно, что я никак бы не подумал, что это жиды были, если б мне того не сказали. Наконец спросил я моего товарища:

— Но сам-то хозяин где ж? Пожалуйте, мне его покажите.

— Бог его знает, — отвечал он мне, — мне он незнаком, и тут ли он или нет, я истинно не знаю, да и какая нужда о нем знать? Он такой же тут гость, как и все прочие, и как он ни о ком, так и об нем никто не заботится.

— Вот смешно и удивительно, — сказал я, — но, вправду сказать, тем лучше и вольнее.

В самое сие время окончился тот польский танец, который тогда после минуета танцовали.

— Ну теперь что будет? — сказал я.

— Небось контратанец! — отвечал мой товарищ, и он в мнении своем не обманулся.

Мы услышали вдруг голос одного молодого человека, кричащего музыкантам, чтоб играли «режуисанс»* и подающего им несколько денег. Не успел

* Французское — собственно веселье, празднество.

он сего вымолвить, как во всей зале раздалось эхо, множество голосов начали говорить:

— Режуисанс! Режуисанс!

И все молодые люди начали себе искать подруг и, поднимая молодых женщин, ранжироваться* в две линии. Как мне имя сего контратанца довольно было известно, потому что я видел, как его несколько раз танцовали на балах у генерала, и мне он так полюбился, что я и голос и фигуру затвердил твердо, то и вскипел я тогда желанием танцовать его.

«Эх, — думал я, — отведал бы потанцовать его! Авось-либо, не ошибусь; фигура мне знакома».

Но несмелость моя так была велика, что я никак не мог на то отважиться, если б товарищ мой, приметив, что я горю желанием, но только не осмеливаюсь, мне не сказал:

Н е м е ц. — Что, господин подпоручик, не вздумаете ли вы им компанию сделать?

Я. — Бог знает! Никогда я контратанца сего еще не танцовывал! Правда, фигура его мне знакома, но боюсь, чтоб не помешаться и не спутаться.

Н е м е ц. — И, господин подпоручик, пуститесь, авось-либо не спутаетесь; а хоть бы и помешались, беда не велика, здесь люди не знатные, вам то отпустят. Станьте только в последней паре, так покуда дойдет до вас очередь, так вы и перейметe.

Я. — Так иттить?

---

*Строиться, выравниваться.

Н е м е ц. — Ступайте, сударь, ничего не опасаясь.

Я. — Но где ж мне женщину-то взять? Ни одна мне незнакома.

Н е м е ц. — Что нужды! Берите любую, ни одна вам не откажется, но еще за честь себе поставит с вами танцовать, если только умеет.

Не успел он сего выговорить, как увидели мы одну молодую и изрядную девушку, бегающую по всему залу и ищущую себе товарища, и тогда сказал мне мой спутник:

— Ну вот, на что лучше, сама ищет, ступайте и адресуйтесь к ней.

Духа моего едва стало на то, чтоб к тому отважиться. Я подступил к ней в самое то время, когда она шла мимо нас, и сказал ей:

— Сударыня! Конечно, вам недостает пары? Не угодно ли со мной?

— С охотою моею, — отвечала мне девушка, обрадуясь приметно моему приглашению. Она подала мне руку и тотчас повела было становиться между парами.

— Сударыня, — сказал я, остановив ее немного, — не лучше ли немного подалее, ибо, признаюсь вам, что я сего танца еще не танцовывал, разве вы меня поправлять станете.

— О сударь, с превеликою охотою, — отвечала она и тотчас пошла становиться туда, где мне хотелось.

Сердце вострепетало во мне, как скоро стал я в порядок, и те минуты, которые надлежало мне дожидаться, покуда дошла до меня очередь, были для меня наимучительнейшие. Весь дух мой нахо-

дился в великом смущении, и я стоял ни жив, ни мертв и власно как дожидаясь неведомо чего. Но наконец решился мой жребий. Меня подхватили, потащили и заставили также бегать, прыгать и вертеться, и сия минута решила все мое сумнение и к самому себе недоверчивость. Я протанцовал весь контратанец без малейшей ошибки и так исправно, что товарищ мой не мог довольно расхвалить меня. И с того времени не было ему уже нужды побуждать меня к танцованию: мне нужна и тяжела была только первая минута, а как я однажды уже осмелился, то не было почти и уйму мне. Я не пропускал ни одного танца, который бы не танцовал вместе с прочими, и так разохотился, что товарищ мой уже тому почти и не рад был, но, сев в уголок, только на меня посматривал. Пуще всего понравилось мне то, что все женщины с особливою охотою со мною танцовали и не только не смеялись, если я когда в незнакомых.еще мне контратанцах сначала ошибался, но всякая с удовольствием мне сказывала, куда иттить и что делать.

Одним словом, вечер сей был для меня наиприятнейший в жизни. Я не видал, как оный прошел, и затанцовался даже до того, что товарищ мой наконец ко мне подошел и сказал:

— Уже первый час, господин подпоручик! Не пора ли нам домой иттить? Молодые уже давно ушли и скрылись, и скоро все разъедутся.

Тогда только опомнился я, что задержал сего доброго человека. Я приносил ему тысячу извинений и благодарений, что он для меня столь-

ко трудился, и, схватя шляпу, тотчас пошел с ним.

Сим кончилось тогда сие происшествие, а сим окончу я и письмо мое и паки вам скажу, что я есмь, и прочая.

---

* В опущенных письмах Болотов описывает бал у губернатора и сообщает о политической ситуации 1759 г., союзе России со Швецией и Данией, приготовлениях прусского короля для продолжения войны и т.д. Болотова вторично потребовали в полк, но его не отпустили.

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЕ САДЫ

*ПИСЬМО 72-е**

Любезный приятель! Таким образом избавившись опять, без всякого моего домогательства, а случайно, от похода и удостоверившись еще более в неподвижности с одного места и в должайшем пребывании в Кенигсберге, начал я продолжать прежний род жизни и не только упражняться во всем том же, но присовокупил к ним и некоторые другие упражнения. Не успела пройти зима и с нею миновать длинные вечера, толико способные для чтения книг, как вместе с наступившею весною переменились во многом и наши веселости, забавы и упражнения. Бывшие в продолжение зимы у генерала нашего балы и танцы хотя и не совсем пресеклись, но были уже гораздо реже и малолюднее. Большая часть дворянства прусского разъехалась по деревням, а мало также было уже и приезжих из армии. Все они отъехали к своим местам и ушли в поход, а все сие и уменьшило наши зимние веселости и ограничило их так, что балы и собрания были у генерала уже очень редко, а когда и случались, то состояли наиболее из лучших его друзей и знакомцев. Недостаток сей хотя и награждаем им был частейшими выездами и в

дома знаменитейших прусских дворян, оставшихся в городе, а особливо к любимице своей графине Кайзерлингше*, и гуляниями с ними по садам и другим увеселительным местам. Но как забавы и увеселения сии были более приватные, нежели публичные, то мы не могли в них брать соучастия, а принуждены были довольствоваться одними торжественными праздниками, из которых генерал наш не пропускал ни одного, чтоб не сделать у себя торжественного пира, а потом чтоб не дать бала.

Но как праздники сии были редки, мы же к танцам и увеселениям сего рода не так мало привыкли, чтоб могли они нас удовольствовать, то старались мы недостаток сей заменить отыскиванием городских свадеб и танцованием на оных; но как наконец и сии по причине летнего времени сделались редки, то принуждены были и мы брать прибежище свое к гуляниям в садах и к препровождению в них с удовольствием тех часов, которые нам от дел оставались праздными.

По счастию, находилось тогда в Кенигсберге множество таких садов, в которые ходить и там с удовольствием время свое препровождать было нам невозбранно. Они разбросаны были по всему городу, принадлежали приватным людям; были хотя не слишком велики и не пышные, однако иные из них довольно изрядные и содержимые в порядке. Хозяева оных для получения с них ежегодного некоторого дохода отдают их внаймы людям, питающимся

---

* Об увлечении Корфа графиней Кайзерлинг Болотов рассказывает в одном из опущенных писем.

содержанием трактиров, и сии, содержа таковые трактиры в домиках, посреди садов сих находящихся, приманивают ими людей для посещения оных, почему и бывают они в летнее время всегда наполнены множеством всякого рода людей. Ходят в них купцы, ходят хорошие мещане, ходят студенты, а иногда и мастеровые. Словом, вход в них, кроме самой подлости*, никому не возбранен, и всякий имеет свободность в них сидеть, или гулять, или забавляться разными играми, как, например, в карты, в кегли, фортунку** и в прочем тому подобном. Единое только наблюдается строго, чтоб всегда господствовало тут благочиние, тишина и всякая благопристойность, почему и не услышишь тут никогда ни шума, ни крика и никаких других вздоров; но все посещающие сии сады, разделясь по партиям, либо сидят где-нибудь в кучке, либо гуляют себе по аллеям и дорожкам, либо забавляются какою-нибудь игрою и провождают время свое в удовольствии и в смехах. Никакая партия другой не мешает, и никому нет ни до кого нужды, но все только стараются друг другу оказывать всякую вежливость и учтивость. Приятно было поистине видеть и находить инде небольшую кучку пожилых людей, сидящих где-нибудь в беседке тихо и смирно и разыгрывающих себе свой ломбер; других же — инде на лавочках, под ветвями дерев тенистых, пьющих принесенные им порции кофея, чая или шоколада или сидящих с трубкою во рту и

---

* В смысле «подлые люди» — холопы, крепостные.

** Азартная лотерейная игра.

со стаканами хорошего пива пред собою и упражняющихся в важных и степенных разговорах. Пиво употребляют они для запивания своего табаку, а прекрасные сухари, испеченные из пеклеванного хлеба, для заедания оного. Что касается до молодых, то сии занимаются более игрою в кегли или так называемый «лагенбан»*, играя хоть в деньги, но без всякого шума, крика и в самые малые деньги, и отнюдь не для выигрыша, а для единственного препровождения времени. Инде же найдешь их упражняющихся в играние в фортунку или в самом доме в биллиард; а если кому похочется чего-нибудь есть, то и тот может заказать себе что-нибудь сварить или изжарить из съестного, также подать себе рюмку водки, ликера или вина, какое есть тут в доме. Более сего ничего тут не продается, а что и есть, так и то все так хорошо, так дешево и так укромно**, что всякий выходит с удовольствием оттуда.

Мне долго неизвестны были сады и гульбища сего рода, и познакомил меня с ними не кто иной, как тот же товарищ мой немец, г. Пикарт, которому я так много за книги и за свадьбы был обязан. Он, согласясь вместе с товарищем своим, повел меня однажды в них, и они мне так полюбились, что я с того времени в каждое почти воскресенье, в которые дни было нам свободнее прочих, хаживал в таковые сады пить после обеда свой чай или кофей и препровождать все достальное время либо в играх в кег-

---

*Кегельбан.

**Уединенно, уютно, с комфортом.

ли и фортуну, либо в гулянье, а нередко делали и они оба мне компанию и игрывали со мною там в ломбер. И могу сказать, что таковые гулянья мне никогда не наскучивали, но всякий раз возвращался я из них на квартиру с особливым удовольствием. В особливости же нравилось мне тихое, кроткое и безмятежное обхождение всех, бываемых в оных, и вежливость, оказываемая всеми. Правда, сперва все господа пруссаки меня, как российского офицера, дичились и убегали, но как скоро начинал я с ними говорить ласково по-немецки, то они, почитая меня природным немцем, тотчас делались совсем иными и отменно ласковыми. Они с охотою приобщали меня к своим компаниям и нередко входили со мною в рассуждения и даже самые политические разговоры. И как я охотно давал им волю обманываться и почитать себя немцем, а иногда с умысла подлаживая им в их мнениях, тем еще больше утверждал их в сем заблуждении, то нередко случалось, что я через самое то узнавал от них многое такое, чего бы инако не можно было узнать и проведать, а особливо из относящихся до тогдашних военных происшествий. О сих были они так сведущи, что я не мог довольно надивиться; а каким образом могли они так скоро и обстоятельно узнавать все новости, то было для меня совсем уж непонятно, ибо нередко слыхал я от них о иных вещах недели за две или за три до того, как писано было в газетах.

Кроме сего, нередко прогуливался я и по улицам и другим лучшим местам в городе, а особливо по земляным валам, окружающим форштаты, которые служили общим гульбищем для жителей кенигсбер-

гских. Всякое воскресенье после обеда наполнены они были несколькими тысячами гуляющего по ним обоего пола народа, и все наилучшим гулянием почитали сие место. Оно и действительно было таково, ибо с высоты оных можно было простирать в поле свое зрение и с оным встречались во многих местах наипрекраснейшие положения мест, окружающих сию прусскую столицу. Временем же хаживали мы для прогулки и за самый город, а особливо вниз по реке Прегелю. Место тут низменное и в особливости хорошо и удобно для гулянья. Оно изрыто множеством каналов, усаженных аллеями из деревьев, а по главной аллее находятся многие увеселительные домики и трактиры, для отдохновения гуляющим.

Но сколько все таковые гулянья меня ни занимали, однако я не отставал за ними и от моих прочих упражнений, а особливо от книг. Правда, по наступлении весны и лета время было уж не столь способно к чтению, как скучное зимнее, поелику множайшее количество наружных прельщающих предметов отвлекли к себе внимание и мешали чтению; однако я хотя с не таким усилием, но все продолжал упражняться в оном, но читал уже не столько романы, сколько другого сорта книги. Причиною тому было то, что наилучшие романы были уже мною все прочитаны и остались одни оборуши* и такие, которых на чтение не хотелось почти тратить времени, а сверх того, попались мне нечаянно обе те книжки господина Зульцера**,

---

*Оборуши, оборыши, оборки, обирки — остатки.

**См. примечание 15 после текста.

которые писал сей славный немецкий автор о красоте натуры. Материя, содержащаяся в них, была для меня совсем новая, но так мне полюбилась, что я совершенно пленился оною. Словом, обе сии маленькие книжки произвели во мне такое действие, которое простерлось на все почти дни живота моего, и были основанием превеликой перемене, сделавшейся потом во всех моих чувствованиях. Они-то первые начали меня спознакамливать с чудным устроением всего света и со всеми красотами природы, доставлявшими мне потом толико приятных минут в жизни и служившими поводами к тем бесчисленным непорочным увеселениям, которые потом знатную часть моего благополучия составляли.

Не успел я их прочесть, как не только глаза мои власно как растворились и я начал на всю натуру смотреть совсем иными глазами и находить там тысячу приятностей, где до того ни малейших не примечал, но возгорелось во мне пламенное и ненасытное желание читать множайшие книги такого ж сорта и узнавать от часу далее все устроение света. Словом, книжки сии были власно как фитилем, воспаливишим гнездившуюся в сердце моем и до того самому мне неизвестную охоту ко всем физическим и другим так называемым естественным наукам. С того момента почти оставлены были мною все романы с покоем, и я стал уже выискивать все такие, которые к сим сколько-нибудь имели соотношение; и поелику у немца, снабжающего меня книгами, было таких мало, то не жалел я нимало денег на покупку совсем новых из лавки и доставал везде такие, где только можно

было отыскать. А не успел я к ним несколько попривязаться, как нечувствительно получил вкус и к пиитическим сочинениям, имеющим толь близкое и тесное родство с ними. И как сего рода книг у немца моего было довольно, то пустился я в чтение оных, и сие так меня заохотило, что я нечувствительно получил и сам некоторую склонность к стихотворству и в праздные иногда часы не только упражнялся в сочинении кой-каких стишков, но взял на себя труд, для удобнейшего приискания рифм, составить некоторый род пиитического словаря, которая книжка и поныне у меня цела и служит памятником тогдашней моей охоты к поэзии. Со всем тем судьбе, как видно, было неугодно сделать меня стихотворцем. Из всех тогдашних моих трудов не вышло наконец ничего, и я хотя остался любителем стихотворства, но не сделался поэтом и увидел скоро, что натура не одарила меня потребным к тому даром. Словом, трудность составления рифм мне скоро наскучила, а как между тем занялся я другими и важнейшими материями, то и оставил поэзию с покоем.

Впрочем, как выше уже упомянуто, не в одном чтении препровождал я все свое свободное время, но с наступлением весны и полюблением натурологических книг возродилась во мне старинная моя охота к рисованию. По причине вышеупомянутых происходивших со мною разных перемен и за неимением свободного времени, не принимался я уже целый почти год за кисти и краски, но как в сие лето дела у нас так уже уменьшились, что времени у меня всякий день оставалось множество праздного,

то, оборкавшись* уже гораздо в канцелярии и имея особую в ней комнату, вздумал я однажды испытать, не могу ли я иногда между дел в самой канцелярии сколько-нибудь порисоваться! И как небольшой опыт мой удался по желанию и я увидел, что не только никто меня за то не осуждал, но все еще прихаживали смотреть, как я рисую, и, любуясь моими картинками, хвалили мое трудолюбие и прилежность, то мало-помалу перенес я большую часть моих красок и прочей рисовальной сбруи в канцелярию и упражнялся тут в рисованье между дел, как дома. Целый ящик в столе накладен был у меня тут раковинами, стеклами, кистями и прочим, и я занимался ими по нескольку часов почти всякий день.

Вместе с сим мало-помалу возобновилась охота моя и к прочим любопытным упражнениям. Имея свободу упражняться вышеупомянутым образом в рисованье, разрисовал я в сие время множество картин для прошпективического ящика** и привел весь оный в такое совершенство, что все видавшие его не могли им довольно налюбоваться. Я приносил его несколько раз в канцелярию, и все наши канцелярские расхвалили меня в прах за оный и всегда сматривали в оный с удовольствием. Он и действительно был хорош: препорция оного была так удачна, а картины столь живо под натуру раскрашены, что в состоянии были обмануть самого нашего плац-майора господина Миллера. Не могу без смеха вспом-

* В смысле — освободившись.

** Стереоскоп.

нить сего приключения. Было то у меня на квартире. Помянутому господину плац-майору случилось некогда зайти ко мне посмотреть моей квартиры, ибо я за несколько времени просил его о перемене оной и о снабдении меня лучшею. Ящику моему случилось тогда стоять в спальне моей на окне. Он попался ему первый на глаза.

— Это что такое у вас? — спросил он.

— А вот посмотрите в стеклышко, — отвечал я.

Майор наклонился и начал смотреть; но как я удивился, как он чрез минуту с великим удивлением закричал:

— Ба, ба, ба! Да где ж эта улица-то и такие хорошие дома? Что ж я по сию пору не видал? Вот квартир-то сколько!

Сказав сие, отскочил он от ящика и устремил с великою жадностию взор свой в окно, думая, действительно, что он видел и увидел настоящую улицу. Покатился я со смеху, увидев, как хорошо он обманулся.

— Тьфу, какая пропасть! — закричал он и начал плевать и ругать мой ящик. — Что это за черт! Ведь я истинно обманулся и думал, что я вижу настоящую улицу. Возможно ли, какой дурак я был!

Я старался прикрыть его стыд уверением, что не один он, а многие таким же образом обманываются. Однако ему было до чрезвычайности стыдно, и безделка сия сделала то, что получил я потом весьма прекрасную квартиру, ибо он всячески старался уже меня задобрить и тем преклонить, чтоб я сего дела не расславил.

В самое то ж время смастерил я на квартире у

себя и другую любопытную и такую штучку, которая заставливала многих нарочно ко мне приходить и собою любоваться. Была то хотя сущая детская игрушка, однако существом своим не недостойная примечания, и тем паче, что составляла второе изобретение мое в жизни, достойное замечено быть. Еще с самого начала пребывания моего в Кенигсберге полюбились мне в особливости сделанные кой-где в сем городе фонтаны, и как мне мимо одного из них из прежней моей квартиры всякий день ходить случалось, то нередко останавливался я и любовался иногда с полчаса сею беспрерывно вверх бьющею и на себе золотой шар поддерживающею водою. Частое видание сего фонтана вложило мне некогда весьма странную мысль, а именно: мне захотелось испытать, не могу ли я выдумать и сделать и для себя хотя небольшой фонтанец и смастерить такой, который бы можно мне было возить всегда с собою и становить везде, где бы мне ни похотелось. Мысль поистине удивительная и довольно странная. Я смеялся сначала сам сей своей затее и почитал дело сие нескладным и невозможным. Но чего не может произвесть охота и склонность к любопытным художествам и искусствам? Чем далее я о сем помышлял, тем менее находил я невозможностей, и наконец удалось мне начертать в мыслях своих план, показавшийся мне совсем удобопроизводимым. Не успел я сего выдумать, как, по природной своей нетерпеливости, восхотелось мне выдумку свою произвесть и в самом деле. Обстоятельство, что я находился тогда в таком городе, который наполнен был всякими мастеровыми, могущими сделать все, что б им ни заказать,

побуждало меня к тому еще более, но бывшие до сего времени мои недосуги остановили на время произведение сего намерения в действие. Но в сию весну, как получил я более досуга и притом сделался более удостоверенным, что не пойду в поход, то принялся за сие дело и проворил с толикою прилежностью всем производством оного и принуждением столяров, жестянщиков, оловяничников, шлесарей и маляров скорее то делать, что им от меня было предписано, что недели через две я имел неописанное удовольствие видеть миниатюрный свой фонтан существующий и производящий действием своим мне более удовольствия, нежели я сколько мог думать и ожидать. Словом, штучка или, паче, игрушка сия удалась по желанию и достойна была действительного любопытного смотрения от всякого. Весь сей фонтан, со всеми своими принадлежностями, вмещался в маленьком и раскрашенном ящичке, имевшем в длину и в ширину не более вершков десяти, а вышиною вершков трех. Со всем тем, по вскрытии сего ящичка, поставленного на столике в углу, подле стены и окошка, оказывался в оном прекрасный маленький круглый басенец, украшенный в середине одною побольше, а вокруг двенадцатью маленькими вызолоченными фигурками, изображающими отчасти дельфинов, отчасти лягушек. Из всех их било толикое же число маленьких фонтанчиков, соответствующих большому в середине, которого биение простиралось вверх более полутора аршина и производило приятный шум и плесканье. Словом, все так было устроено, что с удовольствием можно было смотреть; а что всего лучше, то приведение воды из

поставленного на потолке той комнаты ушата было так искусно скрыто, что никому того приметить было не можно. Длинная жестяная и составная из разных, друг в друга входящих, штук трубка доставляла сию воду в фонтан и была так скрыта за стеною, что ее вовсе не видать было. Когда надобно было фонтан собрать, то все штуки сей трубки всовывались друг в друга и потом полагались в тот же ящик, отчего и происходила та удобность, что его всюду возить было можно и он занимал собою очень мало места.

Теперь не могу изобразить, сколь много утешала не только меня, но и всех приходящих ко мне сия игрушка. Все видевшие не могли ею довольно налюбоваться. На главную трубку, находящуюся посреди басеня, наделано было у меня множество разных наставок, посредством которых можно было заставливать воду бить разными манерами, как, например: иногда прямою струею вверх, иногда рассыпаться на множество брызгов, наподобие дождя, иногда образом звезды, а иногда образом павлиньего хвоста и так далее. Словом, я производил им множество разных перемен и всем тем и удивлял и забавлял зрителей. Все наши канцелярские не преминули ко мне приттить, как скоро об нем услышали, и превозносили меня до небес похвалами за искусство мое и за выдумку. Сие увеличивало много хорошее их обо мне мнение. Они не преминули рассказывать то другим с похвалою, и сего довольно уже было для меня в награждение за труды, употребленные при делании оного.

Но сколько удовольствия наносил я сим фонта-

ном всем меня посещающим, столько браней получал я за него от многих других, проходящих мимо моей квартиры. Но браням сим был уже собственно я сам или, паче, моя дурость и резвость причиною. Между прочими свинцовыми наставками на трубку моего фонтана, которые по большей части мастерил и делал я сам, догадало меня сделать одну кривую и расположенную так, чтобы вода, в случае пущения фонтана, била не прямо вверх, но дугою в сторону, сквозь отворенное окошко, и, раздробляясь в капли, упадала на улицу. В сию наставку пускал я воду тогда, когда случалось кому иттить по улице мимо моей квартиры, и единственно для того, чтоб можно было посмеяться и похохотать его удивлению; ибо не успевал человек поравняться против моего окна, как вдруг орошали его сверху многие капли воды, наподобие дождя. Человек, почувствовав оные, удивлялся, смотрел на небо и на все стороны, вверх и, не видя ничего, дивился и не понимал, откуда вода взялась. А сие и подавало иногда повод, что иные, пришед в настроение*, бранили сами не зная кого и отходили прочь, осыпая меня изрядными благословениями. Но ни над кем шутки сей я так часто не производил, как над гуляющими иногда по улице, с тафтяными** своими зонтиками, женщинами. Не успею, бывало, завидеть таких госпож, как, спрятавшись за стену, чтоб меня было не видно,

*Раздражение.

**Тафта — гладкая шелковая ткань.

отворял я на одну минуту свой фонтан и принаравливал так, чтоб вода упадала прямо на их зонтики и производила на них падением каплей своих шум. Боже мой, какой поднимался у них тогда шум и крик!

— Ах, Гер Езу! Гер Езу!* Дождь, дождь, дождь! — кричали они и бежать начинали, а я надседался со смеха, сидя в комнате за стеною и веселясь их настроением.

Не успел я сию штучку смастерить и через ее спознакомиться с многими мастеровыми, как возобновилась и прежняя моя охота к гокуспокусному**, которому научился я еще стоючи в Эстляндии, и мне захотелось снабдить себя всеми нужными к тому инструментами. В единый миг наделал я множество рисунков и полетел с ними к разным мастеровым. Они и удовольствовали меня, наделав все оные по моему желанию, и удовольствие мое было превеликое, когда я увидел у себя все оные по моему желанию и мог сам делать все тогда перенятые штучки и хитрости. Однако легко можно заключить, что сим искусством не имел я причины ни перед кем величаться, но довольствовался только сам для себя, и упоминаю о сем только для того, чтоб тем доказать, в каких делах я около сего времени упражнялся и какую склонность уже и тогда имел ко всяким хитростям и искусствам.

Но сего довольно будет до сего раза. Письмо мое довольно уже велико и получило обыкновенные свои

---

* Господи Иисусе.

** Фокусам, изобретениям.

пределы, чего ради, предоставя повествование о дальнейших со мною происшествиях будущим письмам, теперешнее окончу новым уверением вас о непременности моей к вам дружбы, и что я навсегда есмь ваш, и прочая.

КОНЕЦ ШЕСТОЙ ЧАСТИ



Часть седьмая

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В КЕНИГСБЕРГЕ

В КЕНИГСБЕРГЕ

ПИСЬМО 73-е

Любезный приятель! Как в последнем моем к вам письме остановился я на рассказывании вам того, чем занимался я, живучи в Кенигсберге после бывшей со мной тревоги по случаю требования меня к полку, то, продолжая теперь повествование мое далее, скажу, что между тем, как я, помянутым образом живучи в покое, упражнялся в деле, а не менее того и в сущих, хотя весьма позволительных, безделках и дни мои протекали в мире и в тишине и всякий почти день в новых удовольствиях, — армия наша находилась в полном походе. Прежний предводитель оной, генерал Фермор, не успел возвратиться из Петербурга и дождаться весны, как с наступлением оной, собрав все расставленные по кантонир-квартирам и вновь укомплектованные войска в окрестностях Торуня*, отправился с ними в поход опять в сторону к Шлезии через Польшу. Город Познань назначен был опять генеральным сборным местом, и тут собралась вся армия довольно еще благовременно. Однако далее сего места он с нею не пошел, а до-

---

*Торн на Висле.

жидался назначенного на место себя другого предводителя.

К сему, против чаяния всех, избран был императрицею генерал-аншеф граф Салтыков Петр Семенович*. Все удивлялись, услышав о сем новом командире, и тем паче, что он, командуя до сего украинскими ландмилицкими полками, никому почти был не известен и не было о нем никаких выгодных и громких слухов. Самые те, которых случай допускал его лично знать, не могли о нем ничего иного расспрашивающим сказывать, кроме того, что он был хотя весьма добрый человек, но старичок простенький, никаких дальних сведений и достоинств не имеющий и никаким знаменитым делом себя еще не отличивший.

Мы увидели его прежде, нежели армия, ибо ему ехать туда через Кенигсберг надлежало. Нельзя изобразить, с каким любопытством мы его дожидались и с какими особыми чувствиями смотрели на него, расхаживающего пешком по нашему городу. Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане, без всяких дальних украшений и без всех пышностей, ходил он по улицам и не имел за собою более двух или трех человек в последствии**. Привыкнувшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не понимали, как такому простенькому и по всему видимому

---

*См. примечание 16 после текста.

**Идущими за ним, в свите.

ничего не значащему старичку можно было быть главным командиром толь великой армии, какова была наша, и предводительствовать ею против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, храбростию, проворством и знанием военного искусства. Он казался нам сущею курочкою, и никто не только надеждою ласкаться, но и мыслить того не отваживался, чтоб мог он учинить что-нибудь важное, столь мало обещивал нам его наружный вид и все его поступки. Генерал наш хотел было по обыкновению своему угостить его великолепным пиром, но он именно востребовал, чтоб ничего особливого для его предпринимаемо не было, и хотел доволен быть наипростейшим угощением и обедом. А сие и было причиною, что проезд его через наш город был нимало не знаменит и столь не громок, что несмотря хотя он был у нас два дня и исходил пешком почти все улицы, но большая половина города и не знала о том, что он находился в стенах оного. Он и поехал от нас столь же просто, как и приехал, и мы все проводили его хотя с усердным желанием, чтоб он счастливее был искусного Фермора, но с сердцами весьма унылыми и не имеющими никакой надежды, — столь невеликое и невыгодное мнение мы об нем имели.

По отбытии сего нового начальника принялись мы за свои прежние дела и упражнения: генерал — за свои разъезды по гостям и частые посещения своей графини Кейзерлингши, канцелярские наши — за свои бумаги, писанья и дела, а я — за свои переводы, читанье, рисованье и другие любопытные

дела и упражнения. Охота к ним увеличивалась во мне со дня на день, а особливо с того времени, как случилось мне однажды побывать в доме у одного старичка, прусского отставного полковника, великого охотника до наук и до всяких рукоделий и художеств. Тут-то в первый еще раз случилось мне видеть, как живут сего рода люди и каково у них в домах бывает чисто и прибористо. Старичка сего удавалось мне видеть уже давно, и я не один раз встречался с ним на улице, ибо он живал в одной со мной улице и нередко хаживал мимо моих окон. Но мне и на ум никогда не приходило, чтоб был он столь великим любителем наук и художеств, как узнал я после, а дивился я только всякий раз его странному одеянию и походке. При всей старости своей был он всегда так чопорен и свеж, как бы лет в сорок, и какая бы погода ни была, но всегда видал я его в шляпе, всегда напудренным, в странном паричке, и всегда в старинном прусском мундире с долгими и ситами* набитыми широкими полами, из которых одну носил он всегда приподнятую левою рукою и приложенною плоскостию своею к животу. Самым сим странным обыкновением своим и отличался он от всех прочих людей и делался приметным, и как никто не знал и сказать мне не мог, для чего б он полою своею всегда живот прикрывал, то и почитал я его каким-нибудь чудаком или сумасшед-

---

*Сит, куга — растение, идет на плетенье: подкладывалось в полы мундиров, чтобы полы торчали.

шим. Однако, побывав у него, мысли свои об нем весьма переменил и инако стал думать.

Случилось сие ненарочным образом. Однажды повстречался я с ним не один, а идучи вместе с помянутым господином Орловым, графом Швериным и еще одним нашим поручиком, человеком богатым и также весьма любопытным и великим охотником до наук, называющимся Федором Богдановичем Пассеком. Господам сим был он более знаком, нежели мне, а особливо графу Шверину. Сей последний не успел его завидеть, как, протягивая ему руку, возопил:

— Ах, господин полковник! Милая, любезная старина! Все ли вы находитесь еще в добром здоровье? Так давно уже об вас не слыхать, — продолжал он, пожимая ему руку. — Все ли вы еще живы? Все ли по-прежнему упражняетесь в своих хитростях и искусствах? В добром ли здоровье все ваши машины и инструменты?

Старичок усмехнулся на сие, пожал дружески графу руку и сказал:

— В добром, в добром, господин граф! И все к вашим услугам.

— О, когда так, — подхватил граф, — то не можно ли опять сделать мне удовольствие и показать ваши упражнения? У нас есть, сударь, люди, — продолжал граф, — которые охотно хотели б оные видеть.

Сими словами целил он на товарищей своих Орлова и Пассека. Сему последнему в особливости сего хотелось, и он давал ему взорами знать, чтоб убедил он старика учинить сие тогда же и показать нам все

свои хитрости, а графу не великого труда стоило преклонить к тому престарелого артиста. Старик хотя и поупорствовал несколько, извиняясь недосугами своими, а отчасти говоря, что и все нынешние его упражнения не так важны, чтоб стоило их смотреть, но, по просьбе графа, принужден он был на то согласиться и повесть нас к себе в дом, в ту ж самую минуту.

По приведении к оному хотел было он нас ввести в нижние свои жилые комнаты и наперед чем-нибудь угостить, но граф и товарищи его не восхотели того и говорили, что не за тем к нему пришли, чтоб его озабочивать угощением, а хотят, чтоб вел их прямо в свою рабочую и мастерскую комнату, и тогда почти нехотя принужден был наш старик лезть вверх по крутой лестнице и просил нас последовать за ним. Тут нашли мы превеликую комнату, заставленную и загомощенную* всю множеством всякого рода машин, орудий и инструментов. Не было почти нигде праздного места, и мы с трудом могли протесниться к маленькому столику, стоявшему подле окна и самому тому, за которым он более сиживал и в делах своих упражнялся. Он начал тотчас суетиться и, приискивая последние свои работы, показывать гостям, а я между тем имел несколько минут свободного времени для обозрения его комнаты и всех вещей, в ней находящихся.

Не могу изобразить, с каким ненасытно-любо-

---

*Заваленную.

пытным оком перебегал я с одного предмета на другой и с какою жадностью пожирал все своими глазами. Превеликое множество находилось тут таких вещей, каких я еще отроду не видывал и о которых не имел еще никакого понятия. Были тут токарные разных манеров станки, были полировальные машины, было множество разных физических, оптических, математических и механических инструментов и орудий. Была огромная библиотека, множество всякого рода зрительных труб, зажигательных зеркалов, микроскопов, глобусов, карт, естампов*, разложенных книг и развешенных по стенам железных пил, долот, резцов и всякого рода рабочих орудий и инструментов. Все сие составляло для меня новое и такое зрелище, которого я не мог довольно насмотреться; и хотя все сии многочисленные вещи стояли, лежали и висели тут без всякого малейшего порядка, все были запылены и не в приборе, все разметаны почти кое-как, но я любовался ими более, нежели драгоценными убранствами, и охотно б согласился пробыть у него целый день и все перебрать и пересматривать, если б только то было мне можно и когда б только хозяин согласился мне все показывать и обо всем рассказывать подробно. Но, к крайнему моему сожалению, сего-то самого и учинить было не можно. Я составлял самую меньшую и всех маловажнейшую особу из посетителей и потому принужден

---

*Эстамп — резная или травленная на меди или стали и отпечатанная на бумаге картина.

был довольствоваться тем только, что показывано было моим товарищам, и слышанием того, что хозяин говорил с ними. Со мною же не удалось ему и одного слова промолвить, ибо время было так коротко и поспешание товарищей моих так велико, что ему не удалось и самим им сотой доли из всего того показать, что он имел и что бы мне видеть и узнать хотелось. К вящей же досаде моей, и о самых тех вещах, которые он успел им показать, говорено было в такую скользь и так коротко, что я ничего почти понять не мог. Сие в состоянии было только любопытство мое возбудить, а нимало не удовольствовать, и я с крайним нехотением пошел вслед за товарищами своими, спешившими тогда иттить в гости, и помышлял уже отстать от них и воротиться к милому и почтенному старичку, чтоб познакомиться с ним короче, но и сие мне не удалось. Старик вышел вслед за нами со двора и замкнул свою комнату, а что мне было досаднее, что сколько ни ласкался я надеждою познакомиться с ним впредь и убедить его просьбою показать мне и растолковать все и как ни надеялся узнать и научиться от него многому, но мне с сего времени не удалось его более и видеть. Ему случилось вскоре после того уехать куда-то к родственникам своим в деревню, и там, как после я услышал, окончил он жизнь свою.

Со всем тем случай сей произвел мне много пользы. Я не только получил о многих незнакомых мне до того вещах некоторое понятие, но снискал чрез то знакомство с помянутым г. Пассеком, бывшим до того мне незнакомым, ибо как они во все

обратное свое путешествие беспрестанно говорили о сем старике, превозносили похвалами его любопытство и трудолюбие и дивились множеству его машин и инструментов, то вмешался и я в их разговор. А при сем случае не успел я изъявить сожаления своего о том, что они недолго у него пробыли и что мне не удалось многого такого видеть, что узнать весьма бы мне хотелось, как самое сие и побудило г. Пассека спознакомиться со мною короче. Сей был из всех их любопытнейшим, и как он таковое ж любопытство приметил и во мне, то сие и побудило его узнать меня покороче, почему и свел он со мною тотчас знакомство и, расставаясь, просил меня приттить когда-нибудь к себе, говоря, что когда я так любопытен, то и он может показать мне что-нибудь достойное моего зрения и любопытства.

Сего я и не преминул чрез несколько дней после того сделать и могу сказать, что посещением сим был крайне доволен. Я нашел у него то, чего всего меньше ожидал. Он был хотя простой поручик в нашей службе, находившийся тогда тут по некакой порученной ему комиссии, но я не знал, что он имел великий достаток, был знаменит родом, знаком между большими господами и употреблял тогда множество денег на доставание драгоценных книг, всяких машин и инструментов. Я нашел у него первых уже нарочитое собрание, а из последних никоторая меня так не удивила и не удовольствовала, как электрическая. У него-то в первый раз отроду случилось мне увидеть сию чудную машину, сделавшуюся потом мне столь много известною, и он-то подал мне об

ней первейшее понятие. Нельзя изобразить, с каким любопытством я ее тогда рассматривал и как много удивили меня получаемые от ней искры и удары, также и другие разные делаемые ею эксперименты. Машина сия была у него хотя староманерная, с малым пузырем и большим колесом для вращения и пред нынешними весьма еще несовершенная и занимавшая собою почти целую комнату, однако стоившая ему немалых денег и производившая очень сильное и хорошее действие. Она мне так полюбилась, что я расславил ее между всеми моими знакомыми, и не проходило почти недели, в которую бы я у него не побывал и не приводил с собою многих других для смотрения как оной, так и микроскопов и других физических инструментов, а особливо воздушного насоса, которые он также имел и с особливым удовольствием нам опыты свои показывал. Но жаль, что пребывание сего человека у нас в Кенигсберге было недолговременно: он тем же летом от нас отбыл, и я с того времени его уже не видал. Он был родной брат тому Пассеку, который был после наместником в Смоленске.

Около самого того ж времени спознакомился я и с другим нашим офицером, который служил капитаном, но не в полевых полках, а в артиллерии. Звали его Иваном Тимофеевичем и был он из фамилии господ Писаревых и уроженец из самого того Каширского уезда, из которого и я был, следовательно, был прямой мой земляк и сосед по деревням. Сему человеку случилось по делам несколько раз бывать у нас в канцелярии и со мною кой о чем разговаривать, и как он во мне, а я в нем приметил во

многом одинакие склонности и согласие в мыслях, то сие не только познакомило, но и сдружило нас очень скоро. Он полюбил меня отменно, а и я почувствовал к нему не только любовь, но и самое почтение, чего он был и достоин. Он был гораздо меня старее, любил читать книги, почитался степенным и порядочным человеком, приобрел от всех к себе почтение и не любил говорить о безделье, а все о делах и делах хороших и слушания достойных, — а поелику и я не менее любил упражняться в таких же разговорах, то самое сие и связывало нас дружеством, продолжавшимся многие годы сряду. Однако около сего времени было знакомству нашему только первейшее начало, ибо вскоре после того отъехал он в армию.

Что касается до канцелярских моих знакомых, то и к ним прибавилось около сего времени еще двое, ибо как письменные дела стали час от часу умножаться, по причине, что генералу нашему поручены и все бывшие в Пруссии войска в команду, то нужна была для сего особая воинская экспедиция, а потому для управления оною и определены были два офицера: один поручик Козлов, по имени Савва Константинович, мужик толстый, простой, но довольно изрядный и меня скоро полюбивший, а другой подпоручик Насеткин, вышедший в офицеры из полковых писарей и составлявший самую приказную строку. Почему с сим человеком имел я только шапочное знакомство, ибо характеры наши были слишком между собою различны; к тому ж и по делам не было у меня с ним никакой связи, да и сидели оба они в других и сеньми от нас отделенных покоях, а сверх

того и не обедывали с нами вместе у генерала, а хаживали на свои квартиры.

Кроме вышеописанных упражнений, имел я в сие лето еще одно особливое. Молодежи нашей восхотелось ко всем обыкновенным увеселениям присовокупить еще одно, а именно — составить российский благородный театр. К сему побудились они наиболее тем, что бывшая у нас зимою банда комедиантов уехала в иные города, и театральные наши зрелища уже с самой весны пресеклись, и театральный дом стоял пуст. Итак, вздумалось господам нашим испытать составить из самих себя некоторый род театра. Первейшими заводчиками к тому были: помянутый господин Орлов, Зиновьев и некто из приезжих и тогда тут живший, по фамилии господин Думашнев. Не успели они сего дела затеять и назначить для первого опыта одну из наших трагедий, а именно «Демофонта»*, как и стали набирать людей, кому бы вместе с ними представлять оную. Но сие не так легко можно было учинить, как они сперва думали. Людей надобно было много, а способных к тому находили они мало. Те, которые бы могли согласиться, были не способны, а из способных не всякий хотел отважиться на сие дело и восприять на себя не только великое бремя, но и самовольно подвергнуться потом критике и суждениям. Мне сделано было предложение от них еще с самого начала и одному

---

*Трагедия в стихах в 5 действиях М. В. Ломоносова. Написана в 1752 г. по заказу. Кроме «Демофонта» Ломоносовым тоже по заказу написана в 1750 г. другая трагедия — «Тамира и Селим».

из первых, но я сам долго боролся сам с собою и не имел столько духа, чтоб на сие необыкновенное для меня дело отважиться, и не прежде на желание их согласился, как по многой и усиленной от всех их просьбе. Правда, я имел к тому уже некоторое приготовление. Стоючи еще в Эстляндии на зимних квартирах, полюбил я трагедию «Хорев»* и не только почти всю наизусть выучил, но и научился порядочно и декламировать речи, и потому дело сие было мне отчасти уже знакомо, а сие много и помогло тому, что я согласился взять на себя одну роль. Со всем тем, как мне никогда еще не случалось видеть представлений российских трагедий, то дело сие, а особливо по несмелости и застенчивости моей, казалось мне очень дико, и если б не помогло к тому несколько то, что в минувшую зиму неоднократно случалось мне видеть немецкие трагедии, то едва ль бы я дал себя к тому уговорить.

Коликого труда стоило им набрать мужчин, толикого же или несравненно множайшего требовалось к отысканию способных к тому женщин. Надобны были для трагедии сей две и, к несчастию, обе молодые, а мы из всех бывших в Кенигсберге русских госпож не могли отыскать ни единой. Наконец с великим трудом уговорена была к тому бригадирша Розенша, пребывавшая тогда в Кенигсберге. Боярыня сия была русская, но уже немолодая, а что всего хуже — до-

---

*Трагедия А. Б. Сумарокова, напечатанная в 1747 г. и положившая начало его литературной известности. Успех, выпавший на долю «Хорева», содействовал развитию интереса к театральному искусству и оказал влияние на основание постоянного театра.

родная и совсем неспособная к представлению любовницы. Но нужда чего не делает. Мы и той уже были рады; но как другой не могли никак отыскать, то решились, чтоб употребить к тому мужчину. К сему избран был один из товарищей наших, а именно упоминаемый мною прежде родственник и товарищ г. Орлова, г. Зиновьев. Молодость, нежность, хороший стан и самая красота лица сего молодого, любви достойного человека побудили всех упросить его взять на себя роль любовницы, и как он на то согласился, то для бригадирши Розенши определена была роль наперсницы, чем она была и довольна.

Сим образом, набравши всех потребных к тому людей, принялись мы за дело. Тотчас расписаны и розданы были всем роли, и тотчас все начали их учить и твердить наизусть. Мне досталось нарочито великая, однако я прежде всех вытвердил. Не могу и поныне еще без смеха вспомнить, как много занимала меня сия роля и с каким рвением и тщанием я ей учился. Не однажды бывало, что я, запершись один в своей квартире, прокрикивал по нескольку часов сряду, ходючи взад и вперед по своей комнате; не однажды случалось, что и в самую ночь, вместо спанья, протверживал я выученное и старался тверже и тверже впечатлеть все в память. Когда же я дело свое кончил и всю свою ролю выучил, то чувствуемое мною удовольствие я уже никак изобразить не могу. Я возмечтал о себе неведомо что и начинал уже сам турить* товарищей своих, чтоб они скорее

---

*Побуждать, подталкивать.

роли свои вытверживали; ибо как о себе я уже нимало не сомневался, но надеялся твердо, что я ролю свою сыграю хорошо, то пылал я уже нетерпеливостью, чтоб начатое нами дело скорее совершилось. Однако не то вышло, что мы думали и чего ожидали. Обстоятельствам вздумалось вдруг перемениться: произошли некоторые несогласия между соучастниками в сем предприятии, и вся наша пышная и великолепная затея, как мыльный пузырь, лопнула и так рано, что многие еще и половины своих ролей не успели вытвердить. Не могу изобразить, с каким чувствительным огорчением узнал я о сем нечаянном всего нашего дела разрушении. Я получил известие о том от г. Орлова.

— Знаешь ль, Болотов, мой друг, какое горе? — сказал он мне, пришедши одним утром к нам и меня обнимая. — Ведь делу-то нашему не бывать, и оно разрушилось!

— И! Что ты говоришь? — воскликнул я поразившись. — Возможно ли?

— Точно так, — продолжал он, — и ты, мой друг, уже более не трудись и роли своей не тверди.

— Вот хорошо! — возопил я. — Роли своей не учи; да она у меня уже давно выучена, и поэтому все труды и старания мои были напрасны. Спасибо!

— Ну, что делать, голубчик! Так уже и быть, я сам о том горюю, у меня и у самого было много выучено; но что делать, произошли обстоятельства, и обстоятельства такие, что нам теперь и помышлять о том более уже не можно.

— Но какие же такие? — спросил я.

— Ну, какие бы то ни было, — сказал он, — мне сказать тебе того не можно, а довольно, что дело кончилось и ему не бывать никогда.

Сказав сие, побежал он от меня как молния, что так я остался в превеликом изумлении и на него досаде. Со всем тем он был в рассуждении сего пункта так скромен, что я и после сколько ни старался, но не мог никак узнать ни от него, ни от других о истинной тому причине. Все прочие отговаривались, что сами не знают, а он знал, а говорил только всем, что ему сказать не можно, почему и остался я в совершенном неведении, что собственно разрушило сие предприятие, и не знаю того даже и поныне.

Вскоре после сего случилось мне, вместе с ними же и с помянутою госпожою бригадиршею Розеншею, быть в кенигсбергской жидовской синагоге, или сонмище, и видеть их богослужение. Зрелище сие было для меня новое и никогда еще до сего времени не виданное, и я смотрел оное с особливым любопытством и вниманием.

Знатность бригадирши Розенши и графа Шверина была причиною тому, что не воспрепятствовано было нам войтить в сей дом молитвы в самое то время, когда отправлялось у них богослужение и все сие здание наполнено было множеством народа. Было сие во время самой Петровской ярмонки и тогда, когда весь город наполнен был многими сотнями жидов польских. Синагога была каменная, нарочитого пространства и могла помещать в себе множество людей. Мы нашли ее уже всю наполненную народом, но не отправляющим еще свое служение, и как мне

в сей раз удалось видеть оное с самого начала до конца, то и могу я описать оное, так и самую синагогу в подробности.

Здание сие составляло порядочный продолговатый четвероугольник и снаружи украшено (было) немногими архитектурными украшениями, но без всякого сверху купола или какого возвышения сверх кровли; внутри же не имело ни малейшего украшения. Все встретившееся с зрением нашим при входе состояло в едином только возвышенном, аршина на полтора от полу, осьмиугольном амбоне*, сделанном посреди сего дома и огороженном вверху низеньким парапетцем. Весь сей амбон не имел более четырех аршин в диаметре и для всхода на него снабжен с боков двумя лесенками по ступеням. По обоим сторонам сего амбона были сплошные лавки для сиденья, такие точно, какие делаются в церквах лютеранских, но с тою только разностию, что стенки, преграждающие оные, были повыше и такой пропорции, чтоб стоящему в лавках человеку можно было об них облокотиться. Сими лавками заграждено было все внутреннее пространство сего здания, и проход оставлен был только в середине, шириною аршина на три. Также было несколько просторного места и впереди, где в прочих церквах делается обыкновенно алтарь, но в жидовских синагогах тут ничего не было похожего на алтарь или на престол, и сие потому, что синагога их не есть собственно их церковь или

* Амвоне.

храм, которого они нигде не имеют, а единственно только род дома, назначенного для сходбища евреев, для воспевания хвалебных песней и псалмов Богу и для поучения себя чтением Священного писания. Почему и сделан у них в передней стене, между окон, некоторый род небольшого внутри стены шкапа или ниша, завешенного небольшою занавескою, и тут хранятся у них книги их Священного писания Ветхого завета, написанные, по древнему обыкновению, на пергаментных свитках. В сих двух или трех вещах, то есть амбоне, лавках и шкапе, состояли все внутренние украшения синагоги их, а четвертую вещь составляли просторные хоры, сделанные у задней стены при входе, сокрытые со стороны от синагоги столь частою решеткою, что не можно было никак всех стоящих на хорах видеть. Хоры сии, составляющие совсем особое отделение и не имеющие со внутренностию синагоги никакого сообщения, назначены у них для женщин, и как сии не должны у них никогда входить туда, где стоят и сидят мужчины, то и вход на хоры сии сделан особый и не снутри, а снаружи здания.

Мы нашли все помянутые лавки наполненные сидящими людьми, из которых иные были с отверстыми главами, а другие имели их покрытыми некоего рода шелковыми разноцветными фатами или покрывалами. Все сидели с крайним благоговением и кротостью, и не было во всем сонмище ни малейшего шума и крика. Нас провели и поставили посредине подле самого помянутого амбона, и тут произошло у нас нечто смешное. Помянутая бывшая с нами

бригадирша Розенша, не зная, не ведая, на что у них сделан был помянутый амбон, а считая оный не чем иным, как местом для знатных особ, следовательно, и для стояния и себе приличнейшим и спокойнейшим, будучи столь неблагоразумна, что и, не спросив никого, вздумала вдруг взойтить на оный и занять себе место. Боже мой! Какой сделался в самую ту минуту во всей синагоге шум, ворчанье, ропот и негодование! Все обратили на нее глаза свои, и многие повскакали даже с мест своих и не знали, что делать. Для их и то уже было крайне прискорбно и неприятно, что одна женщина дерзнула войтить в их сонмище. Они и на то смотрели уже косыми глазами, но по знатности ее не смели воспрекословить; но увидев ее взошедшею на место, которое почитали они священнейшим, пришли в крайнее смущение и беспокойство. Несколько человек, и как думать надобно, из их старейшин, без памяти почти подбежали к нам, стоящим на полу подле амбона, и наижалобнейшим и униженнейшим образом, кланяясь и указывая на бригадиршу, просили нас уговорить ее сойтить долой.

— Ах, царские же, царские databродеи! — говорили они нам, прижимая к сердцам свои руки. — Ах, это не треба, это не треба!

Но мы не допустили их долго беспокоиться и шепнули госпоже бригадирше, чтоб изволила она сойтить вниз, но она и сама, приметив волнение, произведенное ею во всем сборище, была столь благоразумна, что сошла тотчас вниз и вежливым образом просила себя извинить в том, предлагая свое незнание, и сие успокоило тотчас все собрание.

Вскоре после сего началось у них богомолие. Оное состоялось в пении псалмов всем собранием на еврейском языке. Но тут не только госпожа бригадирша, но чуть было и все мы не наделали крайнего дурачества. Всем нас превеличайшего труда стоило, чтоб удержать себя от смеха и от того, чтоб не захохотать во все горло: так смешно показалось нам их богомолье. Оно и подлинно имело в себе, а особливо для нас, не привыкших подобное видеть, много чрезвычайного и смешного. Не успел главный их раввин затянуть пение своего псалма, как все сидевшие в лавках повскакивали с своих мест и, покрывшись своими покрывалами, сделались власно как сумасшедшими: они топали ногами, махали руками, кривляясь всем телом качали головами и в самое то ж время произносили такие странные визги, вопли и крики, что мы принуждены были почти зажать свои уши, чтоб избавить слух свой от такой странной и необыкновенной музыки. Одним словом, шум, крик и вопль сделался во всей синагоге столь превеликим, и кривлянье всех было столь странно и смешно, что некоторые из нас действительно не могли никак удержаться от смеха; да и для прочих зрелище сие было крайне поразительно, и мы не перестали тому дивиться до тех пор, пока не растолковали нам, что по еврейскому закону долженствует Бога хвалить не только устами своими, но и всеми членами и что видимое нами кривляние и стучание ногами есть производство сей священной должности.

Сие успокоило нас несколько и принудило спокойно дожидаться конца сего крайне нескладного и про-

тивного для слуха пения. После сего увидели мы, что делано было приуготовление к некакой процессии или ходу. Несколько человек, вышедши из своих лавок, построились с благоговением рядом пред помянутым шкафом. Мы с любопытством смотрели, что будет, и увидели потом старшего раввина, подошедшего с почтением к шкапу, отдернувшего занавеску и с превеликим благоговением вынимающего оттуда свитки Священного писания, написанные на пергаменте и обернутые в дорогие штофы*. Он возлагал оные на головы подходящих к нему помянутых людей и принимающих оные с великим почтением. Потом, в предшествии его самого, понесли они их один за другим процессиею вокруг всех лавок и взнесли потом на помянутый амбон. Тут приготовлен уж был некоторый род низенького столика, покрытого драгоценною материею. На сем развертывали они один свиток за другим и по несколько времени читали в каждом из них писание во все горло и торкая** пергамент странным образом превеликими раззолоченными указками, точно такими, какие употребляются в наших простых школах учащимися грамоте ребятишками, но только несравненно величайшими. Сие зрелище было для нас также забавно и увеселяло нас даже до смеха. Но каково ни трудно было нам воздерживаться от смеха, а особливо видя их смешное указывание, однако мы имели столько духа, чтоб дождаться конца сего странного и с пре-

*Материи.

** Дотрагиваясь, тыкая.

великим кривляньем, коверканьем, взыванием и вопияньем соединенного чтения. По окончании оного отнесены были сии свитки с такою же церемониею и при всеобщем пении опять назад и положены попрежнему в шкаф и задернуты занавескою, а тем и кончилось все богомолье, и все стали расходиться по домам, что увидя, вышли и мы из сего жидовского сонмища, поблагодарив наперед старейших за доставленное нам удовольствие.

Сим кончилась тогда наша прогулка; и как письмо мое уже велико, то окончу я сим и оное, сказав вам, что я есмь ваш, и прочая.

В КЕНИГСБЕРГЕ

*ПИСЬМО 78-е**

Любезный приятель! Между тем как армия наша возвращалась из своего похода и, расположась на прежних своих квартирах, от трудов своих отдыхала, а командиры помышляли о приуготовлении всего нужного к новому походу и к продолжению войны сей, мы в Кенигсберге продолжали жить по-прежнему, весело и в удовольствии. Не успела начаться осень и длинные зимние вечера, как возобновились у нас по-прежнему балы и маскарады. Первые бывали хотя и во все продолжение лета, однако не так часто, как осенью и зимою, ибо в сии скучные годовые времена не проходило ни одной недели, в которой бы не было у нас бала и танцев, без всякого праздника или

---

*В опущенных письмах 74, 75, 76, 77-м Болотов рассказывает о жизни на новой квартире, книжных аукционах, чеканке в Кенигсберге русской монеты и излагает дальнейший ход военных действий. Пруссаки потерпели поражение от французов и приступили к пополнению армии. Русские одержали победу при Одере и соединились с австрийской армией. Последовавший разгром пруссаков при Кунерсдорфе вселил уверенность в возможность взятия Берлина.

особливого к тому повода, например, проезда какого-нибудь знатного боярина или генерала. Для сих обыкновенно делываны были у нас балы, а в праздничные и торжественные дни заводились многочисленные маскарады либо у губернатора в доме, либо по-прежнему, для множайшего простора, в театре. В сем наиболее бывали только маскарады, и мы впервые еще научили пруссаков пользоваться театрами для больших и многочисленных собраний и, делая над всеми партерами вносимые разборные помосты, превращать оные в соединении с театром в превеличайшую залу. Для меня самого было сие новое зрелище, и я сначала не понимал, как это делали, и удивился, вошед в маскарад и не узнавши почти того места, где были партеры. Одни только ложи доказывали прежнее его существование. Но самые сии и придавали маскараду наиболее пышности и живости, ибо все они наполнены были множеством зрителей и всякого народа, которого набиралось такое множество, что было для кого наряжаться и выдумывать разнообразные одежды. В сих старались тогда все, бравшие в увеселениях сих соучастие, друг друга превзойтить, и можно сказать, что в выдумках и затеях сих не уступали нимало нам и пруссаки, а нередко нас еще в том и превосходили.

Кроме балов и маскарадов, нередко занимались мы и самым театром. Комедианты не преминули опять, как скоро наступила осень, к нам приехать и увеселяли нас своими прекрасными представлениями, а кроме сих посетил нас в сию осень и разъезжающий по всему свету эквилибрист, или

балансер, и увеселял несколько раз всю нашу небольшую публику на театре показыванием нам своего искусства в фолтижированье и балансировании разном. Сие зрелище было для меня также новое и никогда еще до сего времени не виданное, и я не мог оному довольно насмотреться и надивиться тому, как может человек делать такие удивительные изгибы и перевороты и так правильно держать себя в равновесии.

Итак, судя по частым и разным увеселениям сим, можно было тогдашнюю мою жизнь почесть прямо веселою. Она и была действительно такова и была бы для нас еще и приятнее, если б только генерал наш не посыпал иногда все наши забавы и удовольствия перцем и инбирем и в наилучшие наши веселости не вливал желчи по своему беспутному и до бесконечности горячему нраву. Несчастный характер его с сей стороны не можно довольно изобразить. Я упоминал вам уже прежде о странном и удивительном свойстве нашего начальника, почему почитаю повторять то за излишнее, а скажу только то, что все мы к браням и ругательствам его наконец так привыкли, что не ставили почти оные ни во что и вместо досады смеивались только, выходя из судейской, и друг пред другом хвастались тем, что более ли или менее раз были в тот день бранены. И к удивлению всех не знающих, посторонних людей нередко, сидя в канцелярии, спрашивали друг у друга, был ли кто в тот день в канцелярии и сколько раз, что значило: был ли кто в судейской и бранен ли был от генерала. И тогда иной говорил:

— Вот, слава Богу, я еще сегодня не был ни разу.

А другой, вздохнув, говорил, что он уже раза три или четыре побывал в оной. Что касается до меня, то я хотя по должности моей и всех прочих меньше имел с ним дела, потому что все мои переводы и бумаги входили в руки к секретарям и советникам, а не к нему, однако принужден был и я пить такую же горькую чашу, как и все прочие, и хотя не так часто, как другие сотоварищи мои, однако претерпевать иногда также брани и ругательства. Поводом к тому бывало наиболее то обстоятельство, что он нередко употреблял меня вместо своего адъютанта. Всякий раз, когда ни случалось сему прихворнуть, а сие случалось довольно часто, принужден я был нести его должность, а особливо в праздничные и торжественные дни, и, разъезжая по всему городу, развозить поклоны, а накануне тех дней сзывать на бал или на обед все тамошнее дворянство. Сзывания и рассылки сии бывали иногда так велики, что и обоим нам с адъютантом едва доставало времени всех объездить и все нужное исполнить. И при таких-то случаях и терпели мы оба от генерала превеликие иногда брани, ибо как он был не весьма памятлив, то, позабыв, что иное приказал мне, нападает невинным образом на адъютанта; а иногда, приказав что-нибудь ему, а увидев меня, начинает спрашивать о том у меня, и как незнанием станешь оправдываться, то тогда и пойдет потеха, и мы только успевай слушать его брани и ругательства. В самых даваемых приказаниях бывал он как-то не всегда памятлив и постоянен. Часто случалось, что

иного он совсем не приказывал, а после взыскивал, для чего было не сделано; когда же ему скажешь, что он того не изволил и приказывать, то бранил и ругал, для чего мы ему того не напомнили. А нам как можно было узнать, что у него на уме и что ему помнить надобно. Словом, взыскивания и брани, а временем и самые ругательства его были столь напрасны и мы претерпевали их столь невинным образом, что имели тысячу причин вовсе оные не уважать и вместо досады за то всему тому только смеяться, а особливо ведая, что брани сии никакого последствия не возымеют, но генерал, несмотря на все сие, остается к нам столь же благорасположенным, как был и прежде.

Кроме сего, имел я в сию осень паки перетурку*. Не успела армия возвратиться из своего похода и расположиться на кантонир-квартирах, как полковник нашего полку не преминул возобновить опять требование меня обратно в полк, и от нового фельдмаршала тотчас прислано было о том повеление Корфу. Сие меня паки перетревожило ужасным образом и тем паче, что от генерала нашего требованы были уже неоднократно переводчики от Сената и присылки оных со дня на день ожидали. Но как сего и по самое сие время еще не воспоследовало, то сие обстоятельство, а сверх сего благосклонность ко мне и генерала, и всех наших канцелярских и нехотение всех расстаться со мною и помогло мне и в сей раз от армии благополучно

---

*От перетурить — перегонять с места на место.

отделаться; ибо, несмотря на присланное повеление, ответствовано было, что без меня обойтиться никак было не можно, что требованные переводчики еще от Сената не присланы и что затем я и не отправлен, а оставлен при отправлении моей прежней и важной должности.

Сие удержание меня еще на некоторое время в Кенигсберге было мне тем приятнее и произвело мне тем больше удовольствия, что чрез самое короткое после того время приехали и отправленные уже давно к нам переводчики. Были все они студенты из московского университета, и их вместо двух требуемых генералом прислали к нам ровно десять человек, с тем намерением, что по оставлении из них сколько для губернской канцелярии будет надобно всех прочих отдать нам чему-нибудь учиться. Я вострепетал духом, о сем услышав, и почитал уже то неизбежным, что меня тогда тотчас уже отправят в армию так, как и писано было к фельдмаршалу. И мне не миновать уже бы того и действительно, ибо и генерал, и оба советники наши уже помышляли о том и говорили уже с первым секретарем нашим, если б не помешало тому бездельное и по-видимому ничего не стоящее обстоятельство и не помогло к тому, что я, несмотря и на сие, оставлен был еще на несколько времени, к неописанной моей пользе, в Кенигсберге. Обстоятельство сие было следующего рода.

Помянутому первому секретарю нашему г. Чонжину случилось где-то и каким-то образом увидеть сестру того несчастного пилавского почтмейстера Вагнера, который сослан был по некоторому подозрению от нас в тайную канцелярию в Петербург,

а оттуда уже в Сибирь в ссылку отправлен и который, чрез изданное после о себе в свет жизнеописание, сделался всему свету известен. Девушка сия была тогда лет восемнадцати и собою хотя не красавица, однако и недурна. Но, как бы то ни было, но она имела счастье или несчастие помянутому секретарю нашему понравиться и его так собою очаровать, что она не сходила у него с ума, и он положил во что б то ни стало, а преклонить ее к себе к любви, что ему каким-то образом и удалось. Я всего того не знал и не ведал, ибо как я и в рассуждении самого себя всего меньше о таких делах помышлял, то о постороннем заботиться и узнать мне и того меньше было нужды, а сделалась мне сия любовная интрига потому только известна, что как секретарь наш не умел ни одного слова по-немецки, а она по-русски, а обоим им нужно было почти всякий день переписываться или посылать друг к другу небольшие записочки или билетцы. Секретарю же нашему хотелось дело сие производить сколько-нибудь скрытнее, потому что он был уже женат и тогда в скором времени ожидал приезда к себе и жены своей, то и нужен был ему в сем случае посредник, который бы его записочки переписывал на немецком языке для отправления к ней, а ее, присылаемые к нему, переводил ему на русское. И кому иному можно было комиссию сию исправлять, как не мне? Он на меня ее уже за несколько времени перед тем и навалил, и не хотевшего того сперва делать и входить в такие глупые и дурные сплетни умел убедить своими просьбами и обещаниями заслужить мне то самому впредь, что я наконец волю его, хотя с край-

ним нехотением и всегдашним негодованием, и согласился выполнять и, переводя их небольшие, но можно сказать с обоих сторон наиглупейшие записочки, делал ему превеликое удовольствие.

Но как бы то ни было, но услуга сия мне крайне сгодилась при помянутом случае; ибо как секретарю нашему с сей стороны я сделался крайне нужным, то и не хотелось ему никак отпустить меня в полк, но он, имея в генерале великую силу, стал и без всякой моей о том просьбы и домогательства генералу представлять, что меня отпустить еще никак не можно, потому что из всех десяти человек присланных к нам студентов, по деланным испытаниям всем оным, не нашелся из всех их ни один, который бы мог сколь-нибудь исправлять то, что исправляю я в канцелярии, но что все они столь мало умеют по-немецки, что их надлежало еще отдавать сему языку учиться.

Сие было отчасти и сущая правда, ибо они все хотя и учились в Москве по-немецки, но, не имея практики, казались столь незнающими, что сначала и подумать было не можно о употреблении их в переводческую должность; хотя им чрез самое короткое время можно б было сделаться к тому способными, как то после и оказалось, но на тогдашний случай помогло мне их незнание. Генерал сам, испытав их несколько и увидев то же, тотчас на представление секретаря согласился, и я оставлен был попрежнему, а господам студентам велено было приискивать себе учителей и места, где бы им и чему учиться, что они и не преминули сделать и через короткое время разобрались по разным профессорам,

и иные стали штудировать философию, иные медицину, некоторые физику, а иные металлургию и так далее, а я остался опять один в канцелярии исправлять должность толмача и переводчика.

Вместе почти с ними приехали к нам для отправления письменных дел в канцелярии нашей и два юнкера, господа Олины. Они присланы были к нам на место отбывшего от нас секретаря Гаврилова, и были оба ребята молодые и родные братья между собою. Одного из них звали Яковом Ивановичем, а другого Александром. И как они сделались во всем нашими сотоварищами и приобщены были к свите генеральской и с нами не только всякий день вместе сидели и писали в канцелярии, но и обедывали у генерала, то и надобно мне сколько-нибудь упомянуть о их характерах.

Как оба они были дети какого-то богатого секретаря, но имели уже офицерские чины, то и вели они себя совсем не на подьяческой, а на дворянской ноге и якшались не с подьячими, а с нами. Оба они были еще не стары, и старшему не более 21 года, а другой был моложе его одним только годом. Оба весьма не глупы, но, кроме русской грамоты, оба ничего не разумели. Старший из них вел себя не только отменно чисто, но в скором времени сделался у нас почти первым щеголем и смешным и несносным петиметром*. Будучи собою недурен, возмечтал он о себе, что он великий красавец, и стал не только проживаться совсем на уборы и щегольство, но, что все-

*Французское — пижон, фат.

го смешнее, вздумал еще высокомериться собою и почитать себя и умнее всех на свете. Сие вооружило нас на него всех, ибо, сколько мы его не любили, но нам его высокомерие было несносно и мы, вместо искомого им себе от всех уважения, ему внутренно только смеялись.

Что касается до его брата, то сей был совсем отменного и лучшего характера: тих, дружелюбен, скромен, ласков, низок (?)* и столь склонен к узнанию всего того, что ему было неизвестно, следовательно, способен к научению себя всему, что мы его все любили. А особливо у меня с ним восстановилось скоро особливое дружество, которое со временем так увеличилось, что мы были наилучшими друзьями и препровождали время свое наиболее вместе.

Вскоре после того перетревожены мы были однажды в самую глухую и темную осеннюю ночь пожаром, случившимся у нас в нашем вновь основанном монетном дворе. Как оный был неподалеку от замка и на самой той улице, где я и имел свою квартиру и от меня недалеко, то перетревожен я им был в особливости и принужден был в полночь вставать, одеваться, бежать на сей пожар и помогать его тушить прочим. По особливому счастию, удалось нам не допустить его до усилия, но потушить в самом еще почти начале; однако не прошло без того, чтоб не распропало при том множество делаемой нами новой монеты, как готовой, так и не в отделанных еще кружках, которые принуждено было выносить

---

*Скорее всего, в смысле — незаметен.

все вон и таскать насыпанными вверх лотками. Сам наш генерал был на сем пожаре и не меньше всех нас старался о скорейшем погашении оного, поелику от сгорания монетного двора зависела великая важность.

Другой пожар, воспоследовавший через несколько дней после сего, был еще того важнее и хотя утушен также при самом еще своем начале, но навел нам премножество хлопот. Случился он быть в самой нашей канцелярии и также в глубокое ночное время, когда никого из нас в канцелярии не было, а одни только сторожа сидели в подьяческой и дожидались, покуда выйдет из судейской советник наш, господин Бауман, который, по многоделию своему и по прилежности, нередко просиживал один-одинехонек и прописывал до самой полуночи. Но в сей раз господа сторожа наши как-то оплошали и не слыхали, как он из судейской вышел, ибо из оной были двери особые в генеральские комнаты, где он живал, но, считая его все в судейской, не озабочивались нимало и об оной и о свечах, господином Бауманом оставленных горящими; да и он как-то в сей раз оплошал и вышел вон, не позвонив и не приказав сторожам потушить свечи. Но как бы то ни было, но случилось так, что от одной свечи отстрекнул кусочек горящей еще светильни и, по несчастью, попал на лежащие на столе во множестве разные бумаги. Сии тотчас начали от сего гореть и полыхать и в немногие минуты наделали столько дела, что нам целую зиму досталось много потрудиться. Целая половина стола с превеликим множеством накладенных на него важнейших бумаг, полученных не только от фельдмар-

шала и других генералов, но и от самого двора и от Сената из Петербурга, сгорели, отчасти все, отчасти наполовину, и вся судейская наполнилась таким множеством дыма, что в нее войтить было не можно. К особливому несчастию, сторожу, сидевшему в подьяческой, случилось в самые сии минуты вздремать, и он до тех пор не узнал о сем пожаре, покуда чадом и смрадом не наполнилась уже отчасти и подьяческая и оный не разбудил его, дремавшего. Тогда бросился он в судейскую и вострепетал, увидев всю ее наполненную дымом, а судейский стол весь в огне и в пламени. Он бросился тушить и поднял такой крик, что перетревожил всех в замке. Сам генерал, услышав о пожаре сем, прибежал туда без памяти, и его столько сей случай раздосадовал, что он занемог от сердца.

Но признаться надобно, что и было за что сердиться, ибо погорело множество преважных бумаг и, между прочим, немало и таких, по которым требовалось скорое исполнение, а тогда и исполнять было не по чему. Важны также были и рескрипты императрицы, и генерал наш неведомо как боялся, чтоб о пожаре сем, происшедшем от единой оплошности, не дошло сведения до самой императрицы, и тем паче, что на место сгоревших нужно было получить рескрипты новые. Но по особливому его счастию, всею тогдашнею так называемою конференциею, или верховнейшим нашим государственным советом в Петербурге, из которого рассылались всюду рескрипты или именные указы и подписываемы были не самою императрицею, а членами сего совета, управлял тогда свояк его, великий канцлер Во-

ронцов, и он мог его чрез письма убедить прислать на место всех сгоревших рескриптов копии с отпусков оных. А таким же образом, чрез дружеские и просительные письма, достал он копии с отпусков и других важнейших бумаг, полученных от фельдмаршала и других особ важнейших; прочие же сгоревшие бумаги принуждены были все мы заменять своими трудами и заняться несколько недель сряду все беспрерывным писанием.

Впрочем, сей случай побудил нашего генерала на предбудущее время принять лучшие меры для предосторожности и для отвращения подобных сему бедственных происшествий. Он приказал с сего времени, чтоб всем нам, канцелярским членам, по очереди в канцелярии дежурить и чтоб дежурным не только не отлучаться ни на один час днем из канцелярии, но чтоб и ночевать в оной, и тем паче, что последнее весьма нужно было и по причине проезжающих очень часто и в армию и из армии курьеров. Все они являлись обыкновенно к нам в канцелярию и завозили письма, а для сих нужно было, хотя бы то случилось в самую полночь, иттить к генералу и его будить, если б найтить его спящим.

Но самая сия предосторожность едва было не произвела у нас в канцелярии другого пожара, и сей чуть было не произошел нечаянным образом от самого меня. Причиною тому было самое помянутое дежурство, которое должен был и я отправлять наряду с прочими. Все мы обыкновенно спали в судейской, приказывая приносить туда свои постели. Итак, однажды как мне случилось тут ночевать и

для бывшей тогда стужи приказать постелю себе постлать на стоящем подле самой печи сундуке, то каким-то образом свисла тулупа моего, которым я одет был, одна пола в узкий промежуток между печью и сундуком. Печь сия была кафельная, тонкая, горячая до самого полу и топилась, по немецкому обыкновению, из сеней. И как сторожу нашему, по причине тогдашней стужи, вздумалось встать гораздо поранее и судейскую натопить еще до света, и он нимало не пожалел дров и наворотил ими ее до самого свода, то она, будучи тонкою, так раскалилась, что пола моего тулупа тотчас зачадила и, начав гореть, зажгла и простыню, и пуховик самый. Я, не зная того и не ведая, продолжал себе спать крепким и приятным сном и прожег бы благополучным образом и бок себе, если б также не услышал смрада и вони стоящий часовой в сенях и не сказал сторожу, чтобы он посмотрел, отчего так воняет. И сей-то, прибежав и не меньше прежнего насмерть испугавшись, разбудил уже меня, не менее сего странного случая испужавшегося. Но, по счастию, кроме моего тулупа и простыни, не сгорело ничего; и случилось сие так рано, что мы успели выпустить в двери смрад и заглушить его так курительным порошком, что никто о том, кроме секретарей наших, не узнал, которые, любя меня, не захотели доводить дела сего до нашего бешеного генерала, от которого и без того несколько дней сряду перед тем принужден я был, совсем невинным образом, терпеть ежедневно брани и гонку.

Повод к тому подавало неудовольствие, сделанное нашему генералу от зимовавшего тогда у нас в Ке-

нигсберге и командовавшего всеми тут бывшими батальонами генерала графа Петра Ивановича Панина. Не знаю, каким-то образом и чем-то таким проступился он против нашего генерала, с которым до того была у него всегдашняя дружба. По наружности дело касалось только до квартир, но мы, по великости происшедшей между ними за сущую безделку ужасной ссоры и распри, заключили, что надлежало быть какой-нибудь потаенной еще причине. Но как бы то ни было, но мне, по несчастию, случилось быть переносчиком делаемых обоими ими друг другу немилосердных браней и ругательств; ибо как адъютанту нашему случилось в сие время занемочь, то принужден был я, исправляя его должность, несколько дней сряду, и раза по два и по три в день, ходить к помянутому генералу и переносить от генерала нашего к нему, а от него к генералу нашему такие комплименты, какими истинно едва ли и сами бурлаки и фабричные друг друга когда потчивают. Словом, препоручения сии составляли тогда для меня не только наитруднейшую, но тем и досаднейшую комиссию, что я принужден был со стороны, и за чужие грехи, терпеть от генерала нашего брани и ругательства, ибо всякий раз, посылая меня к господину Панину, приказывал сказывать такой нескладный и до бесконечности обидный для того вздор, какого без смеха слышать было не можно, и, отпуская, накрепко приказывал пересказывать ему все дело точно такими словами, то, подумайте сами, можно ли мне было выполнять в точности его повеление и ругать армейского и тогда очень важного генерал-поручика самыми скверными браньми? Нет,

я сего никак не делал, но, идучи всякий раз к нему, во всю дорогу вымышлял и выдумывал умереннейшие и такие выражения, которые хотя бы и неприятны были сему генералу, но не так бы могли его сердить. Все мое студирование оставалось почти всякий раз бесполезным, ибо как и сей в перебранках не менее того был вспыльчив, бешен и горяч, то как ни позлащал я присылаемые к нему пилюли, но он не успевал их увидеть, как приходил в сущее бешенство и в тот же миг насказывал мне столько нелепых браней и ругательств для обратного пересказывания господину Корфу, что я не в состоянии бывал и десятой доли их упомнить. Да правду сказать, я о том всего меньше и старался, ибо сколько и сей не оставлял мне раз по пяти подтверждать, чтоб ответ его пересказан был генералу моему точно теми словами, какими он говорил, однако у меня и на уме того не было, а я и его ответы также переливал в другую и лучшую форму. Но несчастие мое было то, что иногда не можно было никак столь искусно перелаживать на иной лад, чтоб не могли они с обоих сторон догадаться, что я не все то пересказываю, что приказываемо было, или пересказываю совсем инако, а за сие самое и терпел я от моего генерала ужасные брани и ругательства. Но я хотел охотнее переносить невинным образом сам, нежели точным пересказыванием всех их речей ссору их увеличивать еще более и в пламя оной подливать еще масло и спирт и доводить их до вражды смертельной между собою; а я рассудил за лучшее лить в пламя сие воду и оное тушить и уменьшать стараться, в чем и удалось мне успеть к собственному моему, а не менее

и к обоюдному их удовольствию. Ибо, как выдумывая для пересказывания им умереннейшие и менее обидные слова, помышлял я сам собою и о том, какими бы уступками друг другу и чем бы удобнее можно было им распрю сию прекратить, то, походив помянутым образом взад и вперед, решился наконец я преподать им к тому мысли, всклепав, будто бы я слышал то, хотя не от самого генерала, а от других, при нем находящихся; а сею выдумкою мало-помалу и посократил их взаимную друг на друга досаду и огорчение и побудил наконец действительно сделать друг другу будто желаемые ими самими снисхождения, а в самом деле мною, единственно для пользы их и прекращения ссоры их, выдуманные и им искусно предложенные, и через самое то прекратить их ссору.

Но я удалился уже от повествования о наших пожарах и, возвращаясь теперь к ним, скажу, что вышеупомянутым третьим, случившимся у нас в канцелярии, дело еще не кончилось, но они были на нас в сию осень и зиму власно как напущенные. И после сего случился еще один и хотя не правский, а почти совсем ложный, но произведший по себе пагубные и весьма печальные последствия.

Случилось сие в один зимний воскресный день и в самое то время, когда генерал наш, по случаю бывшего в тот день викториального празднества, давал превеликий стол всем лучшим в Кенигсберге находившимся особам и сидел с ними еще за обедом, хотя уже час третий был после полудня. Впереди, описывая замок сей, в котором жил тогда наш губернатор, между прочим упоминал я, что

весь задний фас оного, противоположный тому, где жил губернатор, составляла превеликая и огромная кирка, или немецкая церковь. Как в приходе у оной были все лежащие вокруг замка кварталы, то и собиралось в кирку сию в каждое воскресенье и в каждый праздничный и торжественный день превеликое множество обоего пола народа, сколько для отправления божественной службы, а наиболее для слушания проповедей, которые тут, как в главной церкви, сказываемы были всегда хорошие, и гораздо лучшие, нежели в других местах. И кирка сия была так счастлива, что всегда набита народом, и не только по утрам, но и после обеда, ибо надобно знать, что у лютеран в праздничные дни бывает и после обеда такая же служба, как и до обеда.

Сим образом случилось и в сей раз кирке сей и вторично уже быть наполненною превеликим множеством людей обоего пола и состояний различных, ибо было тут сколько низких и подлых, а того еще более зажиточных и хороших кенигсбергских жителей. К вящему несчастию, имели все они особливую побудительную причину сойтиться в нее в сие послеобеденное время. За год до того случилось одному из тутошних пасторов и любимейшему всеми ими, говоря проповедь, завраться и проболтать некоторые неприличные слова против нашей императрицы. О сем узнало тотчас наше правительство, и пастор сей терпел за то превеликое истязание и целый год находился под арестом и под следствием. Все считали его погибшим, но монархине нашей, по милосердию своему, угодно было вину его простить, и повеление

о выпуске его из-под ареста получено было дня за три только до сего времени. И как всем прихожанам и всему городу сделалось сие известным, а равно и то, что он в сей день после обеда вознамерился было тут на кафедре и сказывать проповедь, то обратился почти весь город и собрался для слушания сей проповеди. Но что ж и какое несчастие случись во время самой оной?

У кенигсбергских зажиточных жительниц есть обыкновение в зимнее холодное время носить с собою в церковь особливые медные и наподобие плоских ларчиков сделанные сосудцы, наполненные жаром. Сии сосудцы, или согревательницы, усевшись в своих лавках, становят они у себя под ноги и под подол, и как они и сверху и с сторон делаются скрытыми, то опасности от огня быть не может, а тепла производят они собою много и согревают с избытком нежных пруссачек. Сим образом было и в сей раз множество женщин с таковыми точно медными и прекрасными коробочками, наполненными жаром, в сей кирке. И неизвестно уже заподлинно, по какому собственно поводу случилось одной из сих женщин, сидевшей посреди самой церкви во время продолжения проповеди, которую слушали все с великим вниманием, обратиться к соседке своей и, заворошившись, молвить словцо «фейер», что на нашем языке собственно значит «огонь». Обожглась ли она о свою коробочку, растворилась ли она и высыпался ли из ней жар, или так хотела она соседке сказать, что огонь в коробочке ее потух, — всего того заподлинно неизвестно, да и допытаться того в точности после не могли; а довольно только того, что упомянутое

выговоренное ею словцо услышали многие и другие, и из единого любопытства стали друг у друга расспрашивать, что б такое сделалось, и повторять словцо сие в тихих разговорах между собою. Как произошло от того небольшое шушуканье и друг у друга спрашивание, то к, особливому несчастию, и разнеслось слово сие в единый миг по всей церкви, и весь народ начал твердить: «Фейер! Фейер!» Теперь надобно знать, что самым сим словцом на немецком языке означают и пожар, и как в случае и пожара говорится у немцев только «фейер, фейер», то незнающие и не видавшие помянутого самого дела и возмечтали себе, что всеми говорено тогда было о сделавшемся в той церкви пожаре. Мысль сия вдруг поразила весь народ сперва смущением, а потом неописанным страхом и ужасом. Все, власно как смолвившись, в один голос закричали:

— Фейер! фейер! — Или: — Пожар, пожар!

И все, повскакав со своих лавок, побежали опрометью к дверям и выходам церковным. Сих выходов было только два, простиравшихся на площадь, внутри замка находящуюся, но оба они были столь просторны и имели пред собою хотя высокие сходы по ступеням, но столь спокойные и широкие, что без всякой нужды и в самое короткое время можно б было и из церкви выйтить всем, если б сколько-нибудь наблюдать порядок и не так спешить, как тогда все, сами не зная для чего и, прямо сказать, без ума, без разума, спешили, и самым тем произвели в обоих дверях и на обоих крыльцах такую тесноту и давку, какой себе никак вообразить не можно. А как от некоторых глупцов и бездельников разнеслась и

та еще молва, что под церковью все погреба наполнены от русских порохом и что хотят подорвать всю кирку и с пастором их на воздух, — то сколь вранье сие ни было сумасбродно и ни с чем не согласно, однако оно увеличило даже до того страх и ужас всех находившихся в церкви, что сии стали уже силою продавливать всех сквозь двери и чрез самое то, повалив множество людей, с крыльца сходящих, бросились сами бежать вон по упавшим без всякого разбора и рассмотрения. А другие, и особливо находящиеся на хорах и которым несколько лестниц сходить надлежало, так перетрусились и перепугались, что, не надеясь сойтить вниз по лестницам и выттить дверьми из церкви, спрыгивали с хор вниз на пол; а иные, перебив окончины* в окнах церковных, начали из них, несмотря на всю ужасную высоту, вниз по стенам на ближние кровли и на землю спускаться и от поспешности упадать, ломая у себя руки и ноги. Словом, смятение и давка, соединенная с шумом и криком, сделалась неописанная, и вопль, произносимый и выбегающими, и паки в церковь обратно для спасения сродников своих бегущими, сделался столь громок, что достиг до ушей самого генерала нашего, пирующего с гостьми своими в зале. И как ему на вопрос «Что это такое?» донесено было, что весь народ бежит что-то в беспамятстве из церкви, и в тот же еще миг другие прибегшие доносили, что в кирке сделался пожар, то все сие, а особливо то, всем нашим довольно известное обстоятельство, что

---

* Стекла.

под церковью сею в погребах действительно установлены были наши патронные и артиллерийские ящики и находилось в погребах сих множество пороха, так, как в цейхгаузе и в магазине, так смутило и устрашило всех пировавших, что они все повскакали с своих мест и опрометью побежали вниз и чрез площадь к дверям церковным, куда подоспела между тем и вся гауптвахта. Но ни она, ни мы все и ни самый генерал не мог ничего сделать с сим перепугавшимся и власно как с ума сошедшим народом. Ничто и никакие уверения, что пожара не было и нет никакого, не помогали нимало, а мы принуждены были дать волю странному происшествию сему кончиться само собою и слухи свои обратить к жалким воплям и стенаниям всех тех, кои имели несчастие в сумятице сей претерпеть какое-нибудь повреждение. Многие, выпрыгивая в окна, переломали себе руки и ноги; другие претерпели превеликие толчки и давление в тесноте бывшей; у иных разорвано было платье, иные в кровь изранены; многие растеряли свои шляпы и трости и другие вещи; а иные, попавши под ноги бегущим, были немилосердно изуродованы и так издавлены ногами, что лежали почти без движения. А одна молодая девушка была так несчастна, что в тесноте задавили ее, упавшую и попавшую под ноги бегущим, совершенно до смерти. Сие несчастие поразило всех нас крайним об ней сожалением. И сожаление сие увеличилось еще более, когда услышали мы, что она была не кенигсбергская жительница, а приезжая из уезда в гости к родственникам своим, и была одна только дочь у отца и матери и не только собою очень недурна, но хоро-

шего воспитания и доброго поведения и нрава. Бедные родители ее были безутешны о ее потере, и не только они, но и многие из зрителей не могли удержаться от слез, когда повезли ее от нас из замка.

Сим окончу я сие мое уже слишком увеличившееся письмо. И как сим приключением окончился и 1759 год, то в будущем расскажу, что происходило со мною в последующем за сим годе, а между тем остаюсь ваш и прочая.

КЕНИГСБЕРГ

ПИСЬМО 79-е

Любезный приятель! Как святки, так и начало 1760 года праздновали мы обыкновенным образом — многими увеселениями, и генерал наш, будучи до них охотник, а сверх того для любовных своих интриг с графинею Кейзерлингшею имея в том нужду, в сей раз не удовольствовался даванием у себя несколько раз больших обедов, а по вечерам балов и маскарадов, но восхотел еще в Новый год увеселить всех своих знакомых и друзей, а вместе с ними и всю кенигсбергскую публику иллюминациею как таким всенародным зрелищем, которое в немецких городах бывает очень редко. И потому, хотя вся сия иллюминация ничего почти не значила и была самая маленькая и иллюминирована была тогда только решетка и ворота двора, перед замком находившегося, но для пруссаков было уже и сие в великую диковинку, и народ, собираясь в великом множестве, не мог ей довольно насмотреться и ею довольно налюбоваться.

Впрочем, как всю ее делали не наши, а тамошние мастера и жители, то имел я случай видеть, как делаются иллюминации в землях иностранных

и какая превеликая разница находится между их иллюминациями и нашими. У них совсем не употребляются ни разными красками раскрашенные фонари, из каких у нас составлялись в тогдашние времена наипрекраснейшие иллюминации, ни такие глиняные и салом налитые плошки, из каких делаются у нас простые иллюминации; но вместо сих наделано было из жести несколько тысяч маленьких ночников или плоских лампадцев, и все они наливаны были маслом конопным, и горело не сало, а масло. Сими установлены были все каменные столбы решетки, также и сама она по прибитым еловым брусочкам и по укрытии наперед всех столбов и решетки еловою хвоею или ветвями, а на верхушках столбов утверждены были хрустальные шары, наполненные разноцветными подкрашенными водами. И как позади шаров сих поставлены были также помянутые жестяные плошечки, то и казались они какими-то драгоценными круглыми камнями, и хотя делали вид, но очень малый и почти неприметный. Самые же ворота заставлены были прозрачною и по холстине намалеванною картиною, но сработанною столь с намерением сим несогласно и дурно, что вся она не заслуживала ни малейшего внимания; и как из сей картины и помянутых плошек и десятков двух помянутых стеклянных шаров состояла и вся иллюминация, то и вся она не составляла дальней важности.

Вскоре за сим имел я удовольствие видеть одного гишпанского знатного боярина, проезжавшего через Кенигсберг в образе полномочного посла к

нашему двору. Начитавшись в книгах о гишпанских знатных господах, не сомневался я, что найду его и в натуре таковым, каковым изображало мне его мое умовоображение; но как удивился я, пришед к нему от генерала нашего с поздравлением и с поклоном и нашед маленького, сухощавого, ничего не значащего человеченца и притом еще обритого всего со лба до затылка чисто-начисто и умывающего в самое то время не только лицо, но и всю свою обритую голову превеликим шматом* грецкой губки! Зрелище сие было для меня так ново и так поразительно и смешно, что я чуть было не рассмеялся; но, по счастию, господину маркизу того было неприметно, ибо при входе моем сидел он на стуле, держал пред собою великий таз с намыленною водою, а камердинер его, ухватя в обе руки помянутый шмат грецкой губки, тер ему изо всей силы и лицо и всю голову, и тот только что поморщивался. «Ну! Нечего сказать, — подумал я сам себе тогда. — Что город, то норов, и пословица сия справедлива».

Посол сей ехал к нам в Петербург от нового гишпанского короля с извещением о вступлении его на престол, и мы приняли и проводили его с приличною сану его честью...

...Между тем как армия и правительство помянутым образом приготовлялись к новым военным действиям, мы продолжали жить по-прежнему в Кенигсберге и все праздное время, остающееся от дел,

---

*Куском.

употреблять на увеселения разного рода. Что касается собственно до меня, то мне с 7 октября минувшего года пошел уже двадцать второй год моей жизни, и я начинал уже мыслить постепеннее прежнего. Характер и склонности мои час от часу развертывались и означались более. Охота моя к литературе и ко всем ученым упражнениям не только не уменьшилась, но со всяким днем увеличивалась более, и можно было уже ясно видеть, что я рожден был не для войны, а для наук и что натура одарила меня в особливости склонностью к оным. И самая отменная склонность сия причиною тому была, что я далеко не употреблял всего своего праздного времени на одни только увеселения и забавы, но употреблял большую часть оного себе гораздо в лучшую пользу. Я препровождал оное отчасти по-прежнему в чтении немецких книг, отчасти в переводах и переписывании оных набело, а отчасти занимался красками и рисованием. Однако в сем последнем упражнялся я только временно, кой-когда и на досуге и понемногу, также и перевел только небольшой немецкий роман под названием «Приключения милорда Кингстона» и переписал перевод сей набело, хотя и сей был еще весьма плоховат и того нимало не стоил*. А величайшее мое занятие было чтение: в оном углублялся я от часу более, и всегда находили меня окладенного множеством книг, не только дома, но и в самой кан-

* «Приключения милорда, или Жизнь молодого человека, бывшего игралищем любви». Популярный в то время французский роман. Болотов сделал перевод романа на русский язык с немецкого перевода.

целярии. Но читал я и в сей год, как выше упомянуто, не одни уже романы и сказочки по-прежнему, но мало-помалу стал уже привыкать и к нравоучительным и степенным книгам. И как, по особливому счастию, сии мне с самого начала не только не наскучили, но отменно полюбились, то с сей стороны можно сей год почесть уже весьма достопамятным в моей жизни, ибо с начала оного начал я сам себя образовать, обделывать свой разум, исправлять сердце и делаться человеком.

Ко всему тому очень много помогло мне то, что попались мне в руки хорошие нравоучительные сочинения, и между прочим нравоучительное рассуждение господина Гольберга*. Сему славному датскому барону и сочинителю я очень много в жизнь свою обязан. Он почти первый сочинениями своими вперил в меня охоту к нравоучению и прилепил меня так сильно к оному, что мне захотелось уже и самому, по примеру его, сделаться нравоучителем. За сие и поныне имею я к сему, давно уже умершему мужу особливое почтение и с особливыми чувствиями смотрю на его портрет, в одной книге у себя найденный.

Немало же обязан я в жизни своей и славному лейпцигскому профессору Готшеду**. Сей начальными своими основаниями философии не только спознакомил меня вскользь и со всеми философскими науками, но и вперил первый охоту к сим высоким

---

* См. примечание 17 после текста.

** См. примечание 17 после текста.

знаниям и проложил помянутыми книгами своими мне путь к дальнейшим упражнениям в сей ученой части. Многие и разные еженедельные сочинения, издаванные в Германии в разные времена и в городах разных, попавшись мне также в руки, помогли не только усилиться во мне склонности к нравоучению, но спознакомили меня и с эстетикою, положили основание хорошему вкусу и образовали во многих пунктах и ум мой, и сердце. Я не только все сии журналы с особливым усердием и удовольствием читал, но многие пьесы из них, которые мне наиболее нравились, даже испытывал переводить на наш язык и в труде сем с особливым удовольствием упражнялся. И сочинения сего рода мне столь много полюбились, что некогда и самого меня предприять нечто подобное тому и произвесть дело, которое едва ли кому-нибудь в свете произвесть с толиким успехом довелось, как мне, как о том упомянется в своем месте.

Но никому из всех немецких сочинителей не обязан я так много в жизнь мою, как господину Зульцеру. Он так, как я уже и прежде упоминал, обоими маленькими и свету довольно известными книжками о красоте натуры спознакомил меня первый с устроением мира, влил в меня охоту к физическим знаниям и научил узнавать, примечать и любоваться красотами и прелестьми натуры и чрез самое то доставил мне в последующие потом дни, годы и времена бесчисленное множество веселых и драгоценных минут в жизни, каковыми и поныне (1790 г.) и даже в самой своей старости пользуюсь.

Со всеми сими и многими другими полезными книгами и лучшими немецкими сочинениями спознакомила меня отчасти помянутая библиотека, доставлявшая мне книги для чтения, отчасти товарищи мои, немецкие канцеляристы, а отчасти и книжные аукционы. На сии продолжал я с такою ревностью ходить, что не пропускал из них ни единого и не возвращался никогда на квартиру, не принося с собою по нескольку книг, купленных на оных. От сего самого начала уже около сего времени стала формироваться у меня порядочная библиотека, и было у меня книг уже под сотенку и более, но все они стоили мне очень недорого. Однако нельзя сказать, чтоб не покупал я кой-когда и новых. Всякий раз, когда ни случалось мне узнать какую-нибудь новую и полезную для себя книжку, как бегивал я в книжную лавку и, купив, отсылал к моему переплетчику, и работник его нередко принашивал ко мне целые кипы книг, вновь переплетенных.

Впрочем, побуждало меня много к множайшему занимаиию себя книгами и науками и знакомство, сведенное с присланными к нам из Москвы студентами. Все они были не вертопрахи и не шалуны, а прилежные и к наукам склонные молодые люди; и как они штудировали и учились у разных профессоров и к нам нередко хаживали в канцелярию, то и был мне случай всегда с ними о ученых делах говорить и как им сообщать свои занятия, так и от них пользоваться взаимными, и я могу сказать, что я в образовании своем много и им обязан.

Между сими учеными упражнениями, занимавшими, можно сказать, величайшую часть моего времени, не оставлял я иногда жертвовать некоторую частию оного и другим увеселениям и забавам, однако не таким, какими занимались множайшие из сверстников моих, другие офицеры, но благородным и позволительным. В зимнее и осеннее время захаживал я на какие-нибудь четверть или полчаса в трактир, но не для мотовства и бесчиния какого, а единственно для того, чтоб велеть напоить себя кофеем или чаем, а между тем философическим оком посмотреть на людей разного состояния, в них находящихся и в разных играх и упражнениях время свое провождающих. Иногда читал я там новейшие и разные иностранные газеты, а иногда с товарищами своими, немцами, садился за особый столик, составляя свой собственный и неубыточный ломберок и играя не для прибытка, а для увеселения единого. Временем же бирал и кий и сыгрывал партию, другую с кем-нибудь из знакомых своих в биллиард, и также не для выигрыша какого, а для единого увеселения. Однако все сие случалось не всякий день, но очень редко.

Напротив того, в летнее время уже гораздо чаще хаживал я по публичным садам, а особливо в праздничные и воскресные дни после обеда, и в них в сообществе не наших, а смирных и кротких кенигсбергских жителей препровождал всегда с особливым удовольствием время. Чашка чаю или кофея и трубка табаку составляли все мое мотовство в оных; что очень редко, брал соучастие и в самой неубыточной игре в кегли. Иногда же, хотя сие и редко

случалось, выезжали мы, сговариваясь с кем-нибудь, вместе и за город или хаживали пешком по нескольку верст за ворота городские.

Наилучшие таковые прогулки бывали у нас в сторону к Пилаве* и вниз по реке Прегелю, по берегу оной. Дорога была тут широкая, гладкая, возвышенная, осажденная с обеих сторон ветлами и имеющая по одну сторону реку Прегель, текущую почти прямо и покрытую всегда множеством судов, а по другую сторону — низкие и ровные луга, пересеченные также кое-где рядами насажденных лоз. Плывущие по реке малые и большие суда, белые, распростертые их паруса, разноцветные флаги или шум от весел плывущих на гребле, а с другой стороны бесчисленное множество всякого скота, стрегомого на лугах в отдалении; самый город, сидящий отчасти на горе, отчасти на косогоре; многочисленные его красные черепичные, а инде зеленые и от солнца иногда, как жар горящие, кровли домов высоких; королевский замок, возвышающийся выше всех зданий на горе, и четвероугольною и высокую башнею своею особливый и некакой важный вид представляющий; высокие и остроконечные колокольни церквей, видимых в разных местах между бесчисленными домами; зеленые валы крепости Фридригсбергской, по левую сторону реки и при выходе из города находящейся; целый лес из мачт судов многих, украшенных флюгерами и вымпелами разноцветными; многие

* Пилау — гавань Кенигсберга.

огромные и превысокие ветряные мельницы, подле вала в городе и на горѐ воздвигнутые, — все, все сие представляло глазам в сем месте приятное зрелище, а особливо по отшествии по сей дороге версты две или три. Вся она в праздничные и воскресные дни испещрена бывала множеством гуляющих людей обоего пола; во многих местах поделаны были скамейки для отдохновения оных, а в некоторых местах находились небольшие домики, составляющие некоторый род трактиров, ибо гуляющим можно было в них заезжать, заходить и в них доставать себе купить молоко, яйца, масло, колбасы, сыры и прочее тому подобное, а для питья — пиво, вино, а в иных самый чай и кофей. И все такие домики всегда нахаживал я наполненные многими людьми, но нигде и никогда не видал я какого-нибудь бесчиния и шума, а все было тихо, кротко и хорошо, так что мило было смотреть и можно было всегда с приятностью провождать свое время.

Упоминание о сей прогулке приводит мне на память и езду мою в сие лето гулять в сии места на шлюпке. Подговорили меня к сему наши канцелярские секретари и сотоварищи, а их взялся сим образом по реке катать один из наших морских офицеров. Я тем охотнее на уговаривание их вместе с ними ехать согласился, что давно уже не езжал по воде, а на шлюпках и никогда еще не случалось мне кататься. Но, о как досадовал я сам на себя после, что дал себя уговорить ехать с ними вместе. Никогда не позабуду я сей прогулки и того, как много настращался я во время оной. Уже

одно и то заставило меня раскаиваться, когда я, приехав с ними в один и самый отдаленнейший из упомянутых домиков, увидел, что главное намерение их было то, чтоб тут, на свободе, по наречию их говоря, погулять, а по-просту сказать — попьянствовать и побуянствовать прямо по русскому манеру.

Покуда мы плыли вниз по реке и не столько гребли, сколько несомы были вниз стремлением реки, до тех пор все еще я веселился и скоростью плавания, и встречающимися с глазами моими разными и невиданными еще до того предметами, ибо я так далеко никогда за город не езжал. Но не успели мы доехать до помянутого домика и войтить в оный, как потащили в него из нашего суденышка целые дюжины бутылок разных вин и напитков.

« Э! э! э! — возопил я тогда сам в себе, сие увидев. — Так затем-то мы сюда ехали! Но волен Бог и они, а я им не товарищ и пить с ними никак не стану».

Я и сдержал действительно сие слово, ибо сколько они меня ни уговаривали, сколько ни убеждали и как ни старались даже приневоливать, но я никак не согласился на их просьбы и желания и не хотел никак также из ума почти выпиться, как они. Но сколь же много мне все сие стоило! Все они даже рассердились на меня за то, но я всего менее уважал их гнев и сердце, а желал только, чтобы скорее приблизился вечер и погнал их обратно в город. Наконец сей и начал приближаться, но они так распились, что сколько я им

ни предлагал, что пора домой ехать, но они не помышляли о том, ибо бутылки не все еще были опорожнены. Наконец насилу-насилу осушили они все оные и решились ехать обратно; но тут как поразился я страхом и ужасом, когда увидел реку, вместо прежней гладкости и тишины, всю покрытую страшными волнами, ибо между тем, покуда они помянутым образом пили, погода переменилась и поднялся превеликий ветер снизу и произвел в реке превеликое волнение. Я, имея издавна отвращение от воды и боясь всегда по оной ездить, обмер тогда, испужался и не знал, как мы по таким страшным волнам поедем. Ежели б были мы не так далеко от города и было не так поздно, то решился б я тотчас, оставив их, иттить пешком до города; но как мы удалены были от оного более десяти верст и притом наступил уже вечер и никакого народа по дороге уже не было, то о том и помыслить было не можно, но я принужден был вместе с ними опять, но с замирающим уже сердцем, садиться в шлюпку. Что касается до них, то как им, пьяным, казалось самое море по колена, то вместо страха и боязни они только смеялись мне и называли меня трусом. Я им дал уже волю говорить, что хотят, а помышлял только об опасности и молил Бога о том, чтоб нам доехать благополучно.

Но сколь опасность ни казалась мне велика, но я и в половину ее такою себе не воображал, каковою после я ее увидел; ибо не успели мы отвалить от берега и выбраться на середину реки, как опьянившийся наш первый секретарь, как главная всей про-

гулки особа, сам себя почти не помня, морскому офицеру закричал:

— Брат и друг! Вели-ка поднять парус и пустимся на нем. Видишь, брат, какой прекрасный ветер, мы тотчас приедем!

— Хорошо! — сказал офицер сквозь зубы и замолчал после, но матрос, правивший рулем, подхватил:

— Не опасно ли, сударь, будет, и чтоб не опрокинуться нам: ветер слишком велик?

— Вот какой вздор! — закричал наш Чонжин. — Поднимай-ка парус-от скорее!

Я обмер, испужался, сие услышав от матроса, и ужас мой еще больше увеличился, когда и сам офицер нехотя стал приказывать поднимать парус.

Но как изобразить мне тот ужас, которым поразился я, когда по поднятии паруса все пересели на одну сторону и шлюпку повалили совсем на бок и кричали, чтоб пересаживался и я скорее так же, как они. Мне сего обыкновения вовсе было неизвестно, и как я на шлюпках никогда на парусах не езживал, да и не видывал, как ездят, то и не ведал я, что так и надобно, а потому обмер, испужался, увидев один борт или край шлюпки почти до самой воды прикоснувшимся и загребающим почти воду. Я, позабыв все, кричал, вопил, почитал себя уже погибшим, карабкался и хватался за сопротивный борт и, почитая всякую минуту уже последнею в моей жизни, призывал всех святых на помощь; просил и умолял товарищей моих, чтоб они сделали милость и выпустили меня на берег; и я хотел уже, несмотря ни на что, иттить хоть

всю ночь один пешком, — но все сие было тщетно. Они все только смеялись и хохотали надо мною, называли меня трусом и малодушным и говорили, что мне это за то, для чего я упрямствую и не хотел никак их просьб и уговариваниев слушать и в питье их делать им компанию.

Тысячу раз проклинал я тогда и шлюпку, и офицера, и всю свою охоту и желание покататься на шлюпке и тысячу раз раскаивался в том, что не остался на береге и не пошел пешком в город; но все сие было уже поздно. Но я более получаса препроводил в неизобразимом ужасе. И не знаю, что со мною было б, если б сама судьба не похотела меня от того избавить, ибо приди так называемый шквал или род вихря и погнуло так сильно нашу шлюпку, что она действительно чуть было в волнах не зарылась и не опрокинулась со всеми нами, и если б искусство и расторопность кормчего не помогла, — то купаться бы нам всем и погибать в реке Прегеле. Сами господа наши, пьяные рыцари, как ни храбровали до того времени, но как бортом захватило уже и воды несколько в нашу шлюпку и она нас всех перемочила, то соскочил и хмель с них долой, и они закричали все в один голос, чтоб опускали скорей парус и принимались бы по-прежнему за весла, и не отрекались вместе с прочими выливать воду из шлюпки шляпами и чем ни попало. А сие и положило всему страху и опасению моему предел, ибо погода как была ни велика, но мы на веслах доехали до города благополучно. Со всем тем, выходя из шлюпки, заклинал я сам себя, чтобы впредь никогда и

ни под каким видом на ней подобным образом не ездить.

Сим кончилось тогда сие происшествие, а сим кончу и я письмо мое, предоставив дальнейшее повествование письму последующему; а между тем остаюсь и прочее*.

КОНЕЦ СЕДЬМОЙ ЧАСТИ

---

* В опущенных последних трех письмах седьмой части Болотов рассказывает о ряде празднеств в Кенигсберге, о продолжении своего самообразования путем чтения книг, о своей дружбе с лейтенантом Тулубьевым, оказавшим, видимо, на него большое влияние и проч. В одном из писем Болотов, между прочим, сообщает о своем производстве в поручики.

ПРИМЕЧАНИЯ

Составлены П.А. Жаткиным.
Переработаны И.И. Кравцовым.

К стр. 9.

[1] Турецко-крымский вопрос был одним из важнейших вопросов внешней политики России XVIII в. Он особенно обострился при Анне Иоановне, когда Турция вмешивалась в польские дела и устраняла русское влияние в Польше и в Крыму. Кроме того, черноморские степи привлекали к себе беглых крепостных: из дворянского хозяйства уходили рабочие руки; с другой стороны, юг сулил земельные богатства и пути вывоза хлеба за границу. Все это объясняет, почему так часты в XVIII в. турецко-крымско-русские войны. Это была политика растущего торгового капитализма.

Турецкая война 1735—1739 гг. началась для России большими поражениями, и только при поддержке Германии и Франции России удалось овладеть Хотиным (1 сентября 1739 г.). Но условия Белградского мира, которым закончилась война, были не блестящими: Россия вернула Турции Очаков и Хотин, отказалась от претензий на Крым, а получила

степи между Бугом и Донцом, которые и начала колонизировать, и право отправлять товары через Черное море на турецких судах.

К стр. 11, 13.

[2] Середина XVIII века была временем борьбы за престолонаследие: боролись две фамилии — Брауншвейгская, представителями которой были Анна Леопольдовна и Иоанн Антонович, а сторонниками Бирон, Миних и Остерман, и фамилия Романовых и Голштинская, представителями которых были Елизавета и принц Петр-Ульрих. В основе этой борьбы лежала борьба феодальной реакции и дворянства. В 1731 г. Анна Иоановна, желая утвердить престолонаследие в потомстве своего отца Иоанна Алексеевича, поддерживаемая феодальной реакцией, издала манифест о народной присяге наследнику и потом объявила им принца Иоанна Антоновича, сына ее племянницы Анны Леопольдовны. Регентом был объявлен Бирон. Но Бирон был свергнут Минихом, а Миних — Остерманом. Дворянская партия во главе с Шуваловыми и Воронцовыми при поддержке гвардейцев-дворян объявила 25 ноября 1741 г. императрицей Елизавету Петровну, дочь Петра I. Подготовить этот переворот помогло стремление Франции и Швеции освободиться от английско-прусско-австрийского влияния, которое поддерживала брауншвейгская фамилия. С французским послом Шетарди и шведским Нолькеном у Елизаветы было особое устное соглашение, по которому она обязывалась после

вступления на престол сделать целый ряд уступок Франции и Швеции. С восшествием на престол Елизаветы начинается дворянский период русской истории.

К стр. 11, 13.

[3] Русско-шведская война 1741—1743 гг. закончилась Абосским миром (в г. Або в Финляндии). Россия по этому миру получила Кюменегорскую область и город Нейшлот с округом, которых она добивалась, потому что они нужны были (как указывает Елизавета Петровна в особой записке) для сообщения с эстляндским и ингерманландским берегами. К Швеции отошла большая часть Финляндии.

Оказанная голштинской партии военная помощь привела к тому, что наследником шведского престола был объявлен Адольф-Фридрих, дядя наследника Елизаветы Петровны Петра-Ульриха (см. предыдущее примечание).

К стр. 13.

[4] Ревизии (переписи) в России начались очень рано. Первая перепись, о которой дошли до нас сведения, была предпринята татарами в 1245 г., — и затем переписи периодически повторялись, обнимая различные части территории страны. Переписи земель, имущества и населения производились с целью правильного распределения и взимания податей и налогов. Первая всеобщая перепись была произве-

дена при Петре (с 1719 по 1726 г.). Население, стараясь избежать податей и сборов, укрывало земли, имущество и «души». Вторая ревизия, о которой говорит Болотов, началась в 1743 г., а окончена в 1756 г. Целью ее было «пресечение доныне происходимым непорядкам и в платеже отбывательства, а паче, чтоб подушные деньги на содержание армии исправно доходили».

К стр. 49.

[5] Лейб-компания — название это было присвоено указом 31 декабря 1741 года гренадерской роте лейб-гвардии Преображенского полка, за содействие, оказанное ею при вступлении на престол Елизаветы Петровны (25 ноября 1741 г.), которая сама была капитаном этой роты. Елизавета щедро наградила лейб-компанцев поместьями, деревнями (из имений арестованных лиц, например, Остермана и др.), недворян возвела в потомственные дворяне, пожаловала большие денежные награды, присвоила им особую форму и герб с надписью «За ревность и верность». Петр III (указом от 21 марта 1762 г.) упразднил лейб-компанию. Екатерина II вновь приняла их на службу. При Елизавете в лейб-компанию зачисляли особо преданных людей.

К стр. 96.

[5а] Курас Гильмер — немецкий историк. Его книга по всеобщей истории, представляющая со-

бою рассказы по истории «от сотворения мира», была переведена на русский язык несколько раз. Болотов читал: «Введение в генеральную историю», изданное на немецком языке от Гильмера Кураса, на российский язык переведено канцелярии Академии Наук секретарем Сергеем Волчковым 1747 года. Книга эта была очень популярной в средине XVIII в.

«История принца Евгения» — неизвестного нам автора — посвящена описанию жизни и походов известного австрийского полководца принца Евгения Савойского (1663—1736). Поссорившись с Людовиком XIV, он покинул Францию и поступил на австрийскую службу. Участвовал в войнах с Францией, Турцией и Польшей. Он был талантливым полководцем, образованным человеком, имел богатейшую библиотеку. Его биография чрезвычайно интересна и богата. Все это объясняет увлечение Болотова «Историей принца Евгения», тем более что он был идеалом в военных кругах того времени.

К стр. 111.

[6] Ландмилиция — род территориального войска, существовавшего с 1713 по 1775 гг. Ландмилиция представляла собою крестьян-солдат, «сидевших на земле» по границам России и несших военно-пограничную службу. Первая ландмилиция была учреждена на южных границах («белгородская черта») для защиты их от набегов крымских татар. До 1722 г. она была пешею, а с этого года, когда

к ней были приписаны и однодворцы, она стала конною. В 1731 г. она получила название «украинской», в отличие от вновь организованной «закамской». В 1770—1775 гг. она слита с полевыми полками. Болотов имеет в виду украинскую ландмилицию, реорганизованную в 1736 г. в «Украинский ландмилиционный корпус». В эти войска шли не совсем охотно и поэтому в них легко было поступить.

К стр. 211.

[7] Вывоз русских льна и пеньки за границу начинает составлять большую статью в торговле с XVI в., в связи с развитием мореплавания. Областями, наиболее культивировавшими лен, были Псковская и Новгородская, где техника первичной обработки льна достигла высоких форм. Правительство заботилось о культуре и вывозе льна. Иван Грозный поддерживал льноводство, Петр I издал специальный указ об усилении производства льна для нужд флота (паруса), армии (одежда) и вывоза. В средине XVIII в. наблюдается большой рост вывоза льна и пеньки в связи с общим ростом русского экспорта. Повышение производительности мелкого и среднего помещичьего хозяйства в связи с переходом на оброк, появлением свободных рабочих — определило и рост торговли и внешнюю политику России (стремление к расширению рынков сбыта). Вывоз льна и пеньки и их поставка государству часто отдавались на откуп.

[8] Квинт Курций Руф — римский историк, живший в I в. нашей эры. Известен книгой об Александре Македонском («De rebus gestis Alexandri Magni»), которого он слишком переоценивает. Его сочинение, скорее литературное, чем историческое, страдает ошибками в хронологии, географии, но блестяще по языку, описаниям и характеристикам. «История об Александре Македонском» переводилась и переиздавалась на русском языке много раз (впервые в 1711 г.). Она читалась и в школе. Болотов увлекся книгой Квинта Курция как любитель истории и литературы.

К стр. 233.

[9] Выражение «слово и дело» было знаком раскрытия государственных преступлений, начиная с конца XVII в. Сказать на кого-нибудь «слово и дело« — значило обвинить его в «дерзновении против Бога и церкви» («по первому пункту») и «в оскорблении при знании намерений против государя и государства» («по второму пункту»). Государственными преступлениями при Петре ведал Преображенский приказ, а с 1731 г. особая Тайная канцелярия. Желание правительства приобрести более тайных агентов привело к злоупотреблениям формулой «слово и дело», к интригам и ложным доносам (ложные доносы карались весьма мягкими наказаниями). Слова «слово и дело» вызывали ужас, потому что по государственным делам применялись жестокие пытки. Тайная канцелярия уничтожена Петром III в 1762 г., а выражение «слово и дело» объявлено ничего не знача-

щим и запрещено к употреблению. Впоследствии функции тайной канцелярии перешли к другим учреждениям (Третьему отделению и проч.), а формула «слово и дело» была заменена. См. также историю с графом Гревеном, рассказанную Болотовым (том III, стр. 60—86).

К стр. 287.

10 «Жиль Блаз де Сантиллан» — сатирический «плутовской» роман знаменитого французского писателя Ален-Рене Лесажа (1668—1747 гг.). «Жиль Блаз» был одним из первых реалистических романов, явившихся на смену претенциозной, чувствительной литературе XVII — нач. XVIII вв.; он дал бытовой материал, сатирическое его освещение, новые темы и типы (низшие слои общества). «Жиль Блаз» — история приключений испанского крестьянина среди подонков общества, авантюристов. Болотов читал «Жиль Блаза», по-видимому, в немецком переводе, так как первые русские переводы романов Лесажа появляются с 1763 г. («Жиль Блаз из Сантилланы», «Хромоногий бес», «Гусман д'Альфараш», «Бакалавр Саламанкский»), — а покупка Болотовым «Жиль Блаза» относится к 1755 г.

К стр. 309.

11 Причины Семилетней войны (1756—1763 гг.) лежат в столкновении колониальных интересов Англии и Франции в Канаде. Так как Англия заклю-

чила соглашение с Пруссией, а Россия тяготела к Франции экономически и по личным симпатиям Елизаветы (проявление дворянской политики, боязнь захвата Пруссией остзейских провинций и ее влияния в Польше, а отчасти и типичное самодержавное самодурство XVIII в.), — то Россия оказалась противостоящей Пруссии. К России примыкали Австрия, Саксония и Швеция, сталкивающиеся в своих границах с Пруссией. В войне Англия субсидировала Пруссию, Франция — ее противников. Пруссия довольно легко вышла победительницей из войны. Большое значение имело и то, что со вступлением на престол Петра III, противодействовавшего дворянству, в России возобладали прусские симпатии.

Объяснения причин Семилетней войны, которые дает Болотов, слишком обывательские; обвинения противника в наглости, нападении, начале войны — обычное явление. Но общий смысл войны Болотов понимал; об этом говорят его патриотическое настроение и недовольство исходом войны, которая ничего не дала среднему и мелкому дворянину.

К стр. 321.

12 Апраксин Степан Федорович (1702—1758 гг.), граф, генерал-кригс-комиссар. Участвовал в турецкой войне 1737—1739 гг. Был близким советником Елизаветы Петровны по иностранным делам (польским, прусским и персидским). В прусскую войну произведен в фельдмаршалы (1756 г.) и

назначен главнокомандующим (его поддерживал канцлер А. П. Бестужев-Рюмин). Он оказался неспособным, неподготовленным, у него не было ни опыта, ни теоретических знаний. Некоторые его упрекали даже в трусости. Елизавета была недовольна его медлительностью. Когда, после ряда побед, он зимою отступил из Восточной Пруссии, его сняли с должности, подвергли допросу, так как связали отступление армии с интригами Бестужева-Рюмина в вопросе о престолонаследии, а отступление войск толковали как стягивание сил к Петербургу во время тяжелой болезни Елизаветы. Падение Апраксина и Бестужева объясняется скорее тем, что они не смогли быстро переменить свои английские симпатии на французские и оказывали сопротивление мелко-дворянской политике Елизаветы. После падения Бестужев, желая опровергнуть свою связь с Апраксиным, стал нападать на него. Апраксин умер 6 августа 1758 г. во время допроса от удара.

Болотов осуждает Апраксина за отступление, так как его интересы совпадают с интересами мелкого и среднего дворянства, начинавшего торговать и стремившегося к расширению внешнего рынка и усилению политического влияния России.

К стр. 356.

[13] Болотов уделяет Кенигсбергу, главному городу Восточной Пруссии, очень много внимания. Это был первый большой европейский город, который ему привелось видеть и который произвел на него огром-

ное впечатление. Кенигсберг, основанный в 1256 г. и быстро выросший как торговый город, а с основанием университета (1544 г.) сделавшийся и культурным центром страны, — во время пребывания в нем Болотова был экономическим, административным и культурным центром Восточной Пруссии. Готическая архитектура, старинные здания, канал, университет, в котором читали профессора с мировой известностью (Кант, Якоби) и который насчитывал более двух тысяч студентов, — самая жизнь города, быт и нравы — все это интересовало Болотова. Русская армия спешила занять Кенигсберг и потому, что он был важным стратегическим пунктом.

К стр. 384.

[14] Кенигсбергская библиотека славилась своим богатым собранием рукописей, составленным, главным образом, из монастырских собраний. Болотов, определяя письмо немецких рукописей как полууставное, применяет к ним чисто русский термин и характеризует их условно и приблизительно. Полуустав — тип кирилловского письма, характеризующийся меньшей правильностью линий, чем устав, и бо̀льшей закругленнотью их. Полуустав более поздний (с половины XIV века) тип письма, чем устав. В немецких рукописях аналогичный тип письма относится к XV веку.

К стр. 465.

[15] Зульцер, Иоганн-Георг (1720—1779) — не-

мецкий философ и эстетик, последователь Вольфа. Главные его труды: «Allgemeine Theorie der schonen Kunste» Lpz. 1771—1774; «Vermischte Schreften» Lpz. 1773—1785. После его смерти была опубликована очень богатая по материалам о философской и художественной мысли XVIII в. его «Selbst Biographie» (1809). На русский язык были переведены его «Разговоры о красоте естества» (1777 г.), «Упражнения к возбуждению внимания и размышления» (1801 г.), «Новая теория удовольствий» (1813). Болотов читал Зульцера по-немецки впервые в Кенигсберге; переводов Зульцера тогда (в 1759 г.) еще не было.

К стр. 478.

[16] Салтыков, Петр Семенович (1700—1772?), граф, генерал-аншеф. Военную службу начал солдатом в 1714 г. Был отправлен Петром I во Францию, где обучался мореходству. Участвовал во многих войнах: в шведской войне 1742 г., в Семилетнюю войну был главнокомандующим (с 1759 г.). Разбил пруссаков при Пальциге и Куерсдорфе и произведен в фельдмаршалы. Во время эпидемии чумы 1771 г. был московским генерал-губернатором. Екатерина II ценила его, но иногда вспоминала его привязанность к Петру III.

К стр. 524.

[17] Гольберг, Людвиг, барон (1684—1754), талантливый датский писатель-сатирик, историк и

философ, типичный представитель эпохи просвещения, рационалист и отрицатель метафизики. Своим творчеством положил начало новому периоду датской литературы и много сделал для выработки литературного языка. Его сатирический эпос «Peder Paars» представляет собою травести, бурлеск классического эпоса, поэм Гомера и «Энеиды» Виргилия, — в основе ее бытовой материал; это сатира на датское общество, его консерватизм и невежество. Гольберг создал датскую драму, точнее, комедию. Его называли «датским Мольером». Как и у Мольера, у него комедия типов. Он дал галерею бытовых типов, осмеяв духовное убожество, политиканство, жизнь напоказ, подражательность. Во время реакции — при короле Карле-Христиане VI — Гольберг почти оставил литературную деятельность и уже перед самой смертью написал еще несколько пьес и знаменитые «Письма», в которых он подверг критике «заблуждения века». Они представляют собою философско-моралистические рассуждения афористического характера на разнообразные темы. О них и упоминает Болотов. Гольберга стали переводить в России рано (комедии), но «Письма» Болотов читал, видимо, в немецком переводе. Из исторических трудов Гольберга заслуживает внимания трехтомная «История Дании».

К стр. 524.

[17a] Готтшед, Иоганн-Кристоф (1700—1766) — известный немецкий писатель, эстетик и критик эпо-

хи просвещения, создавший свою рационалистическую эстетику, основным принципом которой было признание за искусством полезного и приятного значения (полезность искусств заключается в поучительности). Он проводил реформу немецкого театра и драмы по образцам французской классической трагедии, пытался создать «правильную» трагедию («Умирающий Катон», 1732 г.). Он дал ряд исследований по истории языка и поэзии. Он был профессором эстетики в Лейпциге, где вокруг него организовалось литературное общество. Готтшед издавал несколько литературно-научных журналов. Его теория искусства пользовалась огромным успехом. Готтшед был разбит Бодмером и Брейтингером в злой полемике и окончательно Лессингом, который, правда, немало взял у него. Болотов по Готтшеду познакомился с немецкой эстетикой и философией и чуть не стал деистом.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

История моей военной службы

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Продолжение истории моей военной службы и прусские походы

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Продолжение истории моей военной службы и прусской войны

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Продолжение истории моей военной службы и пребывания моего в Кенигсберге

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Продолжение истории моей военной службы и пребывания моего в Кенигсберге

А.Т. Болотов

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМ ПЕРВЫЙ

1738 — 1759

Редактор *Э. Пономарева*

Художественный редактор *И. Сайко*

Корректоры *Ю. Диамент, Ю. Черникова*

Компьютерная верстка *А. Диамент,*

А. Мынко

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 02.08.93. Формат 70 x 100 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л.23,4. Усл.кр.-отт.23,72.
Уч.-изд. л. 21,89. Тираж 25000 экз. Заказ 793.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280,
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Издание отпечатано на бумаге
Сыктывкарского ЛПК.

Отпечатано с оригинал-макета на Можайском полиграфкомбинате Министерства печати и информации Российской Федерации. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.


МОСКВА
«ТЕРРА» – «TERRA»